

524169
K

СЛЕД СЛОВА

Герольд БЕЛЬГЕР

СЛЕД СЛОВА

Герольд БЕЛЬГЕР

Литературные
портреты
и эссе



Алматы
"Жазушы"
2002

83.3(5кз3)

ББК 84 Р-7-44

Б 44

Выпущена по программе Министерства культуры,
информации и общественного согласия
Республики Казахстан

Бельгер Герольд.

Б 44 След слова (литературные портреты и эссе).—
Алматы, «Жазушы» 2002.— 232 с.

ISBN 5-605-01832-9

524169

Более тридцати лет Герольд Бельгер много и увлеченно переводит на русский язык широко известных казахских прозаиков: Г. Мусрепова, Т. Ахтанова, Х. Есенжанова, А. Нурпеисова, А. Кекилбаева, Д. Досжанова и многих других, с кем находился в близком человеческом контакте. В процессе перевода он глубоко проник в их творчество, художественный мир, в писательскую мастерскую, прилежно фиксировал их устные рассказы, пропагандировал их произведения в стране и за рубежом. В результате родились обстоятельные очерки-эссе о выдающихся казахских и русских писателях. И творчество их увидено не холодными глазами официального критика, отстраненным разумом строгого литературоведа, а прочувствовано сердцем неравнодушного, чуткого друга, коллеги по перу.

Статьи включены в сборник на том языке, на каком были написаны. Думается, они заинтересуют студентов, литераторов, филологов, всех любителей казахстанской литературы.

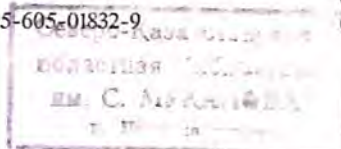
Б 470225201-11 без объявл. 2001
402(05)-2002

ББК 84 Р-7-44

ISBN 5-605-01832-9

© Бельгер Г., 2002

© Издательство «Жазушы», 2002



СЫН КАЗАХСТАНА

Люди делятся на две неравноценные группы. Одни судят о другом народе по лучшим его представителям, другие, завистливые и мелкодушные, выискивают в нем подлецов и выродков. Забывают о праотце Аврааме /Ибрагиме/, Богородице с Сыном и апостолами, но тычут Иудой. Когда в народе начинает доминировать вторая группа — духовный плебс, он болезненно возбуждается, со дна его души поднимается грязная кровавая муть, застилает глаза, и народ устремляется за выродками. Выродки ведь тоже бывают по своему талантливы и притягательны для слабых, лишенных божьего дара натур. Это и есть нацизм /не путать со здоровым национальным чувством/. В нашем веке это правило лучше всего проследить по немцам. В силу ряда обстоятельств такое несчастье произошло с Германией. Фашизм в историческом плане достаточно ординарное явление, принимавшее в прежние времена лишь разные формы. Впрочем, как и то, что мы именуем коммунизмом.

В войну я, рожденный немецкой матерью, с чувством читал стихи «Убей немца!» и

самозабвенно пел в строю: «Из немецких ишкур мы выбьем душу, если есть у них душа!» Но я всегда помнил и рассказ матери, как в двадцать первом году, спасаясь от украинского голода, ехали они целый месяц большой семьей к родственникам в такое же голодное Поволжье. Ей было шестнадцать лет, она в пути заболела тифом, и от голодной смерти их спас пожилой сарт /так тогда именовали узбеков/, возвращавшийся с сыном из немецкого плена, куда попал, будучи мобилизованным на тыловые работы. Мать никогда этого не забывала. Нет, не природное это чувство у немцев — шовинизм, и история со всей очевидностью показала это. Германия покаялась, государственно и все-народно, и Бог ей дал.

Восторжествовали Гете, Бетховен, Кант. Но я не об этом, а о русских немцах. Тех, кто стоял у начала Российской академии наук, горного дела, фермерства и многих других благих явлений великой русской реформы восемнадцатого века. Достаточно взглянуть на географическую карту, где не последнее место занимают русские с немецким звучанием имена Врангеля, Крузенштерна, Литке и прочие. И не жестокий немец-управляющий у отечественного помещика-крепостника, а великий доктор Гааз выражает истинную немецкую душу. ГУЛАГ ведь не открытие в российском обиходе. Помните свидетельства Достоевского о «мертвом доме», Чехова и Дорошевича о сахалинской каторге? А перед этим были Нерчинск, Акатуй, Усть-Каменогорск. Так вот, полтора века назад доктор Гааз из высокого чувства сострадания провожал год за

годом кандалынные этапы по Владимирке, из собственных средств снабжая их всем необходимым на долгую сибирскую дорогу. Русские народные песни сложены об этом немце...

Но имперская, черносотенная закуска и здесь проявлялась во всей отвратительной несуразности. В первую мировую войну, как и в других случаях, русские немцы — офицеры и генералы — сражались в рядах русской армии. А рядовых солдат-немцев дразнили: «Эй, Франц, подбери иванца!» Тогдашние «патриоты» несчастную женщину — царицу русскую — объявляли германской шпионкой. Впрочем, и Ленина тоже. А в обновленной советской империи уже всех русских немцев до единого зачислили в шпионы. Так маленький Герольд, житель волжского Гнаденфлюра, оказался в Казахстане. Том самом, который, по словам поэта, «огромною каторгой плавал на карте». Каторгой целых народов.

Что можно рассказать о трагедии людей, чьи мужчины были забраны в лагеря так называемой «трудармии», а женщины, старики и дети выброшены без вещей и всяких средств существования в голую степь? Но там, в этой степи, испокон веку жили люди, только что сами до нитки ограбленные системой, но сохранившие Бога в душе. И они не дали умереть Герольду Бельгеру и его соплеменникам. Вместе с их детьми он пошел учиться в казахскую школу, закончил ее и воистину открыл для себя родину — древнюю и вечно юную Страну Казахо́в. Он остался благодарен ей как сын во всю остальную жизнь.

Дальнейшее было закономерно. По чьему-то недосмотру или, наоборот, чувству человечности он поступил в Карагандинский политехнический институт /рядом с ГУЛАГом/, но в один и тот же день оттуда были исключены все немцы, чеченцы, ингуши, поляки, греки и другие «лица определенных национальностей». Так что он вернулся обратно в свой аул имени Ленина на берегу Ишима, стал там учителем русского языка и упорно писал письма Ворошилову, взывая к справедливости. «Это были мои первые литературные опыты!» — шутит он с природной немецкой невозмутимостью.

Справедливым оказалось само время, и уже в период «оттепели» он закончил Казахский педагогический институт имени Абая. Еще два года работал в Джамбулской области учителем, затем аспирантура, журнально-литературная деятельность. Все как у людей. Но есть одна особенность. У Герольда Бельгера являются родными сразу три языка: немецкий, казахский и русский. Это не просто знание, а любовь и подвижничество. С той же немецкой честностью, страстью и тщательностью, с которой Шлиман раскапывал Трою, Швейцер всю жизнь лечил детей в экваториальной Африке, а Федор Литке исследовал полярные моря России, он исследует общие корни единой евразийской культуры. Десятки талантливо и досконально переведенных книг казахской классики и еще молодых, начинающих писателей, глубокие исследования в казахской филологии, позволившие ему поправлять именитых ученых, статьи по сопоставительному языкознанию и литературоведению, многочисленные работы

по проблемам художественного перевода, литературные портреты и эссе, публицистические выступления — это лишь часть той огромной научной и литературной работы, которой он занимается уже четыре десятилетия. Невольно думается, что пора уже Герольду Бельгеру ходить в почетных академиках.

Недавно он закончил и издал многолетний труд «Гете и Абай», «Земные избранники». Когда-то, еще в школе, удивился он сходству мыслей и характеров двух великих людей, выражающих нравственную и духовную суть своих народов, живущих в отдалении друг от друга, но на одном континенте. Я знаком с этими книгами. Думаю, это первое в мировой науке и литературе исследование такого рода и направления.

Насколько я знаю Герольда Бельгера, он постоянно много времени и сил уделяет так называемой общественной работе. В каких только комитетах, советах, комиссиях, фондах, обществах, редколлегиях он не состоит. Он лауреат Президентской премии мира и духовного согласия, лауреат литературной премии имени Б. Майлина, лауреат премии Казахского ПЕН-клуба, заслуженный работник культуры Казахстана. И кругом прислушиваются к его квалифицированным суждениям. Это та особенная ответственность и деловитость, которой так не хватает в нашей государственной и общественной жизни...

Признаться, я завидую многим его качествам. И горжусь своим родством и дружбой с ним.

«След слова» — так называется книга Г. Бельгера, составленная из литературных портретов и эссе, написанных в разные годы. Они отличаются искренностью, добротой, участливостью, исповедальностью, живым сочувствием. Они, я уверен, заинтересуют студентов, филологов, всех любителей казахстанской словесности. Примечательно, что в эту книгу Г. Бельгер включил свои работы, написанные на русском, казахском языках. Это придает особый колорит данному сборнику. От души хочется сказать этой книге: «В добрый путь!»

*Морис СИМАШКО
Народный писатель Казахстана*

1999 г.

ЖИЗНЬ — ЭПОПЕЯ

Триптих

I. СОБЕСЕДНИК НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Нет ничего предосудительного в том, если простой смертный расслышит в слаженном многоголосом ауэзовском оркестре, в его органном мироощущении и духоустройстве лишь себе созвучные мелодии, ощущения, импульсы.

Мысль не моя — моего покойного друга Аскара Сулейменова, высказанная им два десятилетия тому назад.

Вооружившись этой мыслью, укрепив свою душу и волю сознанием правомочности этой истины, я дерзнул-таки потревожить облачившийся в бронзу бессмертия Дух Мухтара Омархановича.

— Разумеется, Ваше, Мухтар Омарханович, столетие — лишь внешний повод. В сущности с Вами беседовать лестно, приятно и поучительно всегда, независимо от временных рамок. Вы — собеседник на все времена.

Он наморщил необъятный лоб, чуть прищурил один глаз, привычно крякнув, воскликнул:

— Пәлі, как быстро летит время! Неужто мне уже сто лет? Ужас! Перед женщинами неловко...

— Что поделаешь?! Так говорят. И ЮНЕСКО подтверждает. И юбилейные комиссии повсюду развернули бурную деятельность.

— УДЫВИТЕЛЬНО! Еще ТӨЛКЕ вчера, чудится, резвился я на лужайке возле юрты деда Ауэза, а вы говорите — сто лет.

— Да, сто! Век! Но время — понятие весьма относительное. И все эти измерения, придуманные слабым человеческим умишком, — фикция, нечто маловразумительное. Сто лет — звучит солидно, весомо. Только что это по сравнению с вечностью? Это мы, смертные, вздрагиваем от такой цифры, к Вам же, бессмертному, это никакого отношения не имеет. Более того, Вас столетие даже красит, как двадцать пять — пылкого джигита.

— Кхм...м... Кхм...м... — неопределенно прокашлялся Мухтар Омарханович и более пристально устремил на меня взгляд карих глаз. Он поудобней уселся в глубоком кресле, чуть расправил плечи, выказывая благосклонное внимание. — Однако вы, незнакомец, льстите, как природный казах.

— Что ж, Мухтар Омарханович, не мною замечено: с кем поведешься... Ну, а время, действительно, — странная вещь. О том как-то любопытно высказался еще Блаженный Августин. Избранники Земли, к которым, бесспорно, и Вы принадлежите, Время, то есть вечность. Вечность — это в с ё . То есть и прошлое, и настоящее, и будущее в неразрывном единстве. На это открыл мне глаза мой соплеменник мудрый Борис Викторович Раушенбах. Он внушил мне, что вечность вовсе не длинное, долгое время, как это нам сплошь и рядом мерещится. Он сказал: «Вечность — это когда существует все... Вечность — это все существует одновременно и всегда». Вы, Мухтар Омарханович, пребываете в этой категории необратимости. Время, в самом деле, не совсем то, что безостановочно течет-протекает в одном направлении, неотвратимо. Следовательно, как я полагаю, при беседе с Вами, при рассуждении о Вас и Вашем многогранном творчестве и земных деяниях следует исходить исключительно из такого понимания.

Мухтар Омарханович сердечком сложил полные губы, вскинул левую бровь, грузно повернулся в широком кресле ко мне и после долгой паузы, которая привела было меня в замешательство, задумчиво произнес:

— УДИВИТЕЛЬНО... И любопытно...

Я улыбнулся, удостоверившись в своем давнем юношеском наблюдении. Русская речь Мухтара Омархановича мне казалась безупречной: я говорю не о ее лексической многокрасочности и сочности, как-никак он выпускник Ленинградского государственного университета, его литературно-лингвистического отделения славяно-русской секции, я в данном

случае имею в виду фонетическую, орфоэпическую окраску его речи (шутка ли, фонетикой русского языка занимался он у самого Л. В. Щербы, будущего академика!). И все же его русская речь, при внимательном вслушивании в ее естественно-плавное течение, обретала заметный казахский флер, орнаментальную окрашенность, своеобразный восточный макам, а некоторые слова — КАЗАХ, КАЗАХСТАН, УДИВИТЕЛЬНО, ТОЛЬКО — он произвольно произносил в явно национальной огласовке. Бронзовый Ауэзов на гранитном пьедестале остался верен своей земной привычке.

— Уж не на юбилейное ли интервью вы настроились? — донесся глуховатый голос с высоты пьедестала. — Видите ли, я не большой охотник давать интервью налево и направо. Во избежание каких-либо недоразумений, а то и вовсе искажений мне сподручнее самому написать, ТӨЛКЕ ныне мне это не с руки. Я могу писать ТӨЛКЕ за своим столом в своем кабинете, а не на открытой площади, где с утра да вечера снует толпа.

Уловив в тираде Мухтара Омархановича отчужденный, ворчливый тон, я всерьез испугался: вот возьмет да и замкнется, продолжая молчаливо созерцать мерцающие вдали выси Алатау и залитую солнцем нарядную площадь, ведь с какой стати вступать ему в рассуждения со случайным встречным-поперечным.

— Что Вы, что Вы, Мухтар Омарханович! — спохватился я. — Какое там интервью?! Я и без того робею. Вспомнились слова все того же Аскара. Он говорил: Ауэзова можно понять, постичь, но беседовать с ним — сложнее сложного. Наверное, так чувствует себя астронавт, вышедший в открытый космос или вступивший на Луну. Я не могу о себе сказать даже, что понял, постиг Вас. Сознаю: не всякому это дано. Но примеряться мысленно к беседе хочется. К тому же рассчитываю при этом на великодушие и снисхождение почтенного юбиляра. Человек, вступивший в бессмертие, может, полагаю, позволить себе такую роскошь и щедродушие. Уверяю, я не преследую корыстной цели. Ни отзыва о вымученной диссертации, ни предисловия к моим опусам, ни поддержки перед издательством, ни даже денег взаймы не прошу...

— Похвально! Независимость и внутренняя свобода сами по себе вожделенное благо, а в данном случае и неплохая предпосылка для душевной, искренней беседы.

— Спасибо! На это, собственно, я и рассчитываю. И еще раз, с Вашего позволения, процитирую Аскара Сулейменова, верного Вашего поклонника и знатока: «Если Ауэзов — бриллиант, читатель — ювелир». Нет, точнее так: «Если Ауэзов — драгоценный алмаз, то читатель — искусный гранильщик». Иначе говоря, каждый читатель, каждое поколение по своему уму-разумению, опыту, интеллекту сами ограничивают ауэзовский алмаз. На свой лад и вкус. О том как-то писал знакомый Вам Абдижамил Нурпеисов. А Ваш ученик и последователь академик Зейнолла Кабдолов даже свой роман-эссе назвал «Мой Ауэзов». Это дает и мне возможность быть более раскованным в своих суждениях, не так ли, Мухтар Омарханович?

— Кхм... м... Пожалуй. Каждый, разумеется, вправе свое суждение иметь. И я, помню, начал с перевода Толстого, а незадолго до неизбежного перехода в мир иной выступил с эссе о Рабиндранате Тагоре. Таков был мой выбор.

— Помню, помню...

Я ловлю себя на том, что все мое существо, моя жизнь — как читателя, литератора, человека — пронизаны, просветлены в немалой степени Ауэзовым. Тень его духа то витала незримо надо мной, то бестелесно бродила рядом долгие, долгие годы. Я услышал это благозвучное, сразу проникавшее в душу имя — Мухтар Ауэзов — еще в первый послевоенный голодный год, когда мы, выпускники казахской начальной школы, впервые сдавали государственный экзамен — писали изложение, отрывок из романа «Абай». Прижавшись друг к другу, точно озябшие воробышки, мы, взволнованные и растерянные, вслушивались в незнакомый текст, смутно ощущая поэтичность, образность, живость сочного казахского речестроя. Мой тогдашний аульский разговорный казахский и даже тот язык, близкий и доступный нам из пухлого романища под названием «Жұмбақ жалау» очень почитаемого тогда и в тех краях популярного и удачливого автора, имел весьма косвенное отношение к той плавной и ладной вязи небытовой, возвышенной, окультуренной казахской письменной речи, которую мы слышали в тот весенний день. Бог весть, что я мог тогда изложить на серых контрольных листочках со школьным штампом, но имя ПИСАТЕЛЯ и его нездешний слог смущали, взволновали мою неокрепшую душу.

— А ведь то, что вы, незнакомец, сказали сейчас о Времени и о вечности, ложится на душу, созвучно сердцу художника.

— Благодарю, Мухтар Омарханович! Время — своеобразное, капризное время. Оно шутки ради может вознести на короткой дистанции заурядного одра на гребень дерьмовой славы, а истинного тулпара унизить до уровня замухрышки-клячи. Так было всегда. Но высшая истина неподвластна дьявольской прихоти взбалмошного времени. Отбор или высший суд творят, к счастью, все же не мыркымбаи, даже если они во власти и, как им мнится, вершат судьбы. Это удел, прерогатива самого Всевышнего, он и воздаст всем по справедливости, хотя, случается, и с некоторой задержкой. Происходит это потому, что у Творца свои, субъективные, отношения со Временем, как и у истинного художника, по сути дела такого же творца в своей области, в своей духовной сфере.

— Пәлі!.. Мне кажется, вы обосновались недалеко от аула истины. Я мог бы привести немало примеров в подтверждение ее.

— Разумеется. И потому как жаль, Мухтар Омарханович, что рядом с Вами не было верного и дотошно аккуратного Эккермана, который изо дня в день мог бы фиксировать Ваши мысли, думы, разговоры в назидание потомкам.

— Да, Гете был счастливчик. Эккерман, несомненно, очень старался. И его «Разговорам с Гете» суждена долгая жизнь. Но, заметьте, величины все же очень уж неоднозначные. При всей своей дотошности он все же излагал Гете, пропустив его думы, мысли, слова, рассуждения через себя, то есть излагал более-менее точно лишь то, что сам был в состоянии уразуметь. Оттенки, нюансы, полагаю, все же улетучились, а ведь художник-мыслитель в большой степени состоит как раз из этого. Были в моем окружении, особенно на заре моей юности и в годы возмужания, талантливые, исключительные личности, очень созвучные моей душе. О, это были достойнейшие люди, славные сыны Алаша, добродетельные азаматы народа, впоследствии оболганные, униженные, замолчанные, уничтоженные, а потом, попозже, толпились вокруг все больше людишки мелкого пошиба, нередко без царя в голове, корыстные, нечистоплотные, склонные к интригам, мелкой тараканьей возне, с

чем — увы! — приходилось мириться. И я чувствовал себя порой, точно в вырубленном лесу или в чащобе, по которой прошелся смерч или пал. Ни тебе сосен, ни тополей, ни карагача, одни, скажу я вам, кустарники, одна жимолость. Были и откровенные слизняки, которые докучали, донимали, до белого каления доводили своей бестолковостью, ограниченностью и претенциозностью. Не говорю уже о буйных тобетах-волкодавах и шелудивых пустолайках, которые все время норовили исподтишка цапнуть за подол. Аллах им судья, я не держу на них ни зла, ни обиды. Но представьте себе, если бы кто-то из них был моим Эккерманом. Что бы он такое записывал?! Это было бы нечто столь тягостное, примитивное, столь тошнотворное, пошлое, что я бы корчился от стыда, даже будучи каменным или бронзовым. Ф-фу, меня аж пот прошиб!.. Нет, нет... для моей чести и достоинства, несомненно, даже лучше то, что возле меня не было никакого доморощенного Эккермана, какого-либо ушибленного Мыркымбая, который исписал бы гору бумаг, “обогатил” бы меня своими благоглупостями и издал бы на потеху доверчивого, простодушного люда пару-другую томов разных несуразностей в канун моих очередных юбилеев. Боже! Представляю, какой бы это был вселенский срам!

Мухтар Омарханович сердито сдвинул брови и крикнул от досады. И я на миг живо представил себе кое-кого из живущих ныне престарелых современников Ауэзова в роли Эккермана, и мне тоже стало не по себе: ведь можно глядеть и не видеть, можно слушать, но не слышать, находиться рядом — и слона не приметить.

Перед тем, как написать эти строки, я несколько недель перечитывал бесчисленные материалы — статьи, доклады, воспоминания, юбилейные (к 70-, 80-, 90-летию) речи о М. О. Ауэзове. Первое, что бросается в глаза, — обилие (до неприличия) высокопарных, трескучих, восторженно-захлебывающихся, воспаривших к поднебесью неумных эпитетов и определений. Дух захватывает! Порой чудится, что иные литературоведы и именитые писатели, точно спохватившись, подавшись зуду славословия, затеяли негласный айтыс: кто скажет пышнее, выразится вычурнее, кто сильнее вспенит в прокопченном бурдюке мутную празднословную бурду. Это еще в былые времена простительно было престарелому народному акыну терзаться в поисках достойного сравнения

для великого вождя всех времен и народов. Бывало, так холуйское племя с партийных трибун лило елей в честь лилипутов-временщиков, страдавших манией величия. Но Ауэзову-то это зачем?!

В самом деле, на каждом шагу точно шаманское заклинание: великий художник, великий учитель и наставник, великий мыслитель и мудрец, великий педагог, великий гуманист, великий человек, великий Мухтар, великий ученый, талантливый-талантливый, гениальный драматург, непревзойденный знаток фольклора, зоркий орел литературы, всевидящее око, сердце-факел, мастер человековедения, уверенный и строгий гранитьщик алмазных слов, титан, гигант, гордость, слава, вершина, глыба, утес, колосс, уникам, универсал, феномен, монумент, гений, исполин, могучие творческие крылья, классик, честное сердце, замечательный дар, бессмертный, основоположник, энциклопедист, великан, непревзойденный оратор, остроумный, принципиальный, добрый, увлеченный, азартный, спокойный, рассудительный, величавый, разносторонний и т. д... ойхой, дунье! — битком набитый коржун кумпультдекских словес, но боспобаям-словоблудам и этого показалось мало, — сын нового Востока, устремившегося к коммунизму, зачинатель советской социалистической культуры, олицетворение революционного возрождения, горная вершина социалистического реализма, пламенный советский патриот и интернационалист, истинный ученый-марксист...

— Боже! — опять воскликнул Мухтар Омарханович и в возмущении так резко повернулся, что каменное кресло под ним заскрипело. — Неужели это все обо мне сказано?! Вот трепачи! Узнаю славных потомков Жумана-кырта! Вот они, бойбы булган, сөзі жылман! Мне что, нужна очень эта словесная шелуха, эта дребедень?! Лучше бы читали меня усерднее, а не славословили все...

Верно: и поныне по инерции употребляемые все слова-пустышки — «великий», «талантливый», «непревзойденный» — вконец обесцененные, опошленные, подобные сорной траве, поднятой шальным, степным вихрем, не имеют к Мухтару Омархановичу Ауэзову никакого отношения. Да он и не нуждается в них. К таким словам питают пристрастие и слабость худосочные литературные мыркымбаи, трепливые рыцари дастарханных тостов. Они тешат ими свое ушербное честолюбие, украшают ими, точно яркими

заплатами, свои изрядно замусоленные, потрепанные чапаны. Разве мыслимо Баха, Гете, Достоевского, Толстого, Абая называть талантливыми, великими? Смешно! Ауэзов — величина из этого ряда. Это все равно, что называть талантливым солнце, великим небо, непревзойденным время.

— А вы говорите Эккертман! — продолжал возмущаться Мухтар Омарханович, гневно щуря левый глаз. — Наши доморощенные эккерманы такое бы наворочали... белой ватой горло бы перерезали, убежденные, что делают доброе дело. Хвалят и возносят так неуклюже, неумело, в лоб и приписывают мне то, чего и в помине не было или было совсем иначе. Движение чужой души уловить не так-то просто, не всем это дано. Так что слава Аллаху, что у меня не было своего Эккермана. Боюсь, что коллективные эккерманы после того, как я переместился в оси мироздания, изрядно потрудились в оказании мне медвежьей услуги...

Я помолчал, не зная, чем и как возразить расстроившемуся Мухтару Омархановичу. Лицо его посерело, уголки полных губ опустились, как у обиженного ребенка, зрачки сузились, складки над переносицей залегли глубже.

Что тут скажешь? Некоторые воспоминания о нем, действительно, читаешь, обливаясь потом смущения и стыда. Некоторые мемуаристы подчинены сплошному самолюбованию и было бы более резонно публиковать их под рубрикой: «Я и Ауэзов» или: «Я в оценке Ауэзова». Один упоенно и пространно рассказывает, как однажды в доме писателя пил кумыс; другой повествует о том, как он сидел с «незабвенным Муха» за одним дастарханом; третий счастлив, что как-то удостоился чести носить его чемоданы; четвертому не терпится сообщить миру, что «почтенный Мухан» назвал его «хорошим джигитом»; пятому нужно похвастаться автографом художника и т.д. и т.п. Нередко бывает так, что «вспоминатели» и вовсе забывают об Ауэзове и пишут лишь об исключительности своей персоны. И тогда на далеком фоне могучей фигуры мелькают, мельтешат чьи-то тюбетейки, круглые шапчонки-такии и кепчонки. Вообще, читая некоторые мемуары об Ауэзове, невольно вспоминаешь слова М. Горького, сказанные им в статье «О С. А. Толстой»: «Каждая муха стремилась оставить след свой в жизни и в памяти Толстого...».

Добавлю от себя: портрет Ауэзова заметно испятнан, испещрен мушиными следами самовлюбленных мемуаристов.

Мне было известно, что Мухтар Омарханович — человек увлекающийся, легко ранимый, все принимает близко к сердцу, но полагал, что в столетнем возрасте эти черты характера в нем притушились, поугасли, размылись, а он, как в былые годы, что-то всерьез разошелся, разворчался, никак не мог успокоиться:

— Ту-у... Эти... о, я их знаю... они до смерти зацелуют нудиными лобзаниями. Пустой похвалой непременно еще раз захоронят. Утопят в словесном гное. Так и норовят заgrimировать меня по своему образу и подобию.

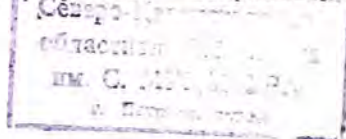
Кого он имел в виду, я так и не понял, а спросить — не решился...

II. ДОМИНАНТА

Писатель писателю рознь. Прежде чем водить карандашом по белому листу бумаги, писатель обязан задать себе основополагающий вопрос: «Для чего он пишет? Что хочет?» Интуитивно, подспудно этот вопрос задает ему и читатель, которого никакой словесной эквилибристикой и беллетристическими «штучками-дрычками» не проведешь, если тебе сказать нечего. Хорошие писатели, как говорил А. П. Чехов, «куда-то идут и вас зовут туда же, и вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что в них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение».

Абаевское творческое кредо: «Не для забавы я слагаю стих» явилось доминантой, то есть основной господствующей идеей, важнейшей составной частью всего многотрудного и многосложного ауэзовского бытия.

Он рано осознал свой дар и очень четко представлял, для чего он пишет, что хочет. Об этом свидетельствует драма «Енлик-Кебек» — зрелое творение двадцатилетнего Ауэзова и цикл ранних его статей: «Гуманизм и женщина», «Какое ремесло ближе к культуре?», «Метод обучения», «Научный термин», «Культура и национальность». Его, еще ученика Семипалатинского городского 5-классного училища, потом — учащегося Семипалатинской же учительской семинарии, жадно интересует все — вопросы культуры, истории, науки,



педагогики, экономики, национального образования, эмансипации женщин, грядущее место казахов в мировой цивилизации. И эти проблемы питали и терзали его пытливый ум и беспокойную душу, можно без преувеличения сказать, всю жизнь. Достаточно вспомнить его сложную, философскую, по-брехтовски вычурную, явно экспериментальную драму «Друг Бедел» («Дос-Бедел-дос»), написанную на склоне жизни. Здесь мимоходом отмечу, что наиболее обстоятельную и глубокую статью об этом произведении М. О. Ауэзова написала немецкий литературовед Зигрид Кляйнмихель — «Muchtat Auesows «Freund Bedel». Diskussion ueber Geschichtsverstaendnis in einem Theaterstueck», см. сборник «Erbe und Erben», Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1982.

Герои этой драмы, о которой и поныне бытуют разноречивые суждения, в воображении автора пребывают в трех исторических, социально-общественных формациях и задаются в споре с белобородым старцем, символизирующим Историю, глобальными вопросами бытия — о месте, характере, сущности личности человека, народа в неразрывном контексте пространства и времени. Об этом и сам Ауэзов открыто писал в «Литературной газете» в статье, опубликованной за месяц до кончины: «Наш современник — человек, которому есть дело до всего, человек, сердце которого чутко улавливает звуки мира. Его касается все, чем живет страна, чем живут друзья и враги, интересуется все — политика, наука, искусство, трудовые успехи и срывы, борьба за коммунизм и против колониализма...» Масштабность мышления, синкретическое восприятие мира, аналитичность художественного видения, целостность мироощущения, ощущение и осознание себя причастным к мировому культурному сообществу вкупе с гуманистическими воззрениями, беспредельной любовью к человеку вообще и к своему народу, нации, этносу в частности и составляют, на мой взгляд, доминанту уникального явления по имени «Ауэзов».

— Доминанта, говорите? — переспросил Мухтар Омарханович, задумчиво глядя через театральную площадь в сторону гор. — Кхм... м... Разве на это коротко ответишь? Да я и вообще не люблю излишней куцости, краткости в сложных вопросах. Как вы знаете, мне не по душе телеграфный стиль, якобы отвечающий динамике жизни. Моя фраза длинна, тяжела, иногда неповоротлива, и дыхание

длинное, долгое, и походка у меня другая, несуетливая, неспешная. Я иду медленно, далеко. Я хоть и сижу здесь на людном, шумном месте, в удобном, уютном кресле, вознесенный благодарными потомками на пьедестал, но по-прежнему иду, не торопясь. медленно, ибо далек мой путь, тернист и труден... Моя доминанта — вся моя жизнь, вобравшая в себя разные эпохи, начиная с азиатского средневековья, бесчисленные судьбы, радости и страдания человеческие. Вообще-то, собеседник мой незнакомый, я всегда исходил из того, что человек для чего-то рождается. Вовсе не по прихоти случая, не для того, чтобы коптить небо или расти, как ковыль в степи, и не для муки во имя искупления первородного греха. У Касыма Аманжолова, дивного поэта, есть такие строки:

Өмірге келгенім жок бостан-боска,
Мен кайтп боска жасап, боска өлемін...

То есть, «нет, нет, не зазря пришел я в этот мир, как я могу впустую жить и умереть напрасно?» Трудно говорить о себе. Благодарение судьбе, я сумел в немалой степени выразить себя, высказаться в своих писаниях. Однако, уж коли вы спрашиваете, скажу: я стремился быть всегда творителем, а не вторителем. Вторители шли за мной и среди них, надо отметить, встречались способные и честные. Быть творителем всегда сложно, а в мое время, на определенных отрезках его, — особенно. И сложно, и опасно. Но я довольно рано убедился: человек времени не выбирает, как и родителей. Трудно идти наперекор времени: сметут крутые волны, выкинут, как щепку. Приходится поневоле принаравливаться. Но только не трусить, не забиваться в угол, не отсиживаться в закутке. Навязывать времени свой норов, свою волю с таким расчетом, чтоб не свернуть невзначай шею. Судьба, как и своевольная женщина, не любит трусов и оглячивых. Ей необходимо демонстрировать активность духа и крепость желаний. Тогда она зауважает тебя и вознесет на гребень истории, ублажит славой, утешит любовью.

Да, полная драматизма, социальных и общественных катаклизмов, крутых до умопомрачительности поворотов эпоха Ауэзова не располагала к созерцательности. Редкий

дар, уготованный матерью-природой, возлагал на любимого сына и непомерный долг — представлять миру свой народ и достойно восславить его. С сознанием и чувством этого титанического долга Ауэзов и жил ежечасно всю свою сознательную жизнь. Он являл собой воплощение народа во всех его духовных параметрах и ипостасях, во всей его психофизической субстанции. И потому жизнь его стала подвигом. Такая судьба выпадает на долю лишь избранныкам Земли, как выразился бы Гете. Несколько поколений немцев трудились в поте лица, чтобы явить миру гений Гете. Не одно поколение кочевников вдохновило ярчайшую судьбу Ауэзова. Он был поистине генетически сотворен историей номадов. Жил в причудливой истории. Творил историю. И сам стал историей. Это было точно подмечено Анной Зегерс, сказавшей при встрече в 1956 году ему: «Ваша биография — собственный учебник истории».

Он стал живописцем судьбы народной. Великим братом людей.

— Я всегда искал, — продолжал Мухтар Омарханович ровным, глуховатым голосом. — Всегда находился в поиске. Случалось, уставал и тогда утешал себя: написать эпопею — разве мало для жизни одного человека? Пожалуй, можно и передохнуть. Расслабиться. Но тут же отгонял от себя этот сладкий туман. Говорил себе: «Брось! Покой нам только снится». Говорил: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботы суетного света он безмятежно погружен». Жизнь человеческая коротка, как ягнячий хвост, а соблазнов сколько! Разве не сладко отринуть заботы суетного света и прогрузиться в безмятежье? Но Аполлон, покровитель искусств, бдителен и строг: вновь и вновь требует священной жертвы. И я не давал себе поблажки, ставил перед собой порой непосильные задачи. Всегда стремился вырваться из круга традиций и привычек. На этом пути меня подстерегали неудачи, я это чувствовал, я это знаю, но не испытываю угрызения совести, ибо и мои промахи, несомненно, для кого-то служат уроком. Промахи на моем творческом пути (а о некоторых из них знаю только я) обуславливались терзаньем и дерзаньем духа. В литературе проторенным путем вообще далеко не уйдешь. На исхоженных тропах открытий не сделаешь. Нужен риск и в творческом, и в политическом, и в идеологическом, и в

техническом плане. Тяжко беркуту томиться под колпаком. Ему нужны простор и воля, высокое небо и ширь равнин. Разгоряченный скакун просит поводья. Неопытный наездник может только сбить его с вдохновенного аллюра. Я всегда шел трудной, тернистой тропой, тропой тулпара, много экспериментировал и словом, и художественным методом, и литературой формой, и стилистическими приемами, и методологией, и философией осмысления бытия. Конечно, постоянное дерзание, перегрузки — физические и психологические — приводят к терзанию, к усталости духа и плоти. Может, потому я и покинул бранный мир раньше срока...

Мухтар Омарханович запечалился и опять умолк надолго. В моем далеком аульном детстве мне часто приходилось слышать досужие разговоры о том, что Ауэзов, мол, не совсем «наш», не простолюдин, слишком сложен, умен, образован, мудр, говорит и пишет не так доступно и просто, как автор «Балуан Шолака», и слог, дескать, вычурный, и предложения строит длинные-длинные, как тонкая баранья кишка. Одно время и мне так чудилось. «Жумбак жалау» и «Балуан Шолак» я проглатывал запросто, моих познаний в казахском языке для этого было вполне достаточно, к тому же эти произведения были любимым чтивом в ауле, интернатовцы-сироты читали их при лампе-семилинейке запоем в длинные метельные ночи. А вот Ауэзов был нам, грамотеям-недоучкам, не по зубам, хотя магия его фразы и затейливая словесная связь смутно притягивали, волновали.

Перелом произошел, скажу точно, в 1952-м, когда я учился в девятом классе. Наш мугалим по казахской литературе Жылгельды Муканов, рослый, горбоносый, влюбленный в искусство слова, артистическая натура, златоуст, сам сочинявший стихи, поставил в ауле, на школьной сцене, трагедию «Абай» и блистательно сыграл главную роль. О, это было событие! Со всех ближних аулов по обе стороны Ишима съехались «на ойын» зрители, и стар, и млад, свезли для оформления «юрты Абая» из всех домов лучшие домотканые паласы, текеметы, ковры, чапаны, борики, малахан, разную утварь, и все с неподдельной искренностью и непосредственностью внимали трагическим перипетиям действия, переживали душевную драму великого поэта, впитывали в себя каждое слово его жгучих монологов, восхищались ауэзовским слогом. И мы, школьники,

были потрясены. Когда мугалим Жылгельды в гриме Абая, встав во весь рос и трагически воздев руки, звучным, раскатистым баритоном произнес монолог: «Есть ли яд, не испытый мною?!», старики прослезились, женщины зарыдали. У меня впервые открылись глаза на природную прелесть казахского речестроя, отныне хотелось отринуть низменный бытовой язык и говорить возвышенным, вдохновенным поэтическим речитативом. Отныне многие из нас стали смотреть на окружающий нас мир иными глазами, мы стали лучше видеть, и более чутким стал наш слух. Наше тогдашнее ощущение и состояние через некоторое время точно опишет в эпилоге эпопеи сам Мухтар Ауэзов: «Стихи и напевы, рожденные в Акшоке, переписанные, заученные наизусть, распространялись в песнях вокруг. Новое слово, хранившее в себе тайны сокровища, летело по степи, как тихий ветер Сары-арки, медлительно и плавно веющий над ее просторами...»

Новым словом, хранившим в себе тайны сокровища, стал для меня с этого времени сам Ауэзов.

Многие годы спустя, а именно (люблю точность!) в августе 1960-го, при поступлении в аспирантуру КазПИ им. Абая я встречу у окна холла тощего, в вельветовой курточке, всем своим внешним видом как бы нездешнего, из другого мира, Аскара Сулейменова (он поступал в аспирантуру по кафедре профессора Хажима Жумалиева), и он, испытующе глядя на меня, задаст неожиданный вопрос: «Как вы относитесь к Ауэзову?» Моя голова в тот момент была забита совсем другими именами (мне предстоял экзамен по научной грамматике русского языка), и я рассеянно ответил: «Хорошо отношусь. Все подлинно казахское у меня связано с Ауэзовым».

Аскар с несвойственной ему сентиментальностью порывисто обнял меня, сказал: «О, я вас люблю!», и — помню — мы, стоя рядом, смущенно и взволнованно молчали некоторое время, словно после признания в чем-то сокровенном. Я не знал, что у Аскара был тогда «ауэзовский период» («Периоды» у него бывали разные — хемингуэевский, беллевский, кафкианский и т.д.). Вообще-то, замечу, он бредил Ауэзовым всю жизнь. И одно из лучших, проникновенных эссе об Ауэзове, на мой взгляд, принадлежит ему: я имею в виду его блистательное сочинение «Болмыспен бетпе-бет»,

опубликованное в «Лениншіл жас» к 80-летию творца «Пути Абая».

К чему я это? А к тому, что новаторскую суть и прелесть ауэзовской прозы, магическое обаяние его духоустройства так называемый простой люд уловил, понял и отозвался ответной любовью с самого начала. Я, выходец из аульной глубинки Приишимья, могу это засвидетельствовать.

— Выходит, вам запал в душу монолог Абая «Есть ли яд, не испытый мною?!» — спросил Мухтар Омарханович. — Рад. Полагаю, вы кое-что поняли... И не только в судьбе Абая.

— Понимаю, Мухтар Омарханович... Душевные терзания Абая и Вас не миновали. Только мало кто ныне об этом знает, да и Вы о том открыто никогда не распространялись.

— В какой-то древней китайской книге, не помню названия, я вычитал: «Путь Неба — приносит пользу и не причиняет вреда. Путь совершенного-мудрого — деяние без борьбы». Соблазнительно было придерживаться этой мудрости. Приносить пользу и не причинять вреда — разве не высшая благодетель, не сокровенный смысл человеческого бытования на земле? Увы, я жил в эпоху, когда без борьбы невозможно было никакое деяние. Мне по крайней мере это не было суждено. Возможно потому, что не относился к лику совершенно мудрых, о которых говорил китайский философ.

«Лицо бронзового Будды», как сказал об Ауэзове Илья Сельвинский, потемнело, брови насупились.

— Конечно, рано ушел. Ученый и прозаик должны жить долго. Тяжек был мой жребий. Непомерная нагрузка, непосильная даже могучему нару-дромадеру. Грешно жаловаться на Всевышнего и судьбу, но — признаюсь — случались времена горькие, отчаянные. Не приведи Создатель!

Я вспомнил сцену из «Пути Абая». Абай только что схоронил родного брата Оспана. Горе пригнуло поэта к земле. Он мысленно перебирает всех живых родичей. Скорбно размышляет: «Кто из них мог быть его другом, кто мог бы заменить Оспана? Уж не Такежан ли? Или Азимбай?.. С ними идут в жизнь обман и подлость, темные злодеяния... Кругом враги. Враги не только мои, но и всего народа... Что ждет дальше? Сколько ни думай, ни ищи, выхода не видно... Абай чувствовал себя как бы в глухом тупике.

Одиноким, он безмолвно пил горькую чашу, протянутую ему жизнью, не деля своей печали ни с кем».

Это сказано об Абае в тяжкий период его жизни. Но и не о себе ли говорит здесь Ауэзов? Не о своем ли душевном состоянии в тюрьме под Алматы в 1930-1932 годах повествует писатель?

Вспомните... Тучи сгустились над ним. Наветы, немыслимые обвинения в политических, идеологических грехах довели его до заточения. Друзья встревожились, затаились. Жена, прихватив дочку, уехала в Ленинград в надежде переждать лихую годину. Заботилась об опальном писателе, главным образом, тринадцатилетняя дочка от предыдущего брака, которая, пожертвовав учебой, проводывала отца, носила ему передачи, доставала бумагу, чернила, обстирывала.

Кто знает, о чем думалось тогда Ауэзову? Какие мысли рождались в его не по дням лысеющей, еще недавно курчавой голове? Как удавалось ему находить силы и волю для творчества? Кто о том знает? Кому о том рассказывал? Какие есть свидетельства о той трагической поре художника, автора широко известных в народе повестей, рассказов, драм, научных исследований, статей, монографий, учебников и кровоточащего народной болью романа «Қилы заман»? Не Ауэзов ли, одинокий, гонимый, БЕЗМОЛВНО пил горькую чашу, протянутую ему жизнью, не деля своей печали ни с кем?

Печалью своей он мог делиться лишь со своим Абаем. Вернее, спустя годы, вложить свою печаль в его израненное сердце.

— Ах, дорогой незнакомец, взбудоражили вы мне душу. Да, яд одиночества и я вкусил сполна. И не однажды задавался абаевским вопросом: «Есть ли яд, не испытанный мною?!» Под прессом — политическим, идеологическим, психологическим — я жил почти всегда. Некоторое ослабление было, быть может, лишь в последние мои годы, после вручения мне Сталинской и Ленинской премий. Да и то...

Мухтар Смарханович прикрыл тяжелые веки, и лицо его стало каменным. Огромная массивная голова точно втянулась в туловище, шея исчезла, из крутой груди вырвался едва приглушенный стон.

— Сколько раз вспоминалось в ту пору горькое признание незабвенного Аха — Ахмета Байтурсынова:

Кинамайды абактыға жапканы,
Киын емес дарға асканы, атканы,
Маған ауыр осылардың бәрінен
Өз ауылымның иттері үріп, қапканы...

И на всякий, должно быть, случай Мухтар Омарханович изложил эти строки по-русски: «Не страшно то, что бросили меня в тюрьму, не беда, если повесят, расстреляют. Горько мне все больше оттого, что псы родного края лают и кусают».

— Ит үйір болса, жолбарыска үреді. («Сбившись в стаю, шавки лают на тигра»), — заметил я.

— Верно, — тотчас согласился лобастый человек в уютном кресле на пьедестале. — Так вот, «өз ауылымның иттері» кусали, цапали меня всласть. На иных я не обращал внимания, никогда на них не жаловался, не обижался и уж тем более не мстил, ибо понимал, что не ведают, не знают, кого и зачем кусают. Помните: «О, святая простота!» — восклицание Яна Гуса, увидевшего, как одна старуха подбрасывала дрова в костер, на котором его сжигали...

— О, sancta simplicitas! — высказал я свою осведомленность.

— Да, да... — досадливо отмахнулся Мухтар Омарханович, недовольный тем, что я его перебил. — Но когда кусали сознательно, исподтишка, нарочито, с целью обидеть, унижить, растоптать из-за зависти, злобы, коварства — это было тяжело. От собак своего аула тогда приходилось искать убежища, приюта, поддержки у сынов иных народов. В этом было мое спасение и утешение.

— Значит, когда Вы в «Пути Абая» писали о «мастерах ударов из-за угла», о «змеях для своего народа», об их желании «столкнуть Абая в пропасть», подспудно имели в виду и себя, что, кажется мне, так естественно?

Мухтар Омарханович не ответил, а я подумал о том, что в сущности травили его всегда, еще в начале жизненного и творческого пути. В 1981 году в творческом доме писателей в Ялте я познакомился с аксакалом туркменской литературы, лауреатом республиканской премии имени Махтумкули семидесятишестилетним Хыдыром Дерьяевым. С этим любопытным, своеобразным человеком трудной судьбы (не то 15, не то 18 лет жизни он провел в сибирской ссылке) мы беседовали много-много часов. Он учился в Ленинграде

примерно в то же время, что Ауэзов — вместе с казахстанцами Бековым, Аманжоловым (имена их Хыдыр-ака не помнил), которые все время разоблачали Ауэзова (старик говорил на туркменский лад — Овэзов), обвиняя его в том, что он, мол, алаш-ордынец. Курсом ниже учился Талжанов, но тот не вмешивался в бесконечные диспуты студенческих сходов. Однажды на сходке выступил и Хыдыр Дерьяев. Сказал: у кукушки бывает свой сезон, тогда она беспрестанно кукует. Кукует, кукует и перестает. А у Бекова и Аманжолова нет никакого сезона. Долдонят и долдонят про то, что Ауэзов — алаш-ордынец, как будто сотворил он смертный грех. Ну, пусть даже так! Всем уже про то все уши прожужжали. Ну, сколько еще можно?! Разве не надоело?!

Хыдыр-ака уверял, что на некоторое время его слова возымели на штатных оппонентов Ауэзова действие, потом они снова заладили свой нескончаемый «аляуляй».

Всю жизнь Ауэзову приходилось держать удары; были такие, которые специализировались на травле его и в этом занятии немало преуспели. Многим шавкам вожаденно хотелось цапнуть Коксерека — могучего, вольного Волка, так живописно воспетого художником, — или на худой конец подразнить его, вывести хоть на миг из себя. Всегда, во все времена находились доброхоты, испытывавшие наслаждение от травли и преследования выдающихся личностей. Это придавало своеобразную значимость в собственных глазах ничтожества.

Более молодому поколению может показаться, что Ауэзов был баловнем судьбы, счастливым, везунчиком, удачливым во всем. Как же — знаменит с юношеских лет, материальных лишений не знал, купался в славе, книги его издавались, переиздавались, переводились на многие языки, каждому его слову внимали, пользовался непрекращаемым авторитетом, обладал всеми возможными званиями, степенями, титулами, регалиями, объездил многие страны, был окружен неизменным почетом, общение с ним считалось счастьем, был любим женщинами, а молодежь его боготворила. Все так! Все — бесспорно! Но это лишь верхушка айсберга. А о невидимой части его — о муках, терзаниях души, о высокой трагедии духа, преследовавших художника, о страшной цене всех этих иллюзорных зачастую благ мы мало что знаем, о них чаще всего и не

задумываемся, благо сам Ауэзов о том не распространялся. А ведь, уверен, максимальная, тотальная мобилизация всех духовных сил ренессансной личности, сконцентрировавшей в себе всю трагедию народа, эпохи на переломе судеб, — неотъемлемая часть доминанты жизни и творчества Ауэзова.

Когда Абай говорит: «Сердце мое в сорока заплатах», это — Ауэзов.

Когда Абай говорит: «Жарлы емеспін; зарлымын» («Не беден я, а дух скорбит»), это — Ауэзов.

Когда Абай восклицает: «Есть ли яд, не испытый мною?!», это тоже Ауэзов.

Когда Абай о себе говорит: «Я — человек-загадка», я допускаю, что и Ауэзов вправе сказать о себе то же самое.

Когда Абай в гневе бросает своим недругам: «Мен көк ит болсам, сендер көп итсің» («Если я сивый волкодав, то вы свора серых шапок»), — мне опять-таки слышится Ауэзов.

Когда я читаю в «Пути Абая» заключительные строки: «Могучий чинар, одиноко выросший на голой каменистой земле и поднявший вершину свою в сверкающую высь, рухнул!», — перед моими глазами стоит Мухтар Омарханович Ауэзов.

Не имея возможности или желания исповедально говорить о роковых страстях, ежеминутно раздиравших его душу, Ауэзов раскрывал себя в образе своего любимого героя. Напомню читателю еще одно место в «Пути Абая»: «Перед Абаем, поднявшимся на высокий перевал своей жизни, чередой проходили минувшие дни. Эти горные теснины и туманные степи раскрылись, как книга, страницы которой хранили суровую историю его многотрудной жизни. Каждое из этих мест, на которых задерживался его взор, напоминало о минутах радости и веселья. Но они приводили на память и часы тяжелого горя, гнетущей печали, смертельной скорби, говорили об отравленных стрелах и бесчисленных покушениях врагов».

Разве не слышится в этих строках явное созвучие, перекличка судеб двух великих духовных братьев?

И несколькими строками ниже Абай в романе задается вопросом: «Быть может, этот дремлющий в вечном безмолвии мир лишь скован злым колдовством безвременья?» Несомненно, на своем излучистом жизненном пути и Ауэзов не однажды тоже чувствовал себя скованным злым колдовством

безвременья, только он был напрочь лишен возможности говорить о том открыто, во всеуслышание.

«У него все шло крупным планом», — подметила в своих воспоминаниях Анна Никольская. Действительно, у Ауэзова все было крупно: и радость, и горе, и обретения, и потери, и отчаяние, и скорбь.

Меня, помню, потряс рассказ одного из ныне здравствующих современников Ауэзова, старейшего казахского писателя.

Однажды, кажется, в послевоенный год, летом, в сумерках, он отправился к Ауэзову на его квартиру по улице Калинина, напротив — чуть наискосок — от Оперного театра. Дверь была не заперта, на звонок и стук никто не отозвался, ни в одной из комнат свет не горел. Удивленный и встревоженный, гость тихо прошел на балкон и обомлел. Ауэзов застыл в неподвижности, смотрел в сторону гор и беззвучно плакал. Крупные слезы катились по его щекам. Гость растерялся, смутился, не зная, как быть, что делать, не решаясь даже кашлянуть или удалиться незаметно восвояси. Бог весть, сколько продолжался этот неловкий и тягостный момент. И вдруг Ауэзов, точно опомнившись, глухо произнес: «А-а... это ты?.. Проходи...» и, привычно огладив ладонью лицо, обрел свой прежний, степенно-спокойный вид...

Мне при этом вспомнилась дневниковая запись Льва Толстого. Ему, осиротевшему в восьмилетнем возрасте, приснилась семьдесят лет спустя однажды мать, и гениальный старец расчувствовался, облился слезами, испытал вдруг острую печаль и тоску одиночества и беззащитности.

Потрясающая деталь!

О чем думалось Ауэзову в сумерках того летнего дня? Что могло так взбудоражить, всколыхнуть его чуткую, изболелую душу? Какая жуткая бездна разверзлась под ним в тот миг? Видно, нахлынул, обрушился приступ тяжелого горя, гнетущей печали, смертельной скорби, вспомнились отравленные стрелы и бесчисленные покушения врагов — весь тот надлом, душевный КАТАРСИС, который он потом приписал в своей эпопее Абаю.

Но кто о том знает?

И эта сокровенная ауэзовская — теперь уже вечная — тайна является одной из граней его доминанты.

III. ЗАВЕТ

Стали крылатыми слова: “Поэт в России больше чем поэт”. Чуть перефразируя, можно сказать: “Для казахов Ауэзов значительно больше чем писатель”.

Впрочем, не только для казахов.

Я, например, всегда испытываю неловкость, когда хромящее на обе ноги сравнение: “Ауэзов — казахский Шолохов” выдается за некую истину и восторженно тиражируется казахскими литературоведами. Это пошло и смешно. Утверждение некорректное, бестактное и абсолютно невежественное. Будто Ауэзову выдали патент, определяющий знак качества, или запанибратски, снисходительно похлопали его по плечу.

А то еще приходится читать “важное” сообщение в газете, что “замечательный поэт Александр Сурков назвал Ауэзова аксакалом казахской советской литературы”. Ничего не скажешь, ценная мысль, глубокое определение, непререкаемый авторитет! Метко обозначил сущность Ауэзова! Надо же — аксакал!

Невольно приходят на память язвительные слова Гегеля:

“Никто из моих учеников не понял моей системы. Понял только Розенкранц, и то неправильно”.

Сколько благоглупостей случайных людей, весьма смутно и приблизительно представлявших многогранного Ауэзова, выдается по рабской инерции до сих пор как высочайшее признание!

Да, писатель по самой своей сути, по природе. Но не из того “чернильного племени” (Л. Леонов), каковых тьма, а из тех, которых следует писать с прописной буквы, как слова Бог, Творец, Всевышний. К Ауэзову как ПИСАТЕЛЮ более точно подходило бы определение В. В. Розанова: “Поистине тот только “писатель”, кто чист душою и прожил чистую жизнь. Сделаться писателем — совершенно невозможно. Нужно родиться и “удалась бы биография”.

Ауэзов именно родился им (не случайно в сочинении 14-летнего ученика, красочно описавшего ураган в горах и в степи, проницательный учитель заметил явные задатки будущего большого писателя), а уж о биографии и говорить нечего, она “удалась” на славу, по-настоящему писательской, о чем позаботились гены предков, среда и сама История.

Заветы Ауэзова — это его уроки, наглядно-житейские, нравственные, гражданские, творческие, человеческие. И они, эти уроки, нуждаются не в трескуче-возвышенных словесах и досужем красноречии, не в безудержных, запредельных метафорах и эпитетах, столь милых сердцу сонму дастарханных “кумпульдеков”-трепачей, а в конкретном выявлении, точном определении и повседневном освоении чутким сердцем и душой.

“Вот в чем вопрос, понимаешь?!” — произнес бы в этом случае свою излюбленную фразу мой старший друг Морис Симашко.

Ощущение своего предназначения, своего долга и неукоснительная верность ему — вот, на мой взгляд, один из главных заветов Ауэзова.

— Пожалуй... пожалуй... — задумчиво произнес Мухтар Омарханович и по обыкновению прокашлялся, подбирая нужные слова. — Я действительно всегда жил под бременем долга. Мой дед Ауэз воспитывал меня на стихах Абая, с которым дружил и жил по соседству. Он и грамоте меня учил по стихам Абая, а они настраивали душу на высокий и серьезный лад. Я сердцем почувствовал, что слово обладает чудодейственной силой и мощью и сорить им бездумно — великий грех. Сама степь, окружавшие меня горы и долины, казалось, постоянно внушали мне некую таинственную истину о человеческом предназначении на земле. Ранняя страсть к книгам только усугубила чувство долга. А тут еще поэты, помимо Абая, которого я выучил наизусть, мои предшественники и современники, постоянно как бы подстегивали душу, смущали покой. До боли волновали строки Султанмахмута. Помните: .

Анау жерде татар түр.
Баскалармен катар түр.
Мынау ойда казак түр,
Қастарында азап түр.
Ұйқысы көп, ояуы аз,
Бұл не деген ғажап дүр...

Смысловой перевод этих стихов примерно таков...

— Да я понял, Мухтар Омарханович...

— Важно, чтобы и другие поняли, — строго поправил он меня. — “Вон там стоит татарин, стоит с другими вровень; в той долине стоит казах, с ним рядом примостилось лихо; спящих много, бдящих мало, ну, что это за диво?!”

Гремел и набатный голос Миржакыпа Дулатова: “Прогнись, казах!” Ему вторил Магжан: “Дерзай, казах, пришла пора учиться”. О долге перед Степью, перед народом неустанно говорил неистовый Аха — Ахмет Байтурсынов. О, разве перечислишь всех верных сынов шестиколленного Алаша, которые денно и ночью будили народ, напоминая о долге, о чести и достоинстве?! Вот и я рос, возмужал на этой благодатной волне...

В третьей книге эпосов Абай приводит своих спутников-учеников к могиле Енлик и Кебек и говорит им: “И каждый раз, когда я проезжаю мимо, я чувствую себя должником. Мой долг им — долг поэта...” Думаю, когда Ауэзов со свойственной ему неспешностью обстоятельно расписывал эту сцену, он видел себя среди юных друзей Абая и долг поэта, о котором упоминал Абай, принял и на свою долю. Он, как и Абай, почувствовал себя должником перед памятью предков и исполнил свой долг, написав в 1917 году драму “Енлик-Кебек”. Драма эта была важным этапом в его творчестве. Недаром он вновь и вновь возвращался к ней, создав несколько вариантов, вплоть до середины 50-х годов, о чем подробно рассказывал нам, студентам КазПИ, на встрече с ним сразу после его возвращения из Индии. Речь Ауэзова на той встрече запомнилась мне во всех деталях. Слово “долг” звучало в ней не один раз.

Напоминание о долге важно и необходимо всегда. Особенно в наше тусклое, утилитарное время, когда на первый план нагло выходят шкурничество, корысть, неумная жажда наживы, цинизм власти. Француз Морис Дрюон замечает: “История не делается без великих людей. И если такого человека нет, что иногда случается, тогда история делается плохо”.

Наша нынешняя история, полагаю, делается как раз плохо из-за отсутствия великих людей, из-за недостатка людей долга, долга высокого и мужественного, таких, как Мухтар Омарханович Ауэзов.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО — другая важная грань жизни и творчества Ауэзова. При этом им руководило кредо Абая: “Наставник устал не знает”. Просветительство его не ограничивалось лишь непосредственной преподавательской деятельностью: чтением лекций в КазПИ, КазГУ, МГУ в качестве профессора литературы, но и дополнялось сбором и публикацией фольклора, легенд, мифов, преданий, образцов устного народного творчества, яркими публичными выступлениями,

докладами, где он с блеском обнародовал свои поистине энциклопедические знания, завораживая слушателей своей свободной, раскованной речью, вдохновением, артистизмом, мудрым обаянием. Можно сказать, он постоянно занимался высоким духовным просветительством.

Приведу два случая, свидетелем которых был.

Два дня — 25 и 26 марта 1957 года — в Академии наук Казахстана проходила научная конференция под названием “Первая казахская эпопея”. Факт этот отражен в моем студенческом дневнике, в котором я перечислил основные доклады. Докладчиками были М. Каратаев (“Первая казахская эпопея”), А. Нуркатов (“Абай и его эпоха”), З. Ахметов (“Женские образы в эпопее “Абай”), К. Куттыбаев (“Образы бедняков в “Абае”), З. Шашкин (“Художественное своеобразие романа-эпопеи”), Т. Нуртазин (“Үстем тап образдары”). Потом выступали — уже на второй день — Г. Мусабаев, З. Кабдолов, С. Бегалин, К. Куаньшбаев, Б. Шалабаев — словом, лучшие писательские, литературоведческие силы, интеллектуальная мощь столицы республики. Царила, помню, праздничная, торжественная атмосфера. Зал был полон. Все были взволнованы. Это было большое событие в культурной жизни Казахстана. Особую прелесть и значимость придавало участие в конференции самого Мухтара Омархановича.

И когда докладчики иссякли, выступающие выдохлись, когда, казалось, эпопея была разобрана “по косточкам”, разъята, как целое, поверена алгеброй гармония, слово для заключения было предоставлено Ауэзову. Зал затих, напрягся, словно в ожидании чего-то необычного, исключительного.

Плотный, немного грузноватый, лобастый смуглолицый человек спокойно и величаво пошел к трибуне, несколько минут, точно собираясь с мыслями, запинаясь, покрывая, подбирая слова, говорил спотыкливо, как-то не очень связно, вразброс, поблагодарил докладчиков, выступающих, всех собравшихся, казалось, он был несколько смущен столь пристальным, двухдневным вниманием к своей персоне, к своему произведению-монументу, но потом оратор поборол неловкость и косноязычие, будто выбрался из теснины на простор, речь обрела лад и склад, потекла свободно, мощно, голос окреп, глаза загорелись, указательный палец правой

руки все стремительней, все настойчивей взмывал вверх, посыпались, точно из рога изобилия, бесконечные названия, имена, цитаты, Ауэзов, все больше и больше увлекаясь, светлея лицом, говорил о своем любимом детище, творческой лаборатории, живых, реальных прототипах и вымышленных героях, о любви, тотчас прочел по памяти длинный отрывок из “Евгения Онегина”, постепенно раздвигал горизонт своего видения. орлом взмывал на крыльях красноречия, искусно ткал литературные, исторические, этнографические нити из разных эпох, проводил неожиданные параллели, будто вновь перелистывал на глазах у всех свой четырехтомный многолетний труд, объяснял смысл и значение отдельных эпизодов, картин, обращая внимание на очевидные промахи и упущения докладчиков. “Ну, как же,— говорил оратор.— никто из вас не обратил внимания на молодой чинар в первой книге, пробившийся из расщелин на голой скале, который в конце эпопеи — могучий, пустивший глубокие корни в каменистую почву — рухнул... рухнул, как измученный, скорбный Абай, чтобы возродиться в следующих поколениях, в грядущих веках? Как вы, ученые-литературоведы, прошли мимо этого сквозного символа эпопеи?”

И пока говорил этот плотный, лобастый человек, совершивший своим творчеством подвиг, завершивший свой главный труд жизни, люди, собравшиеся в просторном зале Академии наук, слушали зачарованно, затаив дыхание, ловя каждое слово. Оказалось, все эти доклады и речи, длившиеся два дня, были всего лишь прелюдией к подлинному празднику духа, выяснилось, что основной доклад о первой казахской эпопее сделал все-таки сам ее автор. Это была яркая просветительская речь, сплав проповеди и исповеди, блистательный ауэзовский урок, преподанный с таким вдохновением.

Другой случай связан с шестидесятилетним юбилеем Ауэзова. На встречу с писателями, проходившую в зрительном зале старого ТЮЗа (ныне снесенного), нас, группу студентов, повела наш методист-руководитель педагогической практики Халима Адамовна Бекмухамедова (жена знаменитого историка Е. Бекмаханова). Зал был переполнен. Люди стояли в проходах, вдоль стен, толпились у дверей. На юбилей Ауэзова съехалось много литераторов из союзных и

автономных республик. В президиуме сидели не менее четырех десятков известных прозаиков и поэтов. Мы узнавали Симонова, Суркова, Стельмаха, Гончара, Кербабая, Гуляма, Мустая Карима... Но больше всех поразил нас опять-таки Ауэзов. Он обстоятельно представил залу своих гостей, называл их по имени-отчеству, перечислял их основные произведения, давал им меткую творческую характеристику, блистал своей эрудицией, невольно вызывая восторг: апырай, как он только всех запомнил, откуда ему известны все эти бесчисленные узбекские, татарские, башкирские, бурятские, калмыцкие, украинские, белорусские, киргизские, туркменские, якутские, молдавские и Бог весть еще какие писатели и их творения — уму непостижимо. И всем было ясно, что почтенный юбиляр отнюдь не демонстрировал кичливо свои необъятные познания, отнюдь не любовался собой и вовсе не льстил своим собратям по перу из всех уголков беспредельного Советского Союза. Это была естественная потребность и непреходящая задача неутомимого просветителя, который и теперь, на своем юбилее, на литературном вечере остался верен просветительской идее. Само ритуальное представление гостей собравшемуся люду Ауэзов дивным образом превратил в яркую лекцию об единой и общей многонациональной советской литературе. Нам, будущим педагогам, этот наглядный, открытый урок Ауэзова запомнился на всю жизнь.

Еще один завет Ауэзова я вижу в МАСШТАБНОСТИ его личности, в широкоохватности его интересов и интеллекта. Евгения Лизунова свидетельствует: в наследии Ауэзова мы найдем свыше двухсот имен и произведений всемирной классики от Эсхила и Рабле до Низами и Шиллера. Он ощущал себя уверенным, опытным лоцманом в океане всемирной литературы. Запад и Восток слились воедино в этом могучем духе. О масштабности Ауэзова говорят не только его писательская, научная, педагогическая и общественная деятельность, что само по себе поражает, но и объем его наследия. По подсчетам Каюма Мухамедханова, наследие Ауэзова составляет:

— более 20 пьес, либретто и сценариев;

— 12 переводных произведений (“Отелло”, “Укрощение строптивой” Шекспира, “Ревизор” Гоголя, “Любовь Яровая” Тренева, “Аристократы” и “Человек с ружьем” Погодина,

“Офицер флота” Кроша, “Страх” Афиногенова. “После бала” Толстого, “Дворянское гнездо” Тургенева);

- около 200 на казахском и более 100 на русском языке научных исследований и публицистических статей;
- 17 учебников, хрестоматий и других пособий;
- тетралогия “Путь Абая”;
- десятки повестей и рассказов;
- 27 учебников и хрестоматий, выпущенных с участием Ауэзова.

Добавьте сюда тысячи и тысячи лекций, выступлений, вдохновенных речей по разным поводам перед искушенной аудиторией, варианты отдельных произведений, вспомните, что, по мнению специалистов, все это многообразное наследие составляет не менее пятидесяти томов, имейте в виду к тому же тернистый жизненный путь художника с его общественными, социальными, политическими, идеологическими перепадами, катаклизмами и драматическими перипетиями, и вы невольно поразитесь, сколько же вместилось в одной человеческой жизни одной-единственной личности по имени Ауэзов. И эта масштабность бытия, несомненно, является всем творческим людям поучительным уроком и заветом.

Еще одной примечательной особенностью ауэзовской натуры является, думается, его всеобъемлющая ЖАЖДА ЗНАНИЙ и неустанное ТРУДОЛЮБИЕ. “Работал он всегда, всю жизнь свехурочно и неутомимо, — вспоминает Алексей Пантиелев. — Я не замечал, чтобы Ауэзов переставал работать. Принимая гостей, он тоже работал. Читал он очень много, и это было всегда рабочее чтение. Ауэзов был настоящим многостаночником”.

Лет десять-пятнадцать тому назад на вечере памяти Ауэзова в вечернем университете культуры один из давних знакомых писателя (имя запамятовал) рассказал, как однажды группа литераторов и журналистов ехали с Ауэзовым в Москву. Это было тогда, когда до Москвы поезд шел пять или шесть суток. Рассказчик с юмором заметил: “Оттого, что мы обладали слишком большими знаниями, мы всю дорогу резались в карты, а Муха оттого, что знал слишком мало, все время читал книги”.

Учиться он начал рано (доброе семя заронил в его душу мудрый дед Ауэз), окончил училище, семинарию, университет,

аспирантуру, усердно занимался самообразованием, свободно владел пятью-семью тюркскими языками, изучал историю, литературу, фольклор, педагогику, психологию, социологию, культурологию, был азартен и неумен в познании, постижении неведомого. А какие были у него педагоги! Валентина Николаевна, супруга, пишет: “Ауэзов слушал лекции академиков Бартольда, Самойловича. Работал Мухтар в семинаре пушкиниста Н. Оксмана, посещал лекции языковедов, будущих академиков, тогда молодых доцентов С. Обнорского и В. Виноградова, фонетикой занимался у Л. В. Щербы”.

Везде и всюду он находил интересных, одаренных людей (не только среди писателей, а и в среде художников, актеров, музыкантов, ученых, народных умельцев, государственных деятелей), и люди тянулись к нему. Критик К. Зелинский назвал его “зовущим символом”. В этом удачном, на мой взгляд, определении мне нравится слово “зовущий”.

Невежество ему претило больше всего. Он гневно обрушивался на людей самодовольных, равнодушных, амбициозных, а нелюбопытных, ограниченных молодых литераторов называл “неполными толстыми, недозрелыми шекспирами”.

Постоянный творческий поиск, дерзание, страстное ЭКСПЕРИМЕНТАТОРСТВО, новаторство — наиболее характерная черта художнического облика Ауэзова. Искал, экспериментировал он в драматургии, в прозе, в переводе. В драматургии он начал с традиционных фольклорных мотивов и дошел до брехтовских новаций в их историко-национальном преломлении. В прозе прибегал и к романтизму, и к критическому реализму, отдал некоторую дань и так называемому соцреализму. И в переводе придерживался разных подходов, разных направлений — сравните, например, перевод — раскованный, вольный, художественно-адекватный — “Укрощения строптивой” или “После бала” и явно скованный, сознательно загнанный в формальные рамки, в прокрустово ложе оригинала, насильно подогнанный под надуманную теорию перевод “Дворянского гнезда”. В своих творческих поисках Ауэзов шел на риск сознательно, не боясь неудач, проявляя смелость и дерзость. И этот урок художника является одним из его очевидных, достойных заветов.

Не замыкаться в национальной скорлупе, всемерно избегать губительной опасности культурной изоляции — к этому Ауэзов призывал всем своим существом постоянно. Как и Абай, он был устремлен к горизонтам мировой цивилизации. Самодовольство и спесь, казакбайство были ему глубоко чужды. Даже самый просторный национальный чапан был ему тесен. Тюбетеек и такой не жаловал. Роль сутуго национального ряженого никогда не играл. Говорил: “Я обязан русской школе так же, как русской культуре в целом”. В его широкие объятия вмещалось многое. Душа его чутко улавливала многонациональные струи культуры и трепетно отзывалась на подлинную дружбу и искренность, откуда бы они ни исходили. Потому и льнули к нему читатели и почитатели во всем Советском Союзе, а также в Индии, Японии, Германии, США — везде, где б он ни побывал. В своей устремленности ко всечеловеческому, общечеловеческому, наднациональному он, можно сказать, был живым воплощением и носителем идеи подлинного евразийства. Как мы знаем, идею создания единой истории литературы всех народов СССР Ауэзов горячо поддерживал. Он был одним из тех, кто ратовал за взаимосвязь и взаимовлияние литератур и активно способствовал их практическому осуществлению.

Еще один завет Ауэзова я бы определил как нацеленность на ДУХОВНУЮ ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ, на большие планы, на дерзкие задачи. Замыслов и идей у него всегда было больше реальной физической возможности их осуществления. Он стремился к высоким вершинам. Существует казахская поговорка: “Старая, беркут начинает мышковать”. В мудрости этой поговорки мы убеждаемся сплошь и рядом. Но к Ауэзову она никакого отношения не имела. Во-первых, он ушел из жизни, не состарившись ни телом, ни духом, а во-вторых, “мышкование” было абсолютно чуждо его природе. Едва закончив титанический труд над эпопеей “Путь Абая”, обремененный бесконечными обязанностями и заботами ученого, педагога, общественного деятеля, он задумывает цикл романов о современности. Он говорит об этом уже не однажды, пишет о том в статьях, делится задумками с друзьями, с читателями. Все чаще мелькает цифра семь. Именно из семи романов должен был состоять этот цикл, охватывающий столетие народной жизни. Сохранились

тезисы Ауэзова, относящиеся еще к 1944 году. Они свидетельствуют о том, что уже тогда им был задуман этот семитомный цикл: три романа должны были быть посвящены собственно Абаю, а четыре — потомкам Абая. Эта идея с годами несколько трансформировалась, но цифра семь устояла: после тетралогии должна была следовать трилогия о современности.

Перспективы казахской литературы он не упускал из виду. Думал о ней перед тем как отправиться в Кунцевскую больницу, готовясь к роковой операции. Размышлял о ней, о литературе, напряженно в своих последних письмах за несколько дней до необратимого. Думая о перспективе, он настойчиво будил мысль. В отзыве о своем учителе в Семипалатинском училище Н. Н. Белослюдове Ауэзов писал: “В своих занятиях он не ограничивался простым преподаванием. Своими беседами он будил мысль. Прогрессивностью и гуманизмом своих воззрений и отношением к ученикам он вызывал искреннее уважение”. Эти слова в полной мере относятся и к самому Мухтару Омархановичу.

Ауэзову самой судьбой было уготовано быть ЛИДЕРОМ казахской литературы на большом ее этапе. И от тяжелого бремени лидерства он не отказывался. Как живое олицетворение достохвальных черт своего народа, как его духовная суть, он сам был тем могучим чинаром, устремившим свою гордую вершину в сверкающую высь всечеловеческой цивилизации. На вершину этого чинара на скале, так живописно изображенного Ауэзовым, равнялись все остальные многочисленные, разнородные деревца в огромном массиве национальной культуры. Со смертью Ауэзова казахская литература лишилась своего Лидера, своего Наставника, своего Заступника, который был непререкаемым авторитетом, высшим мерилем таланта, чести, совести и благородства.

Мы знаем: в абаевском окружении было немало талантливых людей. Иные из них не уступали ему в красноречии. И стихи слагали по формальным признакам, может, не хуже. И все-таки по духу они не поднялись до абаевских высот. Они не могли подняться даже до уровня Эккермана при Гете.

Много талантливых учеников и последователей оказалось у Ауэзова. Они оправдали надежды своего учителя, выполнили его заветы, стали известными, именитыми писателями,

признанными художниками. Но справедливости ради следует отметить, что ни один из них так и не вырос в подлинного, общепризнанного лидера большой многонациональной казахской литературы, не стал духовным вождем, истинным глашатаем великой правды, тем могучим чинаром, который, презрев личную корысть, чванство, спесь, самолюбие, житейскую суету и прочие человеческие пороки и слабости, устремил бы во имя славы, радости и гордости современников и потомков свою вершину в сверкающую высь всенародной, всечеловеческой любви и признания.

Я не сетую, никого не виню, а констатирую факт. Чего нет, того и на крылатом коне не достигнешь.

Лидер не может быть одиноким, сам по себе. Иначе какой же он лидер? “Одинокий человек — мертвый человек”, — утверждал Абай. И еще он писал: “Гнев без воли — вдовец. Ум без печали — вдовец. Ученый без последователей — вдовец”.

Старик Даркембай в “Пути Абая” говорит: “Одинокое дерево в пустыне всегда зачахнет, если вокруг не примутся его семена. Хотите достигнуть высоты — тянитесь к ней вместе со всей порослью, а не в одиночку...”

Мысли эти созвучны Ауэзову. Они навеяны всем опытом его многотрудной творческой жизни. И в них заключен еще один завет Ауэзова.

...Над Ауэзовым простиралась бездонная синь неба. Чисто омытый недавним весенним ливнем, он купался теперь в золотистых струях солнца, удовлетворенно расположился в своем просторном кресле на постаменте из темно-серого гранита, пристально вглядывался в даль, вслушивался в разноразличные звуки вокруг. Чувствовалось, он обжил это место, привык и к оживленному, часто праздничному многолюдью, беспрестанному городскому гулу. С книгой в правой руке он застыл в сосредоточенно-задумчивой позе. Несколько сорванцов от избытка сил и баловства взобрались ему на плечи, один чернявый шалопут даже примостился на его коленях, но он их не замечал или снисходительно терпел.

Вокруг сновали очаровательные голоногие смутлянки, лукаво зыркали вокруг черными глазищами, цокали каблучками, сбивались иногда в веселые стайки, щебетали, заливались серебряными колокольчиками. Деловито выпшгивали взад-вперед принаряженные джигиты, поглядывали

на часы, косясь при этом на мельтешивших вокруг, точно бабочки на солнечной лужайке, прелестниц.

Я улыбнулся про себя, подумав: вниманием людским Мухтар Омарханович никогда не был обделен, и художественный вкус никогда ему не изменял, приглядел-таки себе веселенькое, бойкое место для отдохновения, где вечно бурлит жизнь, как, бывало, в его гостеприимном доме, где не смолкает родная речь, где слышны за спиной слова его творений в устах молодого, незнакомого племени, где во все стороны простирается простор и где в час раздумья никто не нарушает его душевный покой.

От Мухтара Омархановича веяло уверенной силой, мудрым спокойствием. необычайной живостью, благородством. Именно таким он запомнился современникам. Анна Никольская: “Казалось, он никогда не знал усталости — и никогда не узнает старости”. Алексей Пантиелев: “Ауэзов ушел живым, не утомленным, пишущим новый роман, пьющим вино и смотрящим на женщину взглядом поэта”.

Да, он ушел живым. Остался живым. И живым восседает сейчас в кресле перед Казахским драматическим театром, носящим его имя.

— О, знакомый незнакомец!.. Приветствую вас! — услышал я глуховатый голос при следующей встрече. Кого-то ждете?

— Здравствуйте Мухтар Омарханович! Ассалаумагалеikum, Муха!.. Пришел на спектакль. Решил немного постоять возле Вас.

— Кхм... м... Бәрекедi!.. Есть новости? Какие на свете хабары? Все ли в здравии и благополучии?

— Шуюр, Муха!. Понемногу готовимся к Вашему юбилею.

— А-а... Опять, значит, той? Опять поминальный ас? — нахмурился почему-то Мухтар Омарханович. — Опять, небось, юрточньй городок, пыль столбом, аламан-байга, казахша-курес, многочасовая трапеза, бесконечный треп?!

— Ну, полагаю, не совсем так... — смущенно пробормотал я. — Однако, от традиций не уйдешь.

— Не традиции, а глупость, косность! — отрезал Мухтар Омарханович. — Год-то нынче какой?

— Ну... одна тысяча девятьсот девяносто седьмой...

— Вот-вот! Пәлі! Новое столетие на носу! А вы — традиция! Сколько можно жить по инерции?!

— Ойбай. Муха! Я-то при чем?! — невольно вырвалось у меня.

— А-а... солай екен гой... — сменил он тотчас гнев на милость. — В самом деле... Что же подделывают писатели — верные рыцари пера?

Я не решился на обстоятельный разговор, не приведи Аллах, еще разгневаю невзначай Муха, потому ответил расплывчато:

— Ничего... пишут... только крутое время выбило их малость из седла... немного как бы растерялись...

— А что, все еще крутые времена? Очередная кампания?

— Э, Муха, у нас, можно сказать, передышки и не было никогда. Правда, был — не очень затяжной — застой, а все остальное время — сплошь переходы, перестройки, реформы, крутые повороты, переломы, потрясения, сотрясения. Живем, как при перманентной революции. Вот в эту тряску, видно, писатели не знают, откуда вдохновение черпать...

— Мне кажется, вдохновенье надо искать не только в радости и в счастье, но и в горькой доле народа, в подавленных порывах его смелых сынов.

— Помню Мухтар Омарханович: эти слова произносит Абай в Вашем романе.

— Верно... Но это мои слова, вложенные в уста Абая.

Ауэзов умолк, некоторое время вглядывался в праздничную толпу, собравшуюся на театральной площади, лицо его вновь подобрело, смягчилось. Он заметил несколько старух в белых жаулыках, плюшевых камзолах, длинных, до пят, платьях, белобородых стариков в таких и аир-калпаках, громко колготавших карасакалов явно аульного обличья и сдержанно улыбнулся им. Он услышал, как голоногие смуглянки с раскосыми глазами, сплошь модницы с обложки глянцевого журналов, бойко щебетали по-казахски, густо перемежая вольную речь русскими фразами, и вся эта оживленная, торжественно-приподнятая атмосфера, обрамленная безмятежной синью неба и оранжевыми лучами предзакатного солнца, явно настроила его на умиротворенно-благодарный лад.

— И что за представление дают сегодня, знакомый незнакомец? — спросил Мухтар Омарханович потеплевшим голосом.

— “Енлик-Кебек”...

— Пәлі! Бәрекедді! Кхм... м...

Мне пришла на память финальная сцена ауэзовской эпопеи. Умер Абай. И верный, любимый его ученик Дармен дает ушедшему пламенный обет: “Как золотой клад, буду беречь оставленные вами ростки будущего, отец... Драгоценные ваши семена... Нет, не погибнет твое семя, высокочтимый отец! Твоя жизнь не пройдет бесследно. Пусть сейчас еще нет широкошумной рощи, осеняющей цветущие луга, но по всей беспредельной шири степей рассеяны и взойдут твои семена, возрастут во множестве, в невиданном доселе цветении. Они будут расти ввысь, укрепляясь с годами... Ради этого всю свою жизнь до самой смерти клянусь я беречь и лелеять драгоценные твои слова. Я оправдаю заботу твою, дорогой отец!”

Это была клятва самого Ауэзова перед духом Абая. Клятва перед аруахом. Ее повторили потом про себя и многие из тех, кому в год ухода самого Ауэзова было 21—24 года. Это была большая, мощная поросль молодых, только встававших на крыло литераторов, боготворивших Ауэзова и поднявших вскоре казахскую литературу на достойный уровень. Многие из них ныне маститые, широко известные за пределами страны писатели, сумевшие проявить и свой талант, и свою интеллектуальную мощь. Именно эти на слуху, и потому не стану их здесь перечислять. Да и те, тогдашние сорокалетние, плотной стайкой увивавшиеся вокруг Ауэзова, кумира, наставника, опекуна своего, обласканные им, его предсмертными письмами, также в большинстве своем оправдали его доверие и надежду, не уронив знамени казахской литературы. И эти имена мы знаем и хорошо помним. Иных тоже уже нет среди нас, но мы вспоминаем их с неизменной благодарностью.

В последних числах июля 1961 года (я находился в отчем доме в ауле на берегу Ишима) пришел ко мне мой школьный учитель Жылгельды Муканов, мрачный, насупленный, молча опустился рядом со мной, вытер глаза, вздохнул. “Давай, Гера, поплачем,— сказал он.— Скончался Мұхаң”.

Я не сразу сообразил, о ком речь, стал вспоминать аульных аксакалов с похожим именем, но тут Жылгельды-ага пояснил:

“Мы лишились Мухтара Ауэзова”...

По казахскому обычаю мы обнялись и долго и скорбно молчали...

...Через несколько лет, вновь и вновь переживая в душе то неутешное мгновение, я вспомню пронзительную фразу из "Лихой години": "И сердце, вчера еще полное радости жизни, почтения к старцу, любви к женщине и ребенку, сморщилось, как увядшая кисть винограда, оно пало, познав самое гнусное оскорбление, стыд и ужас смерти".

Как-то в Союзе писателей Казахстана, еще в бытность Олжаса Сулейменова его председателем, спонтанно возник разговор: кто из наших писателей имеет шанс уверенно вступить в XXI-й век. Пришли к выводу: из XIX века в XXI-й, бесспорно, шагнет Абай; из XX века, без сомнения, — Ауэзов. Еще кто?... Задумались. Конечно, найдутся еще кое-какие претенденты, которые, находясь на стыке двух веков, так сказать, на меже, на промежутке, вероятно, переберутся в неведомый XXI-й век, но трудно сказать, насколько им удастся удержаться в нем. Впрочем, кто может предугадать выбор грядущего века?..

И сейчас, вспоминая тот разговор, затеянный Олжасом, я подумал про себя: вот спуститься бы с небес или вылезть из-под земли где-то, скажем, в середине XXI века, одним хотя бы глазом посмотреть на то, что стало с родным Казахстаном, с народами, населяющими его, прислушаться, услышать казахскую речь, не корявую, топорную, кошомную, серую, как скучный бишаринский быт, а живую, сочную, АУЭЗОВСКУЮ, и тогда утешилась бы душа, ибо в мощи и жизнестойкости русской и немецкой речи я со своей нынешней колокольни не сомневаюсь и не беспокоюсь, а вот дивный ауэзовский речестрой, воплотивший казахский дух, в минуты печали и уныния чудится мне, будто находится на перепутье судьбы. И, думая обо всем КАЗАХСКОМ, могу сегодня уповать лишь на нетленный Дух Абая и Ауэзова...

март 1997 г.

СУДЬБА-ВЕЛИКАН

Поразительное смещение времени происходит в сознании, когда вспоминаешь его звучное, гулкое имя — Джамбул.

Вот Абай, к примеру, — все-таки явление прошлого века. А до Джамбула, кажется, рукой подать, он где-то совсем рядом, его нетрудно вообразить верхом на лошаденке, или на ишаке в чапане и малахае, с домброй в руках. А между тем они, можно сказать, ровесники — курдасы: год разницы в их почтенном возрасте не в счет.

Когда Абай умер, Джамбул был еще в силе, разъезжал по аулам, складывал дастаны, состязался с молодым задором с прославленными акынами-импровизаторами, язвительными стихами разоблачал местных богатеев, был дерзок на язык, не знал усталости, поглядывал на молодежь. Слава его гремела в Краю семи рек.

Но Джамбул, которого силком вколачивали в сознание людей советской — главным образом сталинской эпохи, был еще впереди.

По натуре он был — как истинный поэт, обладающий божьим даром, — независим, крутонрав, дерзок, волен, непредсказуем, и стоило немало трудов, чтобы его, уже пожилого, немощного, опутать идеологическими арканами, обложить секретарями-стихотворцами, переводчиками-цензорами, лакировщиками, казенными советниками, втиснуть его в прокрустово ложе текущей политики, сделать рупором, алилуйщиком режима, народно-сказовым иллюстратором большевистских лозунгов.

Ну, он и лихо, мастерски вгонял на потребу дня в семи-восьмислоговое терме или одиннадцатисложный традиционный размер разные славословия в честь Клима-батыра

(Ворошилова), Чапая-батыра, Ежова-наркома, храбро расстрелявшего “бешеных собак” — “врагов народа”; Кирова, Калинина и Жданова, “бесстрашного Буденного”, “пламенного Куйбышева”, пел длиннющие, как караванная дорога, гимны Октябрю, Ленину, его мавзолею, “мудрому Моссовету — штабу “Москвы”, съезду “балшайбеков” (большевиков), советскому воину, батырам эпохи, комсомольцам Ленинграда, правнукам Ильича, большевистской “Правде”, ну и, разумеется, великому из великих, которого он, акын Джамбул, бессилён был с чем-то достойным сравнить, ибо вождь всех времен и народов, конечно же, был выше Солнца и Луны... Вообще, по количеству “датских стихов” Джамбул был недостижимым и непревзойдённым лидером.

Властям был нужен такой Джамбул. Именно такого власти усиленно культивировали.

* * *

Мы нынче чествуем другого Джамбула — истинного, подлинного: акына-импровизатора, сказителя-жырши, певца своего обездоленного народа, кладезя мудрости и народной поэзии, самородка, выразителя великой судьбы, совершенно уникальное явление, исполина поэтического духа, живую бессмертную легенду.

Мы чествуем того Джамбула, который имел право о себе сказать: “Джамбул — это имя простое мое. Народ — настоящее имя мое”.

Мы чествуем патриота своей родины, воспевшего ее широты, красоты, дух и торжество.

Мы чествуем автора поэм “Земля героев”, “Утеген-батыр”, “Моя жизнь”, “Суранши-батыр”, искрометного, находчивого мастера поэтических состязаний.

Именно такому Джамбулу, всенародному любимцу, гордости и чести народа, воздаем мы славу.

* * *

В мою жизнь Джамбул вошел рано.

В казахском ауле учеником третьего класса я раздобыл случайно пухлый том его стихов, изданных еще до войны латинским шрифтом. Первые страницы были вырваны: их

употребляли, наверняка, на вытирание рук после жирного бесбармака. Уже несколько лет как казахи перешли на кириллицу, а потому латиница была не в чести, к тому же шла война с фашистами, которые тоже пользовались латинским шрифтом. Многие в ауле и не догадывались, что я читаю Джамбула, полагая, что это какая-то немецкая книга.

Помню, смутило меня название одного стихотворения. Я с трудом его прочел — “Остепкеде”. Вроде по-казахски, а непонятно. Спрашиваю у аульчан, никто не знает. Лишь в старших классах догадался, что это искаженное слово означает. “На выставке”. Джамбул в этом стихотворении воспел ВДНХ.

* * *

В ушах моих сверстников и поныне звучат чеканные джамбульские строки в переложении Павла Кузнецова:

Песня моя, ты лети по аулам,
Слушайте, степи, акына Джамбула.
Слушай Кастек, Каскелен, Каракол,
Я славлю великий советский закон.
Закон, по которому радость приходит,
Закон, по которому степь плодородит,
Закон, по которому вольным джигитам
К подвигам смелым дороги открыты...

Читать эти строки полагалось на пределах голосовых связок, в экстазе, взхлеб, с патриотическим надрывом.

Кстати, в оригинале они звучат проще, со значительно меньшим пафосом, приглушенно. Русские переводчики Джамбула тех лет сотворяли поразительные фейерверки из строк казахского акына. Им, видно, чудилось, что старый акын день и ночь изрекает лозунги или строчит газетные передовицы в стихах.

В те годы Джамбула охотнее цитировали на русском. При цитировании обнаруживались заметные расхождения между оригиналом и выпяренным переводом. Джамбула редактировали сначала его секретари, заполняя пропуски при записи на свой салтык, потом еще раз основательно, под казенный пафос — ловкие интерпретаторы-переводчики. Джамбул, к примеру, напевал, перебирая струны домбры:

— Жамбыл деген атым бар,
Көпті көрген басым бар.

(т.е. “зовут меня Джамбулом, многое повидал за свою жизнь”), а переводчики бойко переделали:

— Мне, Джамбулу, девяносто лет,
Я сижу крепко на коне...

Была у переводчиков надежная рифма: “Джамбул-аул-гул-караул”. И на эти созвучия натягивали стих, как шашлычник — мясо на шампуры.

* * *

О Джамбуле написано много: диссертации, монографии, воспоминания, статьи. Проникновенный очерк о нем написал много лет тому назад народный писатель Казахстана Абдижамил Нурпеисов. Очерк называется “Все в нем пело” и опубликован десятки раз. Автору удалось подойти к личности Джамбула и его многогранному творчеству совершенно с новой стороны, раскрыв его как незаурядное общественно-культурное явление. Все, к чему прикасался Джамбул, все, что он говорил, становилось фактом поэзии. В нем действительно все пело. В нем генетически сконцентрировался многовековой заряд устной поэзии кочевников. К великому сожалению, у нас плохо культивировался ранний, дореволюционный Джамбул — Джамбул-странник, Джамбул-печальник, Джамбул-борец, Джамбул-бунтарь. Такой Джамбул русскому читателю был совершенно неизвестен. По просьбе А. Нурпеисова, я подстрочно перевел около двух тысяч строк малоизвестной поэзии Джамбула. На их основе московский поэт Юрий Кузнецов сделал добротный художественный перевод. Они вошли в книгу, составленную и отредактированную А. Нурпеисовым. Она увидела свет в издательстве “Художественная литература”, кажется, в 1987 г. На мой взгляд, это был серьезный вклад в джамбуловедение, но книгу эту странным образом не заметили ни ученые, ни критики, ни переводоведы (лингвисты). А жаль...

* * *

Джамбул очень рано осознал свое призвание, свое предназначение. Сохранилось стихотворение тринадцатилетнего Джамбула, обращенное к отцу Джабаю. Известно, что Джабай и его братья не брезговали лихим занятием — конокрадством.

Юный Джамбул решительно отвергает такую степную удаль, убежденно говорит: “В руки взяв домбру, запою, будни в праздник превращу, ведь торжество, пиры, отец, множат добро между людьми”. Он знал силу слова. Он знал себе цену.

Силой победишь одного, словом — тысячу.

Он оставался верен своему призванию всю свою долгую творческую жизнь.

* * *

С ранних лет до глубокой старости акын был убежден: в его груди обитает бесстрашный тигр. И пока его тигр с ним, он не ведает страха, никакие беды-напасти, вражеские происки ему не страшны. И он действительно не боялся никого и ничего. Незадолго до кончины к хворому Джамбулу пришла группа поэтов. Начали утешать: “Ничего, Жаке, не волнуйтесь. Выздоровеете, поправитесь”. — “Нет, — печально ответил акын. — Дни мои сочтены. Сегодня я видел сон. Мой тигр меня покинул, ушел, махнув хвостом, через перевал. Я позвал его: “Эй, вернись!” Не вернулся. Все... Жизнь кончилась...” Покинул акына его верный спутник — тигр, его вдохновение, его поэзия, мощь его духа. Вскоре акын умер...

* * *

Джамбул, сын Джабая, восславил свой край, свою родину, свой народ. Титан устной народной поэзии, он обрел бессмертную, неувядающую славу в памяти потомков.

1996 г.

СЛОВО БИЯ АЙТЕКЕ

Считаю целесообразным предпослать моему переводу “Благословение Айтеке би” короткое напутственное слово.

Время — понятие условное и субъективное. Прославленные казахские би — Толе, Казыбек и Айтеке, — жившие триста (или чуть более) лет назад, кажутся нам бесконечно далекими, затерявшимися в сумерках истории загадочной и вечно манящей Степи, а, скажем, Александр Сергеевич Пушкин, к 200-летию юбилею которого мы ныне готовимся, воспринимается едва ли не как наш живой современник. Таково уж свойство человеческой памяти и духовстройства.

Смею думать, что в многосложный мир казахов я в определенной степени все же проник: как-никак более полувека — житейски и творчески — бытую в этой сфере. Однако, признаюсь, есть вещи, которые мне совершенно не под силу: в данном случае я имею в виду казахскую родовую летопись — шежире.

Казахское шежире напоминает мне заячьи следы на свежей пороше. Следов много, то явных, то смутных, но попробуй прочти, разгадай их, разберись, где начало и конец. История кочевников — затейливый, умопомрачительный лабиринт, в котором часто и безнадежно плутают толпы историков, особенно чужеземных. Тут нужна не только спасительная нить Ариадны, но и особый склад ума, душевная наклонность и расположенность, некая отличительная черта исторической духовности и сознания, немеркнущая свеча души, рассеивающая густой мрак, тьму-тьмь веков.

До сих пор бытует расхожее мнение, будто кочевники — аморфная, инертная масса, которая без смысла и толка

металась столетиями из края в край “киргиз-кайсацкой степи”, сталкиваясь и перемешиваясь с другими племенами, диковинными гогам-магогами, плодясь и умирая под синим куполом небес, на огромном пространстве, не оставляя после себя ни памяти, ни следов. Увы, так нас учили. Для советской историографии это было так удобно: до Октябрьской революции вообще ничего не было на окраинах империи, всюду царил мрак, большевики зажгли солнце, а уж самая удревлeнная история зачиналась, быть может, Петром Великим, Анной Иоанновной и Екатериной Второй.

Я приходил в восторг, и во мне зарождалась белая зависть еще в далеком моем детстве, когда мои аульные сверстники-казахи без запинки называли своих предков до седьмого колена. Знакомые мне немцы и русские похвастаться этим не могли.

Этой исторической памятьности казахов я поражаюсь и поныне. Мой друг, чингизид Шот-Аман Уалиханов, к примеру, запросто перечислит свой славный род вплоть до “потрясателя Вселенной” Чингисхана — двадцать три поколения! Покойный журналист, литератор Балгабек Кыдырбекулы называл своих предков до тридцать второго колена. Каково?! Нечто подобное можно встретить в Библии.

Или вспомним труд академика Степана Борисовича Веселовского “Род и предки А. С. Пушкина в истории”, где прослежен род великого русского поэта с XIII века от полулегендарного Ратши: «Из Немец пришел Ратша, у Ратши сын Якун, у Якуна сын Алекса, у Алексы сын Гаврила Аликсич, у Гаврилы дети: Иван Морхиня да Акинф Великой, у Ивана Морхини один сын Александр, у Акинфа Иван да бездетный Федор, у Александра Морхинина пять сыновей: Григорий Пушка, Владимир Холопище, Давид Казарин, Александр да Федор Неведомца» и т.д.

Я говорю об этом несколько пространно, чтобы проиллюстрировать одно наблюдение: то, что, скажем, для европейца, скорее, исключение, экзотика, второстепенная материя, для кочевника, в т. ч. для казаха — строгое, неукоснительное правило. Лишенный в течение веков письменности, зафиксированной печатно истории, архива, надежной научной документации, кочевник придавал исключительное значение родовой памяти, родословному древу по отцовской и материнской

линиям, знанию семейных и родственных уз, устной шежере-летописи, закрепленной, запечатленной в преданиях, легендах, притчах, фольклоре — батырских дастанах-поэмах и религиозных киссах-сказах и т.д. Именно в них заключены история, душа, ментальность народа, и пренебрежительное, высокомерное отношение к этому кладезю культуры по меньшей мере неразумно или кощунственно.

И еще одно попутное замечание, о чем, собственно, уже много сказано весьма авторитетными в науке людьми разных времен и национальностей. Это особенное, культовое отношение номадов к Слову — отточенному, ассоциативному, яркому, афористичному, ритмизованному, хлесткому, метафоричному, организованному по канонам высокой риторики. Казах воспитан на культивированном, поэтическом слове, оно вошло в его кровь и плоть, он знает цену ему, неизменно восторгается словом самобытным, незатертым, с подтекстом и намеками, уместным, попадающим точно в цель, сражающим наповал, вдохновляющим на подвиги, запоминающимся, как наскальная надпись.

Об этом следует постоянно помнить, когда речь заходит о славных златоустах-биях.

В народном сознании их упоминают вместе, в неразрывном единстве, в четкой последовательности — именно так, канонически — Толе би, сын Алибека, Казыбек би (Гусиноголосый), сын Келдибека и Айтеке би, сын Байбека. Это, однако, вовсе не значит, что кто-то из них, представляя определенный жуз — Большой, Средний и Малый, — имел более высокий “статус”, играл более значительную роль, обладал более весомым “рейтингом”. Они жили примерно в одно время, придерживались одних высоких помыслов и воззрений, жили и творили во имя одной великой идеи и цели и исповедали одну религию в самом объемном и священном понимании этого слова.

Более того, представитель и духовник Младшего жуза Айтеке би, как известно, был по возрасту старше двух своих сподвижников. Но народная память расставила их именно в таком порядке.

При всей общности взглядов и политических устремлений каждый из них отличался характером и пристрастиями, темпераментом, деяниями, судьбой. Это лишь самодеятельный неумеха-мазила, исходя из своих скудных познаний

и представлений, намалевал уже в наши дни трех заурядных, безликих, пустоглазых, белобородых, без каких-либо живых черт аульных старцев в надуманных, произвольных нарядах, назвав эти манекены именами великих исторических деятелей.

В беседах с разными людьми об этих знаменательных биях мне не раз приходилось сталкиваться с явным нигилизмом. Дескать, что мы знаем о событиях и личностях трехсотлетней давности, тут много наносного, приблизительного, надуманного, кто теперь может подтвердить, что именно сказал по тому или иному поводу Толе, Казыбек или Айтеке. Биев, мол, в казахской степи было много, все они отличались умом и велеречивостью, искусно плели “красные словеса”, и кто знает, что доподлинная правда, а что просто-напросто вымысел, молва.

Доля правды в этом есть, но это далеко не вся правда. Бий бию рознь. Разные бывали биин-шешены, так сказать, местного масштаба, племенного калибра, доморощенные краснобай, хотя просто так, по желанию и прихоти аульных аксакалов, никого бием не звали. Шокан Уалиханов свидетельствует: “Чтобы приобрести имя бия, нужно было киргизу не раз показать перед народом свои юридические знания и свою ораторскую способность”.

Человек, искушенный в неохватном казахском фольклоре, истории и шежире, вполне в состоянии отличить истинное зерно от плевел.

Ну, а эти трое, духовные гиганты, о которых ведется речь, всем биям — биин. Они были признанными верховными биями трех огромных жузов, сумевших сплотить разрозненный народ в самый трагичный, ответственный период судьбоносной истории и четко определить — говоря нынешним языком — стратегический путь народа на грядущие века. В этом их заслуга. В этом исторический пафос их деяний. И именно поэтому живет поныне благодарная память потомков.

Да, действительно, на извилистом, тернистом пути истории зашоренные подлой идеологией потомки на десятилетия оказались как бы отлученными от своих великих предков, и потому многое из их титанических деяний и жизни запечатовано, растеряно, многое придется по крупицам с огромным трудом восстанавливать, собирать по крохам из сохранившихся устных и письменных источников. Что, к счастью, ныне и делается добротами-культуртрегерами.

Сведения об Айтеке би еще совсем недавно были крайне скудны. Знали только, что он из рода алышын, из ветви алим, из колена торткара, предок — Карашы, потом — Сейткул. Дед — знаменитый Акша-хан, отец Байбек. Не стану более перечислять, ибо рискую ошибиться. И все предки Айтеке в истории степи известны, прославлены, все сплошь бии, батыры, воины-ратоборцы, приближенные к ханским дворам, советники знатных правителей, видных деятелей. Усилиями ряда исследователей за последние годы многое прояснилось. Однако годы жизни Айтеке би до сих пор являются предметом спора. Большинство на основе косвенных свидетельств, сопоставлений склоняется к году рождения его — 1644. А вот дата смерти трактуется по-разному. Одни называют год смерти 1700-й, отводя, таким образом, Айтеке всего 56 лет жизни. Другие называют 1709-й, 1710-й и даже 1730-й год, приводя при этом серьезные аргументы. Я не столь компетентен, чтобы вмешиваться в этот спор. И в данном случае это и не столь важно.

Известно также, что он не был доморощенным мудрецом-самоучкой, который сыпал афоризмами, изрекал истины, на каждое слово находил сотни пословиц и поговорок, исходя, так сказать, из умозрительного опыта. Он получил прекрасное для своего времени образование. Пяти лет от роду он овладел начальной грамотой у аульного муллы. Заметив его незаурядные способности и сметливость, дед Акша опекал внука, отдал его на учебу в Самаркандское медресе Улугбека. В медресе он учился арабскому и фарси, изучал религию, математику, географию, духовное право. Здесь же, в медресе, он ознакомился с трудами историков, астрономов, путешественников эпохи Амира Тимура. Не чуждо было ему и военное искусство. Он имел полное основание впоследствии говорить: “У просвещенного человека — о чудо — и глаз, и ушей по четыре. Лучше с образованным очутиться в аду, чем с невеждами томиться в раю”.

Он рано сформировался нравственно, обрел известность в своей среде, популярность среди народа, непререкаемый авторитет среди правителей. В нем сказывались отменные гены: его предок в пятом колене Ораз был главным советником у основателя Туранского государства Амира Тимура. Мудростью, рассудительностью, прозорливостью, красноречием Айтеке выделялся с юных лет, о чем свидетельствуют многочисленные устные предания.

Став верховным бием своего жуза, он посвятил свою жизнь заветной мечте — объединить казахов, потомков Алаша, под одним небесным куполом-шанраком, под единым священным стягом. Он страстно желал видеть свою Казахстан мощным, свободным, независимым государством. Независимым от российского льва, от китайского тигра, от волчьей стаи Джунгарии и кокандских, хивинских шакалов. На этом пути его ждало немало разочарований. Трудно было объединять самонадеянных султанов, мелких правителишек, мнивших себя столпами государства, великими ханами. С горечью он изрек: “В стране процветающей много поэтов-акынов, в стране утасающей много правителей-акимов”.

Он был не только бием, мудрецом, златоустом-шешеном, но и ратоборцем, предводителем войска. Но уповал он не на копье и меч, а на разум и мудрое слово.

Он был сыном своего времени и утверждал: “Вырваться из своей среды редко кому дано”. Но он-то вырвался из своего времени и обрел славу и признание среди своих далеких потомков.

Три бия, три пророка - Толе, Казыбек и Айтеке в историческом сознании казахов воспринимаются как святыня, как неразрывное единство народного Духа, как воплощение духовной субстанции Казахии. Они жили и творили в конце XVII и в начале XVIII веков. Их мудрые наиздания народ сберег в своей памяти как сокровище.

По просьбе Абдижамила Нурпеисова я попытался воспроизвести орнаментальный речестрой, типичный для казахских биев-златоустов прошлого. Это непросто. Иногда немисливо. Иная ментальность. Иное мироощущение и духоустройство.

Слова бия Айтеке, сказанные триста лет тому назад, звучат современно и актуально, если только вникнуть в их глубинный смысл.

АЙМАУЫТОВ АЙШЫҚТАРЫ

/ЖҮСПБЕК АЙМАУЫТОВТЫҢ БІР ТОМДЫҒЫН ОҚЫҒАНДА/

Өз басым қазақ әдебиетінің арғы жағын да, бергі жағын да бір кісідей білем ғой деп күпсініп жүруші едім. Сүйтсек, шынын айту керек, біздің ұрпақ дүниеге жаңа келе бергенде қатал заманның қаһарына іліккен қазақ әдебиетінің бір топ ақиықтарының шығармашылығы бір мен емес, бүкіл халық санасынан мүлде ұмыт болып, айтса айтқандай, ақтаңдаққа айналып барады екен. Қазір, міне, атаң қазақ айтқандай, өлгенің тіріліп, өшкенің жанып, халық осынау садаған кетейін жариялылық заманында ұлттық рухани байлығымызды «әуп» деп бірден құзар биікке көтеруші әлгі айтқан ақиығымыздың бірі Жүсіпбек Аймауытовтың шығармашылығы тек бір ғана мен емес, бүкіл менің буыным білмейтін көз бен көңілден бірден кетіп, анық ақтаңдаққа айналып кеткен екен.

Міне, араға алпыс жыл салғанда халқына қайта оралған Аймауытовтың қалың бір томдығы алдымда жатыр. Жок, құр жатқан жок, мен оны қолыма қалам алып тұрып, қай күннен бері ұқыпты шәкіртше әр сөзінің астарына үңіліп, кей түсын қайталап оқып шықтым. Бұл жинаққа жазушының прозалық шығармаларынан екі роман, бір повесть, екі әңгіме енген екен. Осы дүниелер жайында оқу үстінде өзім түйген кейбір пайымдауларымды ортаға салмақпын.

Алдын ала ескертейін: көз ашқан қаршадай бала жасымнан халқымның дәлділік, нақтылық қағидасы қаныма сіңген неміс басым, дәл осы арада да мен мына үлкен

жазушының шығармашылық күдірет-күшін жан-жағынан егжей-тегжейлі талдап, оның шырғалаң өмір жолын баяндап жатуды мақсат тұтудан аулақпын. Біріншіден, алдыма ондай талап қойған жоқпын. Екіншіден, бұл орайда белгілі сыншы-ғалым Серік Қирабаевтың осы жинаққа беташар болып енген көлемді алғы сөзінде әлгі жайлар кеңінен айтылған. Мен осы мақалада оқырман жұртшылықтың назарын тек екі нәрсеге ғана аударғым келеді. Ол — Жүсіпбек Аймауытовтың прозасының тілі, тіл айшығы, сөз кестесі, сөз күдіретінің мен байқаған кейбір ерекшеліктері. Сонан соң тағы бір айтпағым — алпыс-жетпіс жыл бұрын жазылған, Аймауытов шығармаларында көтерілген ірі-ірі әлеуметтік толғаныстар қазіргі біздің заманымыздың кейбір көкейкесті мәселелерін үстінен тап басып, үндес шығып жататынын көргенде, жазушының сергек ойлылығы мен қоғамдық құбылыстың күйтырқысын қырымнан байқайтын зерделі алғырлығына таң қалмай тұра алмайсың. Тіпті әрі-берідесін осы жазушы өмір жолын өзімізбен бірге бастан кешіп, өзімізбен бірге келенсіздікке күйініп, жылт еткен жақсылыққа жас баладай алақайлап қуанып, өзімізбен бірге қалам тербеп, арамызда аралас-құралас жүргендей әсер аласың. Бұл жағынан бізге түстас, замандас сияктанады.

Қазақтың түпсіз-түнғыық сөз байлығын аямай емін-еркін қолданған Аймауытов шығармашылығының озық үлгілерінен біз үйренетін тәлім-тәрбие де аз емес. Әсіресе сөз деген шіркінді орайын келтіріп, орнын тауып қолданған жағдайда мұның күдірет күші әлемет екенін Абайдан, Әуезовтен кейін мен енді, міне, Аймауытовтан көріп отырмын. Мен өзімді қазақ жазушыларының бар-бар шығармаларын көз бен көңілден өткізген, анау-мынауға көңілі селт етпейтін кәркесте оқушы санаймын. Шынында да, қазір анау-мынаумен бізді таң қалдыру қиын да. Ал, Аймауытовты оқығанда еріксіз таң қаласың. Аймауытовтың әсіресе сөз кестесі, айшықты, әшекей тілі кәркесте оқушының өзін бірден баурап, үйіріп әкетеді. Шын мағынасында эстетикалық ләззәт алып, шынайы сезімге бөленесіз.

Аймауытов сөздік қоры орасан бай, ағыл-тегіл мол, сол ағыл-тегіл молдықтың арқасында жазушы қаламынан туған дүниенің тынысы кең, емін-еркін көсіліп жазып, нақышына келтіріп суреттер жасайды. Оны біз көбінесе, ғылым

тілімен айтқанда, синонимикалық сөз тізбегінен байқадық. Мысалы: «Бір көзі соқыр, жалғыз әйнекті, тапалтақ, кішкене үйінің дымыққан, күлімсілеу, терсымақ иісі мұрнына жып-жылы тиді». Немесе: «Кешегі шотпақ қара, төбел таз, ұрт мінез күйеудің бұл жерде әп-әдепті, жібектей жатық жігіт бола қалғаны; анаған да, мынаған да арсылдап отыратын, малшы-құлшымен өсекке таңылып жүретін, тау көкірек, мақтаншак, сиырдай сары қыздың қой аузынан шөп алмас мүп-мүләйім, нәуетек, науша қыз бола қоюы Күнікейге торғын қағазға ораған сасық сабындай, немесе алтын жалатқан мыс сақинадай алдауыш, бояма болып көрінді, тыржиды, тезірек кеткісі келді».

Ал, көріп отырсыз осы сөйлемдегі ұтымды синонимдердің жазушы біреу-жарымын ғана қолданып, сонымен шектелсе де аздық етпес еді. Айтпақ ойы сонда да оқушы санатына жетер еді. Ал тіл байлығы ағыл-тегіл төкпе жазушы-суреткер тақ-түкті місе тұтпайды, еселеп, екпіндетіп, шабыты шалқып, рухтанып кетеді.

Мен көптен байқап жүрген бір нәрсе: байырғы қазақ тілінің күш-қуаты — оның етістіктерінде, олардың көп мағыналылығында, ішкі шиыршық атқан динамизмінің молдығында. Қазақ тілінің осы бір өзіндік табиғи ерекшелігін Аймауытов жиі және кеңінен қолданады. Тыңдап көрінізші. «Қыздар қызыл құнажындай қыландап, сыландап, шоқтанып, топтанып, сылдырлап, былдырлап, Шідергіні өрлей Рақаш ауылына бет қойды». Немесе: «Сүмірейте, қылмита соқты; желдете, құтырта соқты. Лебізі құлаққа жағып кетті, жүректі тербетті, тамырды желпіндірді, бойды шымырлатты».

Міне, өздеріңіз де байқаған боларсыздар, осы сықылды еселеп қолданылатын етістіктер мен оның түрлері — есімше, көсемшелердің тізбегін көлдетіп, көркем прозаны шамадан тыс әшекей-айшықтап жіберу сол кездегі қазақ прозасында ала-бөле Аймауытов шығармашылығына тән қасиет. Көріп жүрміз ғой: сөздік қоры неғұрлым көл-көсір бай жазушылар солғұрлым эпикалық кең тынысты шығарма жазуға бейім. Шабыт үстінде олар ағыны қатты аттай басына әл бермей, қаламына қанат байлағандай шығандап кетіп, сөйлемге кіл сабақтас құрмалас, салалас құрмалас, аралас құрмаластар тізбегін төпеп төгіп-төгіп жібереді. Ал Жүсіпбек Аймауытов тіл байлығы қанша шексіз болса да, нағыз қас шеберге тән қасиет арқасында шамадан асып, шектен шықпай дер кезінде өзін тежеп қалады.

Мысалы: «Бала у-шу, малай қиқу, мал маңырап, ит жаң-жүн. Ауыл түтін, өзен күріл. Қызыл інір. Малың жайлап, шайы қайнап, ел де орынға отырды».

Көне, айтыңызшы, байырғы қазақ ауылының тіршілік көрінісі көз алдымызға келіп, сайрап тұрған жоқ па? Енді «Әнші» әңгімесінің алғашқы жолдарын есімізге түсірейік: «Қаптап жатқан қазақ. Жазы-қысы — қымыз, ойын-сауық — «кататься». Айт, той, құдалық, ат жарыс, күрес. Маскүнем. Төбелес. Үй қыдырған көлең-көлең ақ жаулық... Жаз шықса пароход, паром, желқайық, жасыл арал, қалың орман... Көкке шыққан, гүләйт соққан, масайраған шат көңіл... Сырнай-керней. Қызық думан...»

Ғажап сурет! Және шебер жазушының бұл тұста біз жаңа қырын — қысқа қайырымдар мен қолға ұстатқандай нақпа-нақ түйіп тастап отыратын «үнемпаздығын» көріп отырмыз. Қысқа қайырыммен шеге қаққандай айтар ойына көп нәрсе сиғызады. Орыс тілінде «назывные предложения» деген грамматикалық ұғым бар. Ол көбінесе бірыңғай атау есімдерден құралған шолақ-шолақ сөйлемдер мағынасын білдіреді. Көркем сурет жасауда Жүсіпбек Аймауытов осы бір тәсілді ұтымды ойната білген. Оқушы көз алдына сонау жиырмасыншы жылдардағы НЭП дәуірінің халық тірлігіне әкелген дарқанды тынысының қазақ-орыс аралас Жетішатыр қаласына көшкен сипатын танымыз.

Тағы бір мысал: «Қара құрық. Түтін. Қазан. Ит. Бала. Ию-қию». Міне, небәрі бес-алты ғана сөз. Және де барлығымыз білетін, күнделікті қолданып жүретін қарапайым сөздер. Ал, Аймауытов қаламынан туғанда оларға кәдімгідей жан бітіп, сиқырлы сурет көз тартып шыға келеді. Сондықтан да оның қым-қуыт заманның шым-шытырман әлеуметтік оқиғасын жан-жағынан алып суреттеген роман, повесть, әңгімелерінің өзі сайып келгенде көлем жағынан ылғи шағын, қысқа бола тұра, дүние танымы түбегейлі терең келеді. Айталық, базбір жазушы күнделікті өгіз аяң китін тірлікті суреттеу үшін қаншама сөз жұмсап, босбелбеу, құнарсыз бірдеме жасар еді. Аймауытов болса қазақтың ауызекі айтылып жүретін қарапайым ғана қос сөздерін орнын танып, тиімді жерде ұтымды пайдаланып, мәселен, айталық: «кіртін-бұртын, кірбең-күйбең, күйкі өмір» деп ұғымдық мағынасына салмақ беріп, күшейтіп жібереді. Енді осы «ию-қию», «жаң-жүн», «кірбең-күйбең», «шіли-міли» «кіртін-бұртындарды» басқа тілге, айталық, орыс яки неміс тіліне тәржімелеп көріңізші.

Аудармашылық өнердің мен де ащы-тұщысын біраз татып, егжей-тегжейін білетін сияқты едім, бірақ, соған қарамастан мына қос сөздерді жатқан орнынан қозғалта алатын қауқарым жоғы ақиқат. Қолымнан келмейді! Балама табамын деп, тәуекел ете алмаймын. Аймауытов айшықтары қазақтың ұлттық тілінің каймағы бұзылмаған табиғи байлығын жете меңгеріп, оны орнымен қолдана білудің бірден-бір айғағы.

Сан жағынан санаулы, аз, бірақ жүрегі лүпілден соғып тұрған сиқырлы сөзбен Аймауытов адам портретін, табиғаттың тамаша суреттерін де жасайды. Мәселен: «Аяқ жағында шытырдай болып ширатылып, қасын керіп, шынашағын шошайтып, ақ құба, ұзын мұрын, жұқа ерін ерке келіншек қымыз сапырып отыр». Немесе Мұқаш келбетін алыңыз: «Мен таңқы мұрын, бадырақ көз, шұнақ құлақтау, жарбақтау, кірпі шаш, қырыс маңдай, кара сүр жігітпін».

Бұл жерде маған мынандай да ой келеді. Қазақтың ауыз әдебиетінен сусындап, қаршадайынан ұзақ-сонар хикая, дастан, қиссаларды тыңдап, тыңдап қана қоймай, жаттап, зейініне тоқып, айтыс өнерінің ауызша салғыласын көріп өскен жазушының фольклор ықпалында бауырын көтере алмай қалып қою қаупі жоқ емес еді. Сондай жағдайда оның әлгі бір «қазақтың өзге жұрттан сөзі ұзын» дейтін қағиданың өзін бұзып-жарып, еуропалық әдебиеттің деңгейіне көтеріліп, өз заманының озық прозасын жасауы бізді таң қалдырмай қоймады. Бұл бір. Екіншіден, үлкен әдебиетшінің жаңа сапалы ұлттық әдебиеттің ірге тасын қалаушыларының бірі екендігін азаматтық парасат мүддесінен терең түсінгендігіне дәлел.

Аймауытов прозасындағы психологиялық иірімдер, ішкі монологтар, сюжет құру сипаты, тұлғаны мүсіндеу, сомдау тәсілі, композиция тұтастығын жасаудағы зерделілігі — оның өз заманының озық үлгілі һәм мәдениетті, аса ірі реалист суреткер екеніне бірден-бір айғақ.

Дей тұрсақ та, жазушы көшпелі халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан фольклорлық дәстүрінен ақи-тақи арылды деу қиын. Оны тіпті ілгеріде біз келтірген әлгі бір үзінділердің бойынан да бір сөз, жарым сөзден байқауға әбден болады. Ауыз әдебиетіне тән саптау, әшекей-айшық бой көрсететін сол әлгі ырғақты ұйқастарға жазушы бір есептен саналы

түрде барды ма деп те қаламын. Жазушы шығармасын әрқашан да оқушыға арнап жазады. Ендеше кім біледі, Аймауытов та әлгі бір фольклор мақамына салып, қара сөзді термелетіп, тақпақтатып жазғанда сол кездегі қалың оқушының ой-өрісіне қарай қаламын ыңғайлап, әдейі ақ өлендетіп жіберуі де мүмкін. Сөзіміз дәлелді болуы үшін мына бір жолдарды алайық: «танауы таңқиған, омырауы аңқиған, кенірдегі сорайған, жіліншігі сидиған, саусақтары сыпсидған, үркек малша окшиған, бес тал сақалы шоқшиған, шынжау етті, шын бетті, жағына пышақ жанитын, бір көргеннен танитын...»

Сол сияқты: «маңдайы қаскып, мойны қаздып, көзі мөлдіреп, ерні үлбіреп...» Қазіргі қазақ прозасында бұл іспетті ділмәрлікке салған фольклорлық дәстүрлі теңеулер мен әлдеқашан қалыптасқан, термелеп кететін әуендер, атам заманнан бері ауызекі арзан ұйқастар, әлбетте, сирек кездеседі. Рас, ондай қызыл сөзді көптіріп, тіл мен жағын безеген өнер қазір профессионалдық әдебиеттен профессионалды тамадалардың дастарқан басындағы үлесіне тиді.

Аймауытовтың әлсін-әлі ырғақты прозаға қалам безеп, инверсияға (сөйлемдегі сөздердің дағдылы тәртібін өзгерту, алмастыру) бой ұрып кететіні жөнінде де осыны айтар едім. Ойымды нақтырақ дәлелдеу үшін «Күнікейдің жазығы» повесінен бір-ақ мысал келтірейін: «Жалғыз әйнек жаман үй, төсеніші — жалаң ши. Жаман үйдің төрт жағы — ала сырмақ текемет, текеметте Күнікей, жалғыз әйнек түбінде. Алты көзден үшеу жоқ, лақтар ойнап сындырған. Қалғаны аман қалсын деп, әйнекті жүдө жүлдырған...»

Повестің алғашқы тарауы түгелдей дерлік осы сарында, осы ырғақ, осы өлшемде жазылған. Ырғақты проза сарыны Аймауытовтың мұнан басқа да шығармаларында бой көрсетіп қалады. Ара-тұра болса да, Аймауытов әлгіндей тек фольклорға тән ырғақпен, инверсиямен, ұйқастармен оқушысын еліктіріп, елендетіп алып, шынайы реалистік прозаға көшеді.

Аймауытов прозасын ежіктеп, мұқият оқып отырып, менің тағы бір байқағаным — оның ара-кідік орыс тілінен кірген сөздерге жатсынып, үркектеп қарамай, емін-еркін пайдаланатын қасиеті. Бұған да әбден түсінуге болады. Қайсы десеніз, сол бір төңкеріске күрт ұшыраған қала-дала тірлігін әлеуметтік өмір шындығынан алыстатпай, өз қалпында суреттеп, тіпті сол кездегі кісілердің сөйлеу машығына дейін

айна-катесіз аудырмай беруге тырысқан әрекеті. Сөз арасында айта кететін бір жай: бұл, алдымен, қазіргі біздің кезімізде кең етек ала бастаған ұлтаралық, халықаралық қарым-қатынаста әрбір тілдің өсу, даму жолындағы мойын бұлтартпас заңды құбылыс. Мәселен, ГДР жазушылары күні кеше біздің әдеби-мәдени тілімізге орыс сөздері, синтаксистік оралымдар көп кіріп кетті деп қынжылса, ФРГ әдебиетшілері неміс тілін ағылшын сөздері шұбарлап барады деп налып жүр. Бұл жалғыз Аймауытовтың басындағы жағдай емес, сол кездегі белгілі қазақ жазушыларының көбінің басында болған, айта берсеңіз, тіпті Ресей қағанатындағы ұлт өкілдерінің бәріне тән қасиет. Аймауытов прозасында орыс сөздерінің біразы өңі айналып, кәдімгідей-ақ «қазақыланып», қазақ тіліне лайық фонетикалық сипат алады. Мысалы, мына сөздер: үшкөл, періятшік, кінеге, әтірет, «дәуалнай болар», өшетіл, көріс (курс), дияла, «балшабек табарыштар», «субалыш коммунистер», бүртөкел, ділграм, талкөшке, поштауай, шорнабай, қашаба, разберске, «арыстанбайт егіліп», жәшейке т. т. Осы тектес «кірме» сөздердің бір тобы өзінің төл түрінде, «мұрты қисаймай» қолданылады: кабинет, план, протокол, автомобиль, аэроплан, бомба, пулемет, расход, парта, портфель, земство, хамство, митинг, винтовка, артист, труппа, секрет, билет, саботажник, счет, инструктор, паром, т. с. с. Халықаралық лексика да аз кездеспейді: материалист, идеалист, символист, футурист, параграф, пролетариат, автономия, комиссия, капитал, элемент, флот. Аймауытовтың мен оқып шыққан прозалық шығармаларында мұндай сөздердің жалпы саны ерінбей-жалықпай санап шыққанымда бір жүз алпыс үш болды. Орайы келгенде жол-жөнекей айта кетейін: қазақтың ұлттық прозасындағы әлгіндей «кірме» сөздерге өз басым оқырман ретінде көптен бері ерекше назар аударып жүрмін. Мәселен, Бейімбет Майлиннің «Жазушы» баспасынан 1973 жылы «Шұғаның белгісі» деген атпен шыққан бір томдық шығармалар жинағында орыс сөздерінің саны жүз жетпіс екен. Ал Тынымбай Нұрмағанбетовтың «Үшінші кластың жетекшісі» атты повесінде алпыс, Шерхан Мұртазаевтың шағын көлемді «Жалаң аяқ от кешу» әңгімесінде он бес орыс сөзін кездестірдім. Әйгілі әдебиет зерттеушісі Франц Шиллердің дерегі бойынша, Октябрь революциясының алдында Ресей

немістерінің тіліне бірнеше жүз орыс сөздері кіріп, бауырласып кетіпті. Бұдан шығатын қорытынды: көрші болған соң, ыдыс-аяғың араласпай тұрмайды.

Аймауытов прозасында маған мүлде бейтаныс, білмейтін, білмегенді айтасыз, тіпті қолымда бар лұғаттардан да кездестіре алмаған қазақ сөздері мен оралымдары ұшырас-ты. Мысалы: дүкірт, бұғылама, сұқым, салдаман, нырайлар, бейуаз, шайырғал, тақылжыр, маукіл, мәзқар, мыршым, мүдуар, салапат, мораз, лике, шүленгер. Қанша айтқанмен де затым неміс қой, менің білмегенім ештеңе емес (сұрас-тыра біле жатармын), ал, енді әлгі тақылеттес сөздерді шиге шанышқандай көзінен тізіп алып отырып, көңіліме кішкене реніш кірді. Осы сөздердің бәрі бірдей қазіргі қазақ-тың әдеби тілінің қорынан түсіп қалуы қаншалық орынды? Жиған-тергенінен гөрі жоғалтқаны әрқашан да көбірек болатын халық сөз қазынасын осылай көшкен-қонғанда ұмыт қалдыра берсе, келешекте не болады? Қазіргі қазақ тілінің байлығын ысырап қылып, далаға шашып, түптің түбінде кедейлендіріп алмаймыз ба деген қауіп ойымнан кетпейді. Онсыз да қазақтың қаншама байырғы төл сөздері барған сайын қолданудан қалып, көрер көзге тіл жұтанда-нып қалған сияқты. Сонда қазақ әдеби тілінің қалыптасу процесі бітпей жатып, ананы архаизм, мынаны диалекті деп, әр сөзге бүйідей тисек, қолда бар асылымыздан айы-рылып қалмаймыз ба? Қай жылдан бері шет елде тұрып жатқан заманымыздың үлкен жазушысы А. И. Солжени-цын шығарма үстінде күн, түн сарылып, бір қолын екі ете алмай жатып та осы кезде орыс әдеби тілінде қолданудан қалып бара жатқан сөздерді ерінбей-жалықпай жинап-теріп, көлемді лұғат жасағаны белгілі. Осынау игілікті іс үстінде қаршадайынан американ мектебінде ағылшын тілінде оқыған-мен де ана тілін әкесінен кем білмейтін Александр Исаевичтің екі ұлы жан-тәнін сала жәрдем берген екен. Сыртта жүрген кісілер ана тілі үшін арқа еті арша болып, жанын жалдап жатқанда біз неге өз елімізде отырып, қазақтың ұмыт бо-лып, күнделікті тірлікте қолданудан қалып бара жатқан төл сөздерін тірілтпейміз? Ондай сөздер қазақтың ауыз әдебиетінде, қисса-дастандарында, мақал-мәтелдерінде, ше-шен-би сөздерінде, кеше ғана арамыздан кеткен классик жазушылардың шығармаларында сақадай сайрап тұрған жоқ

па? Ендеше біз неге осынша мол қазынаны жинап, теріп, жүйеге келтіріп, жан-жақты түсінік беріп, сөздіктер құрас-тырып, қайтадан тірілтіп, қатарға қоспаймыз? Меніңше, бұл да баршамыз ойланарлық жай.

Аймауытов прозасында өткен заман көріністері, ұмыт қалған ұғым-түсініктер, этнографиялық деректер де мол екен. Бір ғана мысал. Бала кезімізде (ол соғыс жылдары мен соғыстан кейінгі кез ғой) мен өскен ауылдың той-томалақтарында халық ойындарының сан қилы түрлері болушы еді. Олардың біразы менің жадымда осы кезге дейін сайрап тұр. Қазір соның бәрі салттан шығып қалды. Тіпті сол ойындардың атаулары да жұрттың жадында қалмаған. Қазіргі ауыл жастары өлең айтудан да қалған, бас қосқандағы бітірер ермегі — оқта-текте реті келгенде (тіпті келмесе де бәрібір) «бозжорғаны» борбайлап, айдап алады. Мұны көргенде, ай, ішің қан жылайды-ау!.. Бірақ, дәл осы жерде айтпағым бұл емес. Сол ұмыт болған қазақтың ежелгі халық ойын-сауықтарының бүгінде біз біле бермейтін неше түрін Аймауытов шығармаларында атын атап, түрін түстеп береді. Күр тізіп қана қоймай — тәптіштеп суреттегенде оқушы лажсыз қызығады. Мәселен: «Ойын созыла берді. «Хан қалай? Белбеу соқ, тақия жүгіртпек, сақина тықпақ, мыршым, ондай қылма, мұндай қыл, ләпи молда, қалдырма қаки, балтам тап» сияқты сүйісетін, белбеумен ұрысатын, жұдырық жұмсайтын, емшек ұстайтын, қол қысатын, тағы талай қол жұмысы аралас ойындарды адақтаған кезде жігіттер түрегелісіп, «күр-күр» қалмақ ойыны сияқты жақтан ұратын, күш сынасатын ойындарды да істеді. Шалқасынан сіресіп жатқан жігітті аяғынан көтеріп тұрғызуға, екі аяғын айкастыра ұстап, бүкшиген жігітті бір қолтығына қысып, иығынан асыруға, белбеуден ұстасып, бірін-бірі басын төмен салбыратып, шалқая бергенде, дөңгелекше айналдыруға келгенде Байманға тең келер жігіт болған жоқ».

Енді бір мезгіл атакты «Күнікейдің жазығындағы» көш салтанатын, «Ақбілектегі» диуана Ескендірдің үстіндегі ылдырмақ-сылдырмақтарын естеріңізге түсіріп көріңіздерші, сонда сіз Аймауытов прозасында этнографиялық суреттеулер мен сан түрлі детальдардың молдығына, оның бізге үлкен ғибраттық мән-мағынасы бар екеніне көзіңізді жеткізесіз. Сайып келгенде, жоғарыда айтылған әңгіменің барлығы Аймауытов прозасына тән өзіндік стиль ерекшеліктерімен қатар оның

мән-мағынасын, күш-қуатын, эстетикалық, этикалық, таным-тағылымдық қасиетін айқындай түседі, сол заманның тұрмыс-тірлігін бар тынысымен көз алдымызға әкеліп, жазушы көтерген гуманистік идея парасатын белгілейді.

Сонымен Аймауытовтың тілі ерекше бай дедік, көркем дедік, әшекейлі, нақышты тіл дедік. Тағы бір байқағанымыз: Аймауытов талантының ілгеріде біз айтқан қыры-сырына еліктеушілер сол тұста болғанға ұқсайды. Үлкен таланттың ығын паналап, ажарын қызықтап, бас жоқ, аяқ жоқ еліктеу табиғи жарастықтан гөрі жасандылыққа әкелмей қоймайды. Ал, жасандылық жүрген жерде шығарма да күніне жетпей шала тұған шарана сияктанып, бауырын жерден көтере алмайтын мешел, мүтедек. Мұндайда, әрине, тілі құрғыр да басына тартсаң, аяғына жетпей әлек қылады. Сондықтан тіл тапшы жерде — ой кедей. Ой кедейлігі қарабайырлыққа әкеп соқпай қоймайды. Тіл күнделікті тірлікте адамға аяқ жолын танытатын тек әшейін қарым-қатынас құралынан гөрі күрделірек күдірет-күш, талант қолына түскенде тұлабойы тола сиқыр да сыршыл күшке — өнерге айналып, аржағында адам жаны, жүрек тынысы лүп-лүп соғып, сыршыл сезім сұхбатқа шақырып тұрады. Және де жазушы жанының адалдығы, ең алдымен, оның тілінен байқалынады.

Гәп сонда. Фибрат, өнеге де сонда. Аймауытов тағлымының біз байқаған пәлсапалық түйіні де осында. Демек, Аймауытов бұл тұста да бүгінгі қалам тербеген қазақ ақын-жазушыларымен ірге ажыратпай, иықтасып, қатар тұрған түстас іспетті. Осы күні бәрімізді де төсегімізде дөңбекшітіп жатқызбай жүрген бір жағдай — ұлтаралық қарым-қатынастарда басымыздан кешіп отырған қиындықтар ғой. Бұл көкейкесті мәселе осыдан жетпіс жыл бұрын Аймауытовты да қатты толғандырған екен. «Әділет, теңдік, адамшылық қайда?» — деген сауал Аймауытов кейіпкері Қартқожаның да алдында тұрған. «Олар бос сөз бе? Оларды кім шығарды?» Осы сауалдар қазір бізді аз мазалай ма? Олардың күр әшейін айта салған желеу, бос сөз еместігін біздер де түсінетін халге жеттік, әл-қадірімізше біз де оларға жүрек түбінен жауап іздеп, жан ұшыра шарқ ұрамыз, түн ұйқыны төрт бөліп, әуре-сарсаңға түсеміз. Қартқожа романының бір жерінде былай делінеді: «Енді орыстан да қорықпайды: тілінің бөтендігі болмаса, жүрегі де, ойы да өзіміздікіндей. Андрей

қай қазақтан кем? Артық емес пе? Қартқожаға сондай ақыл айтқан қазақ болды ма?» Міне, өз кезінде Қартқожаның көкірегіне жол тапқан әділет, шындық сипаты бүгінгі қазақ балаларына да жат емес.

«Ақбілек» романында Бекболат бірде мынандай қорытындыға келеді: «Алдыменен жуандардың ықпалынан, рушылдықтан қазақ азаматтары өздеріміз тазаруымыз керек. Өзіміз тазармасақ, еш нәрсе жасауға болмайды». Ал, бұл мәселе күн тәртібінен түсті деп қалай айтамыз? Қартқожа да, Бекболат та дәл қазір біздің алдымызға шығып, үлкен мінбеден сөйлеп тұрғандай әсер алмайсыз ба?

«Енді мынау өңшең орысша сөйлескен, шылым тартқан, арақ ішкен, пысық, бықысқан қазақ әкімдер», немесе, «тағы да алқынған, көпірген, лепірген көп сөз сөйлеп кеткен» белсенділер, Ықаң мен Тапандар қазір де арамызда толып жүрген жоқ па?

Омбыдан Ертісті өрлей еліне қайтып келе жатып, Қартқожа «жаңбырлық киген, қалпақты қазақ жігіттерімен» кездесіп, тұрмыс жайын сұрап, шұркыраса кетеді. Сіз солардың қойған сұрақтарына құлақ салып қаранызшы. «Қалай, аман ба? Жақсы тұрасыңдар ма?» «Жақсымыз»,— дейді ел қазағы. «Кеңсе қалай? Қазақша ма?» «Екі жыл болды, қазақша жүргіземіз».

Апырай-а?! Осы жерін оқып отырып, еріксіз езу тарттым. Оу, бұл қазіргі күні бәріміздің басымызда бар жағдай ғой. «Кеңсе қалай? Қазақша ма?»— деуінде үлкен мән бар-ау! Осы бір сауалды біз бұл күндері өзіміздің Орталық Комитеттің, Совминнің «жуан-жуан» жиналыстарында да қойып жүрген жоқпыз ба? Қазіргі қазақтың сұрағы емес пе? Мұның өзі Бекболат Омбыда оқуын оқып жүрген кезде Қазақстанда қазақ тілі мемлекеттік мәртебе алған сияқты ма, қалай? Аймауытов ана заманнан дәл осы бүгінгі күннің жан тебіrentкен мәселесіне көз жіберіп отырғаннан сау ма?

Енді романның мына бір жеріне назар аударыңыз: «Бұл не?» деп сұраса, Ертіс бойындағы қазақтарға жер өлшеп беріп жатыр екен. Бұрын аренда төлейтін, пәтерде отырған қазақтар қызыл танау болып, жер иемденіп: «Қала боламыз, мектеп ашамыз, каперация жүргіземіз» деседі. «Аренда», «кооперация», «сөз емес. іс керек!» деген біздің бүгінгі тіршілігіміздің түбегейлі сөзі, сөз емес-ау, ұраны ғой. Сонда

калай? Баяғы қазақтар «елу жылда ел жаңа» деуші еді, «Қартқожа» романы жазылғалы елу емес, жетпіс жылға таялып қалды, ал біз болсақ әлі де сол кездегі қара батырлардың мақсат-мүддесінен бойымызды да, ойымызды да асыра алмай екі етегіміз далақтап, аузымыз жалпылдап, күр сөзбен жүргеніміз бе? Сонда бүгінгі біздің басымыздағы хал-күйімізді «көріпкелі» бар жазушы, сірә, күні бұрын біліп, қағазға түсіре берген бе? Енді бізге бұл замандас болмағанда, кім замандас болады! Классикалық еңбек қанша жылды артына салса да мәні мен құнын жоғалтпайтынын біз осы тұста тағы көрдік. Ғалым-әдебиетші Серік Қирабаев біз қалам тербеп отырған Аймауытовтың бір томдығына жазған алғы сөзінде ақиық жазушының ақын, прозашы, драмашы, сыншы, публицист, аудармашы, ағартушы, педагог, ғалым болғандығын мейлінше дәлелдеген. Тек, өттен, баршамыздың өкінішімізге орай, қазіргі оқушы қауым Аймауытов шығармашылығының әлпіндей жан-жақты қырларын әлі де болса біле бермейді. Бұл келешекте бәріміз ескерер жайы. Аймауытов сынды ұлттық мәдениеттің аса ірі қайраткерін қолына қалам ұстаған кейінгі ұрпақ жан-жақты зерттеп, талдап, терең ұғуымыз керек. Осыдан аттай алпыс жеті жыл бұрын жазылған: «Мағжанның ақындығы туралы» атты зерделі эссе-мақаласын Аймауытов былай аяқтапты: «Мағжанның ақындығы туралы азды-көпті байқағанымызды айттық. Қалған болса, оқушылар жеткізе жатар деп, сөзімізді бітірдік».

Әрине, өз басым бұл жерде «қалғаны болса» дегенді айта алмаймын. Бірақ, Жүсіпбек Аймауытов прозасының тілі, тілдік қасиеті төңірегінде бірер байқаған топшылауларымды мен де осымен тамамдап, қалғанын кейін ғалымдар болып, оқушылар болып жеріне жеткізе жатар деген үлкен сенімде қолымдағы қаламды тежеп, ойымды бұдан әрі өрістетпей, осы арадан үздім...

1990 ж.

СЛЕД СЛОВА

Мне он всегда казался замкнутым и суровым. Сдержанный, ровный, неизменно аккуратно одетый, корректный и неразговорчивый — таким он мне запомнился на разных литературных встречах и собраниях. Я замечал: при нем даже самые “раскованные” литераторы мгновенно, как выражаются казахи, “подбирали руки-ноги”. Чувствовалась в нем напряженная работа мысли, сосредоточенность и какая-то особая внутренняя опрятность. Усталые глаза смотрели пристально и спокойно. Казалось, он видел что-то такое, о чем никто и не ведал. Улыбался скупой, лишь краешком губ. В кулуарах Союза писателей Казахстана, на многочисленных совещаниях он чаще всего молчал, но слушал внимательно, сидя прямо и неприступно. Вообще я не видел его участвующим в праздной, беспечной беседе. Знал: судьба уготовила ему тяжкое испытание, которое он вынес достойно и мужественно; был он на многие годы отлучен от литературы и потому в последнее время, наверстывая упущенное, работал особенно напряженно.

Мое представление о нем разделяли и другие. Критик и прозаик Аскар Сулейменов, одним из первых написавший о нем большую, интересную статью, увидел его точно так же: “С первого взгляда он необщителен, не склонен к непритязательной беседе — сивоголовый, серолицый человек. Говорит тихо, медленно. Улыбается редко. Улыбка означает согласие. Не распрямляя сутуловатую спину, смеется коротко, выказывая крупные изжелта-белые зубы. Смех сдержанный. А усмешка холодная. Усмешка означает несогласие”.

Заканчивалась та статья (“Жулдыз”, 1964, № 1) коротким описанием алматинской зимы и замечанием как бы вскользь: “После иной улыбки, бывает, и зимняя стынъ почудится мягкой”.

Таким бывало первое впечатление. Неизменное. Устойчивое. И не совсем верное. Ибо бывал он и приветливым, и общительным. Живо рассказывал. Убежденно и чуть-чуть снисходительно спорил. Бывало, увлекался, светлел лицом, шутил. Становился совсем не похожим на того строгого, сурового, чопорного Хамзеке, каким казался с первого взгляда. Но в том я мог убедиться лишь со временем.

О главной черте его характера неоднократно говорил и писал академик М. К. Каратаев: “Он правду воспринимал прямо и честно и говорил ее открыто. И в жизни не отворачивался, не отходил от нее. Я бы сказал, что именно правдивость и прямота — одни из многих его достоинств, поднявших его до уровня крупного реалиста широкого дыхания”.

Таким он был всюду: и в жизни, и в своем творчестве.

Однажды после какого-то собрания в Союзе писателей он подошел ко мне, заговорил вдруг очень просто, по-казахски, как со старым знакомым, спросил, не очень ли я занят, предложил перевести его роман “Крутое время” — третью часть трилогии “Яик—светлая река”—и повел меня к себе домой.

Мы шли и почему-то молчали. Было отчего-то неуютно, тягостно. Я мысленно ругал себя за то, что согласился пойти к писателю, не прочитав только что вышедший его новый роман “Много лет спустя”. А об этой книге как раз много говорили.

Софья-апа, жена писателя, сразу же принялась расспрашивать меня, кто, что и откуда я, весело засуетилась, захлопотала, одаривая меня поминутно доброй улыбкой и развенывая мою неловкость, а узнав, что я вырос в ауле, в Северном Казахстане, вдруг изумленно развела руками:

“Айналайн! Так я ведь работала в годы войны с твоим отцом! Помню: такой высокий, поджарый, стремительный...”

Встреча получилась неожиданной и приятной. Слушая наши беспорядочные воспоминания — для меня легкие, зыбкие, детские, для Софьи-апа, в то лихолетье врача районной больницы Софии Тастемировой, — горькие, женские, Хамзеке печально молчал, и взгляд его стал отрешенным, а складка между бровями разгладилась...

В течение десяти лет я часто бывал в этом доме, подолгу слушал Хамзеке, вместе с И. П. Щеголихиным перевел “Крутое время”, потом выполнил подстрочный перевод “Много лет спустя”, перевел два-три рассказа, играл с автором в шахматы, узнал от него много интересного и поучительного.

Он относился к тому поколению, судьба которого была необъемно щедра на события, крутые повороты и испытания. Короткая человеческая жизнь поразительным образом вобрала в себя бурные водовороты Истории. “Яик — светлая река” — это ведь высокий смысл, высокий символ. Символ жизни, полной страстей и дерзаний, потерь и обретений, горя и радостей. Жизни, которую можно уподоблять светлой, светоносной реке.

Светлая река крутого времени вынесла любознательного аульного мальчишку с берегов Анхаты на гребень национальной культуры.

Мухтар Ауэзов в письме к Т. Ахтанову, написанном перед самой своей кончиной, назвал Хамзу Есенжанова в ряду тех, кто “пришел к творчеству с неумейной жадностью”. В скобках М. Ауэзов отметил — “в хорошем смысле”. Вот эта неумейная жадность (в хорошем смысле) к жизни, в работе, в творчестве, к знаниям руководила Хамзой Есенжановым всегда.

Он был хорошо и разносторонне образованным, культурным, передовым человеком. Еще студентом Казахского педагогического института имени Абая он начал писать стихи, рецензии, литературно-критические статьи, рассказы. В 1930 году в журнале “Жана адебиет” (“Новая литература”) при содействии и под редакцией Беимбета Майлина, классика казахской советской литературы, он опубликовал рассказ “На берегах Уленты”. Рассказ этот, основанный на непосредственных впечатлениях времени гражданской войны, был одним из глубинных родников будущего монументального “Яика”. Было очевидно, что молодой литератор верно нащупывает свою главную тему и что именно в этом реалистически-повествовательном ключе, должно быть, разовьется в будущем его эпический дар.

Жажда фундаментальных знаний привела его в Ленинград, в аспирантуру, где он усиленно занимается литературой, философией, историей, искусствоведением. Республика

нуждается в образованных, инициативных людях. Молодого Хамзу отзывают в Алма-Ату, и он, как многие его друзья и сверстники, с головой уходит в заботы культурного строительства: работает директором Казахской филармонии и Оперного театра, заведует Сектором литературы Казахского филиала Академии наук СССР, читает в педагогическом институте лекции по русской литературе XVIII—XIX веков, занимается переводами (“Слуга двух господ” Гольдони, “Рудин” Тургенева), пишет учебники для начальных и средних школ.

В эти годы подспудно созрел в нем замысел цикла историко-революционных романов. Он сознавал, что обязан поведать о преобразованиях родного края на фоне глобальных событий своей яростной эпохи.

Однако до осуществления замысла было еще далеко... Расцвет его творческой деятельности начался после долгого, вынужденного перерыва, с 1954 года. Он переводит на казахский язык один из томов (IV) “Тихого Дона”, рассказы И. Тургенева, пишет трилогию “Яик — светлая река”, диологию “Много лет спустя” и “Братья Жунусовы”, составляющие единый историко-революционный цикл, драму “Трагедия посла”, принимает активное участие в общественной жизни, много ездит по Казахстану и посещает ряд зарубежных стран — Америку, Англию, Данию, Францию, Грецию, Турцию, Египет. Результат этих поездок — путевые очерки, известные читателю до сих пор лишь частично.

Собрание сочинений в шести томах, завершенное недавно издательством “Жазушы”, — плод напряженной работы писателя за последние двадцать лет жизни. В замысле была еще одна трилогия. О том он говорил не однажды. Своему другу М. Каратаеву признавался: “Чтобы осуществить этот замысел, достаточно было бы лет пять-десять”.

Этих лет жизнь ему не отвела. Он умер неожиданно для многих его друзей и близких мгlistым декабрьским днем 1974 года.

Таковы — в сухом изложении — основные вехи творческой биографии Хамзы Ихсановича Есенжанова.

Главное в писателе, однако, — его творческая биография. Она была у Хамзы Есенжанова сложной и трудной.

В чем своеобразие, неповторимость его творческих исканий? Имел ли он свою тему? Нашел ли свое место в литературе?

Он шел в “большую” литературу сознательно, убежденно, по зову своего эпического дара. Он обратился к узловому моменту в судьбе своего края, своего народа, стремясь воссоздать художественную правду, художественную летопись недавней истории народа, свидетелем и очевидцем которой он был сам. Оно, это прошлое, не было для него безразличным. И привлекала его не “ультрамодная” литературная вышивка по канве былых реальных событий и человеческих судеб. Он стремился написать широкоохватный, многопластовый реалистический роман, или даже серию, цикл романов, в которых отразилась бы жизнь во всей ее масштабности и сложности, в динамическом и диалектическом единстве, в многогранных противоречиях, в обстоятельном описании действия энергичных и целеустремленных деятелей, как большевик Петр Дмитриев, или, скажем, расторопного мальчишки Сями Гадильшина, расклеивающего в городе большевистские воззвания. Писатель был склонен к эпическому повествованию, к созданию широких социальных полотен со множеством действующих лиц разных общественно-социальных слоев и групп, лиц реальных, исторических и вымышленных, с приобщением огромного количества исторических фактов и документов, с широкоохватным действием, со сложной, причудливо разветвленной сетью эпизодов.

Замысел прозаика блестяще реализовался в трилогии “Яик — светлая река”. Книге предпослан эпиграф — слова Сакена Сейфуллина: “Вот они, быстротечные Едиль да Яик, не раз в верховья их устремляли герои свои челны”.

В словах этих — суть и пафос трилогии.

В ней художественно воссоздана картина классового расслоения, гражданской войны и строительства советской власти; это эпопея о революционном движении в Уральских степях, о трудном пробуждении и росте самосознания кочевников, батраков, бедняков, о вздыбленном времени, когда повсеместно рушился старый уклад жизни, отмирали былые нравственные и общественные отношения людей.

Временная протяженность трилогии предельно конкретна. Можно абсолютно точно определить время событий, описываемых в первой книге. Вот начало второй главы:

“В только что организованном Совдепе разгорались бурные прения, и враги в это время тайно готовили заговоры.

Заседания Совдепа проходили почти каждый день — один за другим назревали неотложные вопросы, и их надо было решать. Члены Совдепа выступали активно...”

Время действительно тревожное. Большевики Уральска сколачивают силы против лютеющих врагов молодой советской власти. Революционер Петр Дмитриев, прибывший в Уральск по направлению В. И. Ленина, в спешном порядке организует на заводах боевые дружины, способные противостоять контрреволюционному мятежу белоказачков во главе с Войсковым правительством. Не исключено, что большевикам Уральска снова придется уйти в подполье. Казаки свирепствуют. Город точно скован страхом.

Стынь. Холод. Ветер леденит душу.

Читаем:

“Широкий Яик, крепко скованный льдом, казался большим полем. Трудно было отличить, где кончается река и начинаются пойменные луга. За лугами, почти до самого устья Барбашевки, черной кромкой тянулся лес. На середине реки снег казался кремово-желтым, а по краям, где в полдень лед уже начинал подтаивать, виднелись синевато-прозрачные полоски. Реку разрезали многочисленные проторенные в снегу узкие тропинки...”

Очень неуютно в стылом этом мире. Все будто замерло в предчувствии беды. “Быть крови, Макара, непременно быть!” — сокрушается простодушный сторож Мартыныч. И даже далекий пока от всякой политики Хаким, ученик реального училища, переживающий свою первую, по-юношески пылкую любовь, чувствует “будто вдруг попал в какую-то щемящую душу пустоту; на минуту показалось, что не только река и поле безжизненны и мертвы, но недвижим и мертв город и все в нем убого и неуютно, а лица прохожих угрюмы и злы; ото всего веет холодом...”

Это вторая половина марта 1918 года. С событий этого времени начинается свой неторопливый, обстоятельный, гордый и трагический сказ автор “Яика”.

А завершается трилогия сценой страшного кровавого побоища, когда уильские юнкера зверски перестреляли и перебили спавших безмятежным сном дружинников. На другой день на митинге перед горожанами выступал “рослый, крупный, в шубе, старик, и ветер лохматил густые сединой волосы его и длинную бороду”. Это почтенный

Баке, бывший султан, ставший поборником прав простого трудящегося люда, народным заступником. Он говорит: “Времена отчаяния позади. Только сейчас открылись ворота свободы. Народ вырвался из душной темницы на вольный простор. Однако настоящий поход за свободу только начинается”. И Хаким, центральный герой всех пяти романов Х. Есенжанова, уже обретший к концу трилогии опыт суровой классовой борьбы, вспоминает погибших друзей и товарищей и шепчет про себя: “Путь свободы долг и труден”.

Известно, что сцена, завершающая третью книгу “Яика”, относится к февралю 1919 года. Следовательно, трилогия охватывает драматические события установления советской власти в Уральской области, происходившие в течение одиннадцати месяцев. Но эти одиннадцать месяцев борьбы, отчаяния и надежд вмещают в себя не только один из самых драматических периодов истории, но и человеческие судьбы, ибо в водоворот этих событий вольно или невольно вовлечены все слои населения — профессиональные революционеры, стихийные повстанцы, бунтари-одиночки, батраки, ремесленники, рабочие, купцы, торгаши, ученые, студенты, городской и аульный люд, русские, казахи, татары, местные и пришлые. Происходят стычки и кровавые сечи, совершаются убийства, замышляются коварные интриги и неблагоприятные дела-делишки против народа разными отщепенцами и врагами; люди ищут, теряют, обретают, заблуждаются, прозревают, влюбляются, женятся, расходятся, погибают за высокие идеалы и по чьей-то злой воле, — словом, вся многоликая, пестрая жизнь крутого времени крушения и созидания проходит перед глазами читателя трилогии.

Это честная и добросовестная книга, наполненная живым дыханием истории, неизменно нам дорогой и близкой. На мой взгляд, трилогия “Яик — светлая река” стоит в ряду лучших произведений советской литературы о гражданской войне. В ней очень много трагических сцен и судеб, но она пронизана оптимизмом, ощущением светлой радости бытия, уверенностью в лучшей доле человечества. И в 1968 году трилогия была по достоинству отмечена Государственной премией Казахской ССР.

Путь свободы долг и труден...

Глубинный смысл и конкретную истинность этих слов сполна познал и писатель, и любимый его герой Хаким Жунусов. Хамзеке не раз подчеркивал и устно, и печатно, что большинство его героев имело реальных прототипов в жизни. Хаким — особенно близок прозаику. В нем, уверяет вдова писателя, отражены некоторые черты его старшего брата. Мне чудится, что в этого героя вложено и немало личностного, автобиографического. По крайней мере, в мыслях и рассуждениях трезвого, степенного, внешне и внутренне всегда собранного и опрятного, верного идеям и идеалам коммунизма Хакима много кровно близкого, созвучного самому писателю.

Хотя роман и называется “Много лет спустя”, однако со времени событий, описанных в “Крутом времени”, прошло не так уж и много. Возмужал, вырос в ответственного работника Хаким Жунусов, подросли и обретают все большую самостоятельность его младшие братья Алибек и Адильбек. Отгремела гражданская война, но еще слышны ее отголоски. Пришли заметные перемены в казахскую степь, но классовая борьба не прекратилась. Недавние бесправные кеден и батраки, разбуженные советской властью, все активней и решительней включаются в борьбу за советизацию аула, за социализм. Происходит коренная ломка в сознании бедноты, но и враги всего нового — явные и скрытые — еще не сложили оружия.

Нет, не проскакала на взмыленном коне революция мимо казахского аула, как склонны были утверждать иные. И теперь, в канун коллективизации, отнюдь не тишь и благодать царили в казахской степи.

Вот об этом и роман “Много лет спустя” — логическое продолжение эпопеи “Як — светлая река”.

Впрочем, о теме и содержании романа точно и емко сказано в нем самим автором:

“Наступала пора больших новостей... Отпустил лютый холод войны. Отсвистали пули, снова гулял по степи лишь вольный ветер.

Забылись плач и стоны голодного ребенка, тянувшего слабые руки к жидкой похлебке. Замело и следы банд, черной бурей опустошавших казахскую землю. Степь возрождалась, вставала, будто человек после тяжелого недуга, постепенно наливаясь цветом жизни. Тучнели поля, на пастбищах множился скот.

Забитый люд, веками метавшийся, словно перекасти-поле, из края в край своей необъятной широкой степи, воспрянул. Схватив свободу за поводья, двинулся огромным кочевьем к новой жизни...

Огромная степь ждала больших и решительных перемен..."

В этом отрывке определена тема романа, его что. А как — в самом произведении, в том, что не передается пересказу.

В "Много лет спустя" немало традиционного, знакомого, близкого и известного из других источников — из литературы, из истории, из воспоминаний очевидцев, из семейных преданий. Читатель, полагаю, узнает много знакомых черт в галерее бедняков и батраков, истинных, преданных делу партийно-советских работников и так называемых "бельсенды" — горе-активистов; в молодой, обаятельной Шолпан, жадно тянущейся к знаниям, к подлинной женской свободе и любви, в бесстрашном борце и силаче Жолмухане, в нечистом на руку уездном нарследователе Айтане, в верной, доброй, женственной Мендыкыз, в мятущемся Алибеке и т. д. Все они — "знакомые незнакомцы". Крупным же успехом писателя я считаю создание трех новых для казахской литературы образов-типов: очень колоритного матерого степного волка Коныскерея, стихийного бунтаря, верящего по-своему в справедливость, но разуверившегося в людях и тщетно ищущего смысл нового уклада жизни; еще более колоритного, сложного, своеобразного, величественно-трагического осколка прошлого, "степного философа-эстета", обладателя шестидесяти двух породистых красных дромадеров, "бледноликого, со льдом в груди" Ахметше Мухаметшина; юного, сильного, отравленного ненавистью, жестокого Каршиги, "в душе которого яд копился годами, а тайные замыслы прятались в глубине шершавого сердца"; Каршиги, мечтавшего стать сильным и решительным, как Коныскерей, и хватким и властным, как Ахметше. Именно эти образы наиболее ярко характеризуют умение писателя лепить нешаблонные, крупные, сильные характеры.

Из нередких бесед с Хамзеке я понял, что он задумал написать цикл романов, охватывающих промежуток от пред-революционных лет до начала шестидесятых годов. Он

часто говорил о примере крупных романистов прошлого и современности, которые в своих произведениях отражали большой этап истории и смело ставили глобальные проблемы человеческой жизни. Если не ошибаюсь, этот цикл был задуман Х. Есенжановым из шести романов. Писатель почти успел осуществить свою давнюю мечту. В трилогии “Яик — светлая река” масштабно отражены события гражданской войны в западных областях Казахстана; в романе “Много лет спустя” воссозданы картины 20—30-х годов — время становления советской власти, борьбы с разномысленными внутренними врагами периода коллективизации; роман “Братья Жунусовы” охватывает сложные социально-общественные события в республике конца 30-х годов. Со страниц этих романов веет подлинная, трудная, в муках выстраданная народом правда. Правда истории. Правда нашей жизни. Правда наших побед и поражений. Правда, осмысленная и честно воссозданная большим художником, гражданином, коммунистом. Правда, гарантирующая этим книгам долгую и полезную жизнь.

В моих дневниковых записях в промежутке между 1964 и 1974 годами имя писателя встречается часто. Скупое, в нескольких словах зафиксированы суть наших бесед, какие-то мысли и замечания Хамзеке: рассказ об одной реальной исторической личности, султанине, юристе-адвокате, члене Государственной Думы; писатель хранил в шкафу его рукопись о колониализме (З.Х.64); рассказ о личных творческих планах — должен написать несколько новеллок, “лезет прямо, не могу, все уже обдумано”, пьеса лежит, готовая вчерне, надо сократить до 70—75 страниц, еще одна трагедия задумана, “не знаю, осуществится ли это”, две статьи заказаны, за роман засесть надо (22.IV.65); рассуждение о писательстве — хороший язык, ювелирная отделка, изящная фраза — еще не все, важны философия, мировоззрение, отношение к жизни. “Тихая заводь”, которую облюбовали иные “эстеты” от литературы, в писательском деле бесплодна, вредна и отвратительна (19.III.65) и т. д.

У Хамзеке было несколько излюбленных тем, к которым он особенно охотно и часто прибегал в беседах. Его возмущали разговоры о “новом романе”, о “гибели” романного жанра, о том, что традиционный “семейный” роман якобы изжил себя. Это совершенно праздный разговор, утверждал

он, не имеющий ни исторической основы, ни литературной перспективы, и жаль, что его подхватывают некоторые наши молодые критики и литературоведы. Большие романы-эпопеи есть художественное отражение истории народов, а потребность в таких панорамных, всеохватных отражениях жизни была и остается всегда, и это никак не противоречит марксистско-ленинской эстетике. Никак! И писатель вспоминал циклы романов и эпопеи Бальзака, Золя, Манна, Голсуорси, Драйзера, Толстого, Гончарова, Достоевского, Арагона, Шолохова. Что? Эти бессмертные творения разве уже выполнили свою историческую, литературную и эстетическую миссию? Художественный метод этих гигантов устарел? Вздор! Казахская литература, например, только начинает осваивать традиции этих великих эпиков. Нам необходимо учиться у Мухтара Ауэзова. Наша национальная история, наше прошлое — давнее и близкое — еще не осмыслены, не отражены в больших художественных полотнах широкого эпического дыхания. И если мы начнем следовать утверждениям радетелей “нового романа”, равняться на их несостоятельные концепции, то кроме вреда ничего для литературы, в том числе для казахской, не сделаем. Не писатель выбирает жанр, а судьба народа, глобальные события, в которых живет художник.

Так рассуждал, изменяя нередко, к моему удивлению, своему спокойствию и невозмутимости, Хамза Есенжанов. И эту свою стержневую точку зрения он убедительно отстаивал и в своем творчестве.

Особенно убежденно ратовал Хамзеке за четкую, гражданскую, партийную позицию писателя. В этом вопросе он бывал резок, категоричен, даже нетерпим. Вот, говаривал он, все твердят о художественности, как о чем-то божественном. Дескать, такой-то — истинный художник, мастер-ювелир, чеканщик, и слова его поблескивают, сверкают, а каждая фраза — будто яркий узор на кошке. Накрутил предложение, длинное, как тонкая кишка, сплел, точно камчу в восемь струн, да еще конским салом смазал, ошеломил каким-то вычурным сравнением, перемешал слова так, что ничего не поймешь, или истолок их в ступе, будто просо для похлебки, и выдает это за подлинную художественность. А иные критики и ахают, восторгаются, читателей с толку сбивают. Э-э, милые, несерьезно это. Несерьезно. Слишком

прямолинейно понимают бунинские слова: “Вот о крышах, о калошах, о спинах надо писать...” Бунин это сказал в запальчивости, в споре. Он, конечно, блестящий художник, но разве общественно-социальное было ему чуждо? Вывать исключительно к описательности, к “художественности”, к словесному блеску-сверку—значит, проповедовать “тихую заводь” (выражение это Хамзеке всегда употреблял по-русски), а это, как позиция, не годится для писателя. Не годится! Нужно прежде всего твердо знать, что ты хочешь сказать, к чему и куда зовешь. Если нет твердой точки опоры, нет своего взгляда на все, то никакая “художественность” не спасет. Простая, банальная истина, а все время, бог весть с каких времен, приходится ее повторять и отстаивать...

“Писатель должен писать всегда, в любых условиях,— любил еще повторять Хамзеке.— Его не должно страшить то, что рукопись его не может по каким-либо причинам увидеть свет при его жизни. Труд никогда не пропадает. В этом я абсолютно убежден. Помнишь: “Рукописи не горят?” Это сказано верно и точно”.

И писатель показывал мне папку с узкими полосками, клочками, обрывками пожелтевших бумаг, исписанных еще в те годы, в условиях, отнюдь не располагавших к творчеству. Он уже тогда вынашивал свои будущие романы, обдумывал их композицию, лепил характеры, а отдельные сцены, не надеясь на память, записывал на первый попавшийся клочок бумаги.

Пользовался он арабским шрифтом, утверждал, что лист, исписанный арабской вязью, воспринимается цельней, компактней, и к тому же он значительно удобней для правки. Причудливые знаки, нанизанные на ровную строку, казались заманчивыми, таинственными. “Точно” муравьиный след”, — заметил я как-то. Хамзеке в ответ усмехнулся. “Это след слова. Самый верный, надежный след. След слова — след дела твоего”. И писатель развил свою мысль: слово прочувствованное и честное — это и есть настоящее слово. В таком слове и боль, и совесть, и гражданская страсть. Это писательское слово. Оно не может остаться бесследным. Его непременно услышат. Да, да... след слова — это след нашего дела...

Я еще подумал тогда: если напишу когда-нибудь о Хамзеке, то так и назову свои записки — “След слова”.

Его никогда не покидала вера в справедливость. И он был мужествен. Мужеству учил и других. Чувство гражданства, чувство ответственности, долга перед народом, перед литературой были сильно развиты в нем. Это доказал он всей своей жизнью. Это доказывают его романы. Это он постоянно внушал и мне. Я иногда доверительно рассказывал ему о трудном становлении и развитии послевоенной советской немецкой литературы, о ее замкнутости, о том, что широкий читатель представления о ней не имеет. Тогда, двадцать лет назад, это было действительно так. Хамзеке горячо советовал: “Слушай, это же твой первый долг! Почему не пишешь об этом? Почему мы об этом ничего не знаем?!” И именно тогда я написал на казахском языке две-три робкие статейки о советской немецкой литературе, организовал подборку стихов, и эти материалы увидели свет в “Казах адебиеты”. Эта тема — советская немецкая литература — стала потом одной из главных в моих критических писаниях. Конечно, не обошлось без влияния и поддержки Хамзеке.

Постепенно я перестал замечать его суровость и замкнутость. В дружеской беседе он оживлялся, чаще улыбался, правда, по-прежнему одними губами, а иногда и смеялся — коротко, резковато. Я понял, что за его внешней суровостью, необщительностью кроется просто строгость к себе и к другим и еще — большая творческая дисциплина. Работал он много и постоянно, по твердому распорядку дня.

Когда я вступал в Союз писателей, он дал рекомендацию. Я и сейчас ее, написанную его рукой, храню. Он возлагал на меня, как на переводчика, серьезные надежды и верил мне. Его вниманием я дорожу поныне.

Он любил свою родную Уральскую область, знал, как мне кажется, каждую речушку, каждый овражек. С какой-то нежностью и теплотой произносил их названия. В самом начале трилогии “Яик — светлая река” Хаким говорит: “Я же не словесник, чтобы знать значение каждого слова. В нашем языке много подобных слов: Анхаты, Шидерты, Бульдурты, Уленты, Калдыгайты, Кокпекты...” Разные эти места красочно описаны и встречаются часто во всех романах Хамзеке. Возвращаясь из очередной поездки в Западный Казахстан, писатель подолгу рассказывал о людях, о

преобразованиях родного края, показывал фотографии, вырезки из газет. В том краю он познал необъятность мира. Там мальчишкой впервые увидел смелых и стойких “балшабаев” (от слова “большевик”): так называли в аулах красных бойцов. Они были в длинных серых шинелях, в островерхих буденовках, а под ними шли резвые, куцехвостые кони. Появление отряда “балшабаев” возле реки Анхаты стало самым ярким впечатлением детства. Всем аульным мальчишкам сразу захотелось стать “балшабаями”.

Бурные события гражданской войны, борьбы за советскую власть глубоко врезались в память будущего писателя. Он многое видел, пережил, осмыслил. Родную землю знал как историк и краевед. Увлекаясь, он подолгу рассказывал, бывало, о том, что в Уральских степях запечатлено немало эпизодов русской и казахской истории: здесь бывали Пушкин, Толстой, Даль, Жуковский, здесь сколько угодно мест, связанных с именами Пугачева, Суворова, Чапаева, в этом краю творили Махамбет, Курмангазы, Дина, откуда вышли такие известные казахские литераторы, как Х. Джумалиев, Дж. Мулдагалиев, Т. Жароков, С. Сеитов, Ж. Тлеков, К. Мурзалиев. Много любопытного рассказывал мне писатель о том крае. В этих рассказах то и дело упоминались известные события, мелькали знакомые названия: Саратов, Энгельс, Пугачев, Маркштадт, Урбах. Неудивительно: родина моих ближайших предков граничит с Уральской областью, а мой отец и Хамзеке — ровесники. Одно поколение — схожая судьба...

Получилось так, что весь 1974 год — последний год жизни писателя — я с ним не встречался. Почти полгода — после операции — я пролежал в больнице, потом долгие месяцы изнывал-маялся дома, в маленькой квартирке на краю города, закованный в постылый гипс, в тугор. Знал: публикуются “Братья Жунусовы”, Хамзеке, по-прежнему верный своему распорядку дня, работает, а совсем недавно, осенью 1974 года, съездил в Кустанайскую область, побывал на Соколовско-Сарбайском горно-обогательном комбинате, на заводах, в совхозах, любовался ширью степей, которые не видел более сорока лет...

И вдруг скорбное извещение в газетах: “...5 декабря 1974 года на 66 году жизни после тяжелой болезни скончался видный казахский советский писатель, лауреат

Государственной премии Казахской ССР Хамза Есенжанов".

За окном стыли чахлые деревца. Непробиваемые свинцовые облака затянули небо.

Было сиротливо, горько...

О Хамзе Есенжанове, писателе и человеке, написано немало. Много о нем еще будет написано. Своим творчеством он оставил в казахской литературе значительный след. Память о нем хранят и его друзья, и его современники. Его романы отражают большой этап нашей истории. И значение их непреходяще. Свидетельство тому — многократные переиздания трилогии "Яик — светлая река".

Я рад, что знал его. И в жизни моей он был одним из светлых мгновений. И пусть эти мои беглые, сумбурные заметки станут скромной данью его памяти.

1983 г.

ҒИБРАТТЫ ҒҰМЫР

Ол жылдар маған таныс қазақ қаламгерлерінің арасынан көбінесе оңашалау жүретін салқын қабак, тұйық мінезді, қара сұр кісі шешімі жоқ жұмбақтай ерекшелеу болып көрінетін. Ұстамдылығы, байсалдылығы, сыпайылығы мен әдептілігі, биязы жүріс-тұрысы, сөзге сараңдығы, үсті-басының жинақылығы еріксіз көз тартатын. Жазушылар Одағының сол кездегі улы-шулы көп жиындарына ол келе қоймайтын, есесіне партия жиналысын қалт жібермейтін. Жиналыстың басталуына он бес минут қалғанда коммунистер толы залға бейне бір студенттерге дәріс оқуға келген кәнігі профессордай жайлап басып, суық жымиып кіреді де, алдыңғы қатарға сол сызданған қалпы тіп-тік болып жайғасып алады. Жан-жағына қарамайды, көп қазақтай дабырлап сөйлеп, дауыстап амандасып, хал-жағдай сұрасып, қауқылдамайды. Қанын ішіне тартып, сұп-сұр болып, президиумға жактырмай салқын жанарын қадап, екі-үш сағат бойы қозғалмастан, үн шығармай сіресіп отырады да қояды. Қабағынан шаршағандықтың ізі байқалатын. Көзінде мұң, ой. Кейде біреуге тесіле қарағанда қарашығының түбінен сенімсіздіктің оты үшқындайды. «Сен осы кім едің? Мына жерде неғып отырсың?!» деп тұрғандай. Ішінде былайғы жүрт біле бермейтін және білуге хақысы жоқ, тек өзіне ғана мәлім сыр жатқандай. Жиналыс біткен бойда орнынан тұрып, манайындағыларға сәл ғана бас изеп қоштасады да, бүтін ғана өтеккен шыққан шалбарының қырын сындырмасаң, тағы да бір шаруаның басын қайырғандай аяғын санап басып үйіне қайтады.

Жазушылар одағында оқта-текте кездескенде бұл қара сұр кісінің мәз болып күліп, шешіле сөйлеп, сыр ақтарғанын

көрген емеспін. «Менің сенде ешқандай шаруам жоқ, сен де, айналайын, мазамды алмай әрі жүр», — дейтіндей. Ал, айталық, баяндама жасап, пікір айтып, сөйлей қалса, сөзі де өзі сияқты жып-жинақы, артық-кемі жоқ, қасаң орыс-қазақ тіл ережелерінің қалыбынан шыққандай әсер етеді: бастауыш, баяндауыш орнында, анықтауыш, пысықтауыш өлшеулі, кәдімгі жан-жақты заңдастырылып, киыстырылған, ақылға қонымды сабақтас, салалас, аралас құрмалас сөйлемдерді кірпіш қалағандай өріп отырады. Дауысын көтермей, ақырын, баяу сөйлейді. Пікірін де әлдебір айрықша сақ, қатаң цензормен алдын-ала пішіп, келісіп қойғандай, дау туғызбас, шаң шығармас түрде өрнектейді. Бұл кісімен сөйлесудің өзі де мемлекеттік тергеушінің алдында есеп бергенмен парапар болар деп ойлайтынмын кейде.

Әлбетте, қабағы қату, кара сұр кісінің тағдырына қанық едім. 1937 жылдың нәубетін басынан өткізген ол, талай қуғын-сүргінге ұшырап, тар қапаста отырып, итжеккенде ондаған жылдар айдауда болып, туған елі, жері, тілі, әдебиетінен аластатылып, тар жол, тайғақ кешудің талайын өткеріп, өз үйіріне өмірінің аяқ шағында өзер дегенде оралған адамның мінез-құлқында қилы-қилы ерекшеліктердің болатыны ешкімге жаңалық болмас.

Бұл жалғыз менің түйсік-түсінігім емес шығар. Асқар Сүлейменовтың, әлі есімде, осы кісі туралы очерк жазғанда («Жұлдыз», 1964, № 1) осыған үксас әсерде болғаны белгілі. Жетпісінші жылдардың басында менің әкем соғыс кезіндегі әріптесі Софья Тастеміроваға сәлем беру үшін сол үйге бас сұғып шыққанда, таңдайын қағып: «Какой холодный, необщительный человек!» деп таңқалған.

Иә, мен білер Хамзекең жұрт көзіне көбінесе осындай кейіпте көрінуші еді.

Бірақ, бұл үстірттеу көзқарас еді. Үй ішінде, өзінің шаңырағы астында, сенімді кісілердің ортасында, көңілі көтеріңкі кездерінде ол мүлдем баскаша адам болатын.

* * *

Күнделікті күйбең тіршілікте де, азабы мол шығармашылық жолында да, азаматтық, дүние-танымдық болмыс-бағытында да оның мықтап ұстанатын өмірлік қағидасы шындық еді. Сөзі аз, ісі саз адам. Ол ақиқатты бүкіл жан-дүниесімен адал қабылдап, соған тайсалмай қызмет ететін.

Осы адами қасиеті оны жазушылық өнерде нағыз шыншыл реализмге алып келді.

Өмірі де шым-шытырық уақиғаларға толы. «Ақ Жайық» — құр трилогияның атауы емес, арман-мүддеге, биік мақсат-мұратқа бағышталған шуағы мен ызғары аралас өмірдің философиялық мән-мазмұнын айғақтайтын рәмізі іспеттес. Шынтуайтқа келгенде адам өмірінің өзі сулы, нулы өзен арнасын елестетпей ме? Сол өмір-өзеннің тегеурінді толқынының ағысы жаңалық атаулыға жаны құмар ауыл баласын Анқаты жағынан ұлттық мәдениеттің шыңына бірақ алып шыкпады ма? Ұлы Мұқанның (Әуезовтың) қайтыс болар алдында Т. Ахтановқа жазған хатында бір топ талантты қаламгер қатарында Хамза Есенжановты да атауы тегін емес.

Иә, Хамзекең жан-жақты білімі бар, оқыған-тоқығаны мол, мәдениетті, парасатты, озат ойлы, нағыз зиялы адам болатын.

Әдебиетке де ерте келді. Қазақтың педагогикалық институтында оқып жүріп, ол өлең, рецензия, әдеби-сын мақалалар, әңгімелер жазды. Бейімбет Майлиннің редакциясымен 1930 жылы «Жаңа әдебиет» журналында азамат соғысы жайында тұңғыш әңгімесін бастырды. Ленинградтың аспирантурасында әдебиет, философия, тарих, өнертану ғылымымен шұғылданды. Алматыда филармония мен Опера театрының директоры, КСРО Ғылым академиясының ол кездегі қазақ филиалында әдебиет секторында жетекшілік етті, ХҮІІІ-ХІХ ғасырдағы орыс әдебиетінен педагогикалық институтта дәріс оқыды, Гольдони мен Тургеневтің шығармаларын қазақ тіліне тәржімалады, бастауыш пен орта мектепке арнап оқулықтар жазды.

Он жеті жылға созылған ұзақ үзілістен соң ол әдебиетке қайта оралып, аз жылдар ішінде өндіріп жазды: «Ақ Жайық» трилогиясы, «Көп жыл өткен соң», «Ағайынды Жүнісовтер» романдары, «Елші трагедиясы» атты драмасы, бірнеше әңгіме, публицистикалық және сыни мақалалар, аудармалары мен жолжазбалары қазақ әдебиетіне үлкен үлес болып қосылды. Ауыр наукасына қарамай ол Қазақстанды көп аралады, талай шетелдерге — Америка, Англия, Дания, Франция, Греция, Египетке сапар шекті. Міне, Хамзекеңнің өмір жолы қысқарта айтқанда осындай. Қазіргі оқырман осының

бәрін біле бермеуі де мүмкін-ау деген оймен әдейі еске түсіріп отырмын.

* * *

1964 жылы, Жазушылар одағының кезекті жиналысынан соң Хамзекен ойламаған жерден қасыма келіп, хал-жағдайымды сұрап, «Тар кезең» атты романын орысшаға аударуын өтініп, үйге шақырды. Мен күмілжіп, келісер-келіспесімді білмей, инабаттылық танытып сонынан ере кеттім.

Қабағы қатыңқы, кара сұр кісі жол бойы ләм-мим деп аузын ашқан жоқ. Мен де бір түрлі именіп, ыңғайсызданып, не дерімді білмей, іштей өзімді сөгіп, таяғымға сүйеніп, шоқандап, келе жатырмын. Апырай, осы көңілшектігім-ай! Уақытым жоқ деп неге ғана бас тартпадым? Уақытымның жоқ екені де рас қой, оның үстіне денсаулық та шамалылау, үй-күйім де келісіп тұрған жоқ. Сыры беймәлім, үндемес шалмен не тақырыпта сөйлесуге болады? Қырсыққанда таяуда шыққан «Көп жыл өткен соң» романын да оқыған жоқ едім. Ай, бекер болды-ау! Ретін тауып, қалай ғана сыпылып кетсем екен?

Сол үндемеген қалпы жаяулап, жазушының үйіне келдік. Зайыбы ашық жүзді, жайдары, бүкіл түр-түрпатынан мейірбандық, ізгіліктің табы сезіліп тұрған Софья апа асты-үстіме түсіп, қарсы алып, бәйек болып жатыр. Менің аты-жөнімді, қай жерден екенімді біліп алғаннан кейін кара көзі тіпті жайнап, мені құшақтай алды. «Айналайын-ау, Ленин ауылынан екенсің ғой! Мен соғыс кезінде сенің әкеңмен бірге істедім ғой. Марьевкада, Көктеректе жиі кездесетінбіз. Ұзын бойлы, арықтау, дамыл таппай зыр жүгіріп жүретін адам еді...» Софья апа сол жылдары жер аударылып келген поляк дәрігерлерін, Көктеректің басқармасын, Лениннің ауылына, Қараталдың бригадирін еске түсіріп, тебіреніп, толқып кетті. Кара сұр кісі біздің әр нәрсенің басын шалған естеліктерімізді біраз тыңдаған соң жұбайына: «Жә, болды! Пельменінді әкел. Қалғанын дастарқан басында сөйлесерміз», — деді сәл ғана езу тартып. Байқаймын, оның да көзі кіреукеленіп, еңселігінің арасындағы қату сызық жазыла түскендей болды. Софья апа аудан орталығы Марьевкада қаза болған тұңғышын еске түсіріп, көзіне жас алды.

Сол күннен бастап мен Хамзекеңе жиі қатынап жүрдім. «Тар кезеңді» аудардым; көп ұзамай бұл роман И. Щеголихин екеуіміздің аудармамызда жарық көрді. Сонсон «Көп жыл өткен соң» романы мен екі әңгіменің жолма-жол аудармасын да тамамдадым. Бірте-бірте бір-бірімізге үйреніскендей болдық. Ұзақ сонар әңгіме-дүкен құрамыз, әдебиет, тарихты, өткен-кеткен мәдени уақиғаларды судай сапырамыз, отбасының дәстүрлі асы сібір пельменін жарыса жеп, кейде шахмат ойнаймыз. Көңілі көтерілген кезде Хамзекең мен Софья апа Сібірдегі өмірін еске алады, жазушы сарғайып кеткен тілдей қағазға сол кезде арап әрпімен түсіріліп, жастық ішінде жасырып сақталған романның үзінділерін көрсетеді, шкафтың түбінде орам-орам болып жатқан кадет партиясының мүшесі, Дума депутаты, зангер Бақытжан Қаратаевтың колониализмді әшкерелеген қолжазбасын жырғып айтады, әлдеқашан жоспарланып, ойлап-екшеп, бірақ жазуға кезегі жетпей жатқан шығармалары жайында әңгімелейді.

Жалпы шығармашылық жайында бұл жазушының ертеден қалыптасқан көзқарасы бар екен. Саясаттан, әлеуметтік өмірден, азаматтықтың асқар талабынан тыс, «таза», бірыңғай эстетикаға негізделген мазмұнынан бөлек көркемдікті, жасанды әдемілікті, жарқыл-жұрқыл, әлем-жәлемді мұрат тұтқан туындыларды ол мүлдем негізсіз, пайдасыз, тіпті зиян деп есептейді екен. Мәселен, И. Бунин, Ю. Казаков сияқты суреткерлер оның түйсік-түсінігіне жат екен. Жазушыға да, оқырманға да «тихая заводь» (бұл тіркесті Хамзекең әрдайым орысша айтатын) керек емес. Кез келген ірі шығарманың өзегі — философиялық концепция, идеялық бағдар, дүниетанымдық қағида, өмір шындығы, ақиқат жолы. Міне, әдебиеттегі ең бірінші талап — осы. Бұл болмаған жерде сылдырлаған тіл, жасанды стиль, жалған әшекей, күйтырқы сөйлемдердің құны бес тиын...

Осыны менің құлағыма әбден сіңіргісі келетіндей, әлдекімдермен қызу айтысқа түскендей Хамзекең бір емес, қайта-қайта астын сыза, баса айтады. Іштей бұл марксистік эстетикалық көзқарасқа түгелдей қосылмасам да көбіне-көп таласпайтынмын, өйткені қарсы пікірді Хамзекеңнің онша ұната қоймайтынын білетінмін.

Хамзекеннің мінезінен хабардар әріптестерім онымен пікір таласқа түсуден сақтану керектігін о бастан ескерткен. Әсіресе өзінің шығармалары жайында сын айтушы болма, пәлеге қаласың дескен. Бірақ, жасымнан ала сөйлеп емес, адал сөйлеп, көлтірсуді білмейтін неміс басым ол ақылға құлақ аспай, Хамзекеннің романдарынан алған әсерімді жасырмай айтатынымын. Анау жеріңіз шұбалаңқылау шыққан сияқты... тіліңіз де кейде тым жұпынылау, қатқылдау ма, қалай... уақиға да дәстүрлі реалистік баяндау сарынымен өрістеп, оқушыны жалықтыра ма деп қауіптенем... негізгі кейіпкерлеріңіз де таптық тартыстың қалыбынан шыға алмай, соқтығысып, қақтығысып, арпалысып келіп, ақыр аяғында о бастан белгілі тағдыр айналасында сенделе ме, қалай... деген сияқты түйткілдерімді ашық айтып, ал енді, Құныскерейіңіз, Ахметшеніз, Қаршығаңыз, мен білсем, қазақ әдебиетіндегі тың тұлғалар деп, ара-арасында сынымды аздап жұмсартып та қоямын. Бір ғажабы, Хамзекен ренжімейді, намыстанбайды, тіпті қызарақтамайды да, зер салып тыңдайды, кейде айтқанымна иланады, көнеді, анау бейнені келер романда ашынқырап, тереңдете түсемін, кейбір қайталауларды орыс тіліне аудару кезінде қысқартынқырап жіберерміз, сонсоң шынында да, социалистік реализмнің, революциялық даму кезеңдерінің көбінесе бірыңғай, ұқсас жолымен де есептесу керек қой деп ымыраға келетін.

Ол жылдары әдебиетшілер арасында «ескі романның дәуірі өтті», «отбасылық романның қауқары таусылды», «жаңа роман заманы туды» деген алып-қашпа пікірдің етек алып, талас тудырып жатқан кезі болатын. Хамзекен бұл пікірге үзілді-кесілді қарсы болып, осы бір жаңсақ ойды қолпаштап, таратып жүрген бірен-саран жас сыншылар мен әдебиеттанушыларға ренжітін. «Роман өлді», «күні өтті», «әбден таусылып, жауыр болған жанр» деген не сөз? Былшыл! Сандырақ! Керек десеніз, қазақ әдебиетінде роман енді-енді ғана бой көтеріп, қанатын еркін жайып келе жатыр. Біздің ұлттық тарихымыз, өткен-кеткеніміз әлі әдеби көркемдік шешімін шын дәрежесінде таппай жатыр, кең тынысты эпикалық романдардың, дилогия мен трилогиялардың, тіпті тетралогия, романдар топтамаларының күні алда. Солай! Сонсоң өмір дегеннің өзі жанрға байланысты ма екен? Жанрды жазушы талғамайды, жанрды сол жазушы өмір сүрген тарих, заман, уақиғалар тартысы мен тоғысы тудырады емес

пе? Буниннің «жазушы қаусап қалған үйшіктің төбесін, мүжіліп қалған галошты, еңкек жауырынды суреттеуі керек» деген қағидасына ақи-тақи қарсымын. Шын суреткер тек адамзаттық, елдік, қоғамдық мәні бар, ірі әлеуметтік мәселелерді жіті байқап, осы төңіректе тебірену керек. Менің түсінігім де, әдеби тәсілім де, азаматтық ұждан, парызым да осы...»

Қара сұр кісі осындайда толқып, шабыттана, қайраттана сөйлейтін. Бейне жалғыз менің алдымда ғана емес, үлкен мінбеден зиялы қауымның алдында сырын ақтарып отырғандай көрінетін.

«Жазушының бірден-бір сыншысы — өз ары. Анау-мынау мақтау я даттау сөзге көңіл аударып, мән бермеу керек. Жазушының өзінің жазғанына сенімді болуы жөн. Жүрт не дер екен, сыншылар қалай қарар екен, цензура өткізер ме екен, бастықтардың көңілінен шыға аламын ба, баспа қабылдай ма деп жалтақтай бастасаң — өлгенін. Жаза беру керек. Жазғаның ақиқат болса — өлмейді. Түбінде бір іске асады. Оқушысына жол табады. «Қолжазба отқа жанбайды» деген сөз бекер айтылмаған... Мен, мысалы, қазір сонау жиырмасыншы жылдарда Арыстан Дәуітұлы Троцкийдің (қазақтар солай дейтін) Алматыға келгенін жазып отырмын. Көрерсің, сыншылар, баспагерлер, цензорлар күрзілерін сілтеп, осыған шүйлігіп бағады, қайтсе де өткізбеуге тырысады, мені жағамнан алады, сілкілеп, шаңымды қағады, партияның бюросында да бұйралайды. Ал мен бәрібір жазамын. Өйткені заман шындығы солай. Ол кезде анау мүртты грузинінді жүрт білмейтін, Троцкийді Ленинмен қатар айтатын, білдің бе?! Міне, тыңда... оқып берейін...»

Хамзекең кейін біраз қысқартылып, жұлмаланып, қуғын-сүргінге ұшырап, жадап-жүдеп шыққан «Ағайынды Жүнісовтер» романының алғашқы тарауын жөтеле отырып, демі үздігіп оқып берген-ді.

* * *

60-жылдардың аяғында, саяси аспанымыз қара бұлттан сейіліп, ашыла бастаған кезеңде мен өз бетіммен сипалап жүріп, сонау 1941 жылдан бастап он бес-жиырма жыл бойына тұншығып, тоқырап, үнін шығара алмай жүрген кеңес

немістерінің әдебиетіне жол таптым. Естіген-білгенімді, кенес неміс әдебиетінің байтақ еліміздің түкпір-түкпірінде бас көтере бастаған кейбір өкілдері жайындағы ойларымды шет-жағалап Хамзекене айта бастағанымда ол бірден мені қос-тап кетті. «Оу, мынау тың дүние екен! Бұл тақырыпты мықтап зерттеуің керек! Біздің бұдан ешбір хабарымыз жоқ қой. Сенің азаматтық борышың осы! Әрине, қазақ әдебиетін орыс тіліне аударуда сіңірген еңбегің әжептәуір, бірақ өзіңнің ұлттық әдебиетіңнің қамын сен ойламағанда, кім ойлайды?!»

Бұл салада мені жігерлендіріп, канат бітіріп, дем беріп, камқорлық танытқан Хамзекен болды десем, ешбір артық айтқандық емес. Сол кісінің ақылымен қазақстандық неміс әдебиеті жайында менің тұңғыш мақалам 1967 жылы «Қазақ әдебиетінде» шықты. Содан бері осы тақырыпта мен әр тілде үш-төрт кітап, екі жүздей мақала, зерттеу еңбек, библиографиялық көрсеткіш жарияладым. Жазушылар Одағы-на мүшелікке өтерде маған кепілдік мінездеме жазып берген де осы Хамзекен болды. Өз қолымен жазып берген бір бет мінездемесі менің архивімде осы кезге дейін сақтаулы.

Ол өзі тұрған Орал өңірін ерекше мақтаньш сезіммен еске алып отырушы еді. «Аңқаты», «Шідерті», «Бұлдыр-ты», «Өлеңті», «Қалдығайты», «Көкпекті» деген жер атау-ларын сазды әуендей дауысын жылытып, созып айтатын. Туған жерінің тарихын көнігі өлкетанушылардай білетін.

«Бұл өңірде Пушкин, Толстой, Даль, Жуковскийлер жайдан-жай болған жоқ, Пугачев, Суворов, Чапаевтардың бұл өлкемен тығыз байланысуы да тегін емес. Ал біздің жақтан шыққан өнер адамдары, ақындар қаншама! Махамбет, Құрманғазы, Дина, Қажым, Тайыр, Жұбан, Сағынғали, Қадыр... Энгельсте туған сен де бізге жакынсың, көршісін... Саратов, Энгельс, Урбах, Маркштадт, Бальцер деген Еділ немістері автономиясының байырғы қалалары ат шаптырым жерде еді ғой»,— деп қуақылана күлетін.

* * *

1974 жылы Хамзекенмен қатынас аяқ астынан сирексіп кетті. Ауыр операциядан кейін төрт-бес ай бойы аурухана-да гипс құрсауда сіресіп жаттым да, одан кейін тағы жарты жылдай ешқайда шыға алмай, қаланың шетінде телефоны жоқ үйімде мұңлы күй кештім. Хамзекен, естуімше, күнделікті

әдетімен жұмыс істеп жүрді, Қостанай облысына барып қайтты, Соколов-Сарыбай комбинатын, өзі қырық жылдай болмаған ұжымшарлар мен зауыттарды аралады. «Ағайынды Жүнісовтер» журналда басылды.

Күндер өтіп жатты. Аспанды бұлт торлап, қыстың ызғары біліне бастаған көңілсіз, сұрқай бір кез-тін. Желтоқсанның алғашқы күндерінің бірінде газет бетін ашып қарасам: «66 жасқа караған шағында көрнекті қазақ совет жазушысы, Қазақстанның Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Хамза Есенжанов дүниеден өтті» деген суық хабарға көзім түсті.

Қиыршық қар аралас жаңбыр сабалап тұрған терезе алдында сілейіп ұзақ тұрып қалдым...

1998 ж.

ЭТЮДЫ ОБ АБДИЖАМИЛЕ НУРПЕИСОВЕ

Внешне его биография не богата событиями. Детство в крохотном ауле на пустынном берегу Аральского моря, школа, фронт, учеба уже после войны, творчество — вот и все основные вехи жизненного пути.

Спешка не в его натуре. В жизни он, пожалуй, чаще всего запаздывает. Должно быть, от природы настроен на длинные дистанции. Сказываются гены несуетливых предков, убежденных, что торопливость тешит дьявола и гневит Бога.

Нетерпелив он только в шахматной игре. И в этом чудится мне некое противоречие личности. Может, нелогичность, свойственная незаурядным людям.

Гете в разговоре с Эккерманом как-то сказал: “Есть такие основательные люди, которые ничего не умеют делать с ходу, сама их природа требует спокойного, глубокого проникновения в каждый очередной предмет. Такие таланты, случается, раздражают нас, ибо из них редко можно вытянуть то, что мы хотим иметь сию минуту, но все же к наивысшему приходят именно таким путем”.

Слова эти вполне приложимы к творческому облику прозаика, о котором пишу.

Он из племени медлительных, но настойчивых и целеустремленных. Упорство его особенное: я в состоянии его определить лишь вычитанным где-то выражением — “буйволообразное”. И в этом нет отрицательного оттенка. Это как раз то свойство, о котором у Джека Лондона сказано: “Упорство — вот тайна писательского мастерства, как и всего остального”.

Так же трудно определить его основательность. Над текстом обычной поздравительной телеграммы он может

просидеть два дня. И вовсе не потому, что не знает, что и как писать, а по той причине, что даже в интимном тексте, обращенном к одному человеку, стремится сказать что-то важное, сокровенное и — не банально, не шаблонно.

И невольно удивляешься, каким образом при таких темпах работы он умудрился написать несколько книг, которые ныне многократно переиздаются и переводятся на многие языки мира. Книги, снижавшие автору трудную, но заслуженную и прочную славу.

О них написано немало. Они достойно оценены крупнейшими литературными авторитетами. Удостоены высоких премий.

Так уж сложились обстоятельства, что автор этих строк вот уже четыре десятка лет, можно сказать, изо дня в день находится не вблизи казахского прозаика, о ком речь, а рядом, бок о бок, плечом к плечу, как в творческой, так и в личной его жизни, и потому, полагаю, желание поделиться своим пониманием писателя и его творчества — естественно и понятно.

ШАГ К ПРИЗВАНИЮ

...за пределами книги
обычно остается еще много
такого, что живет в нас в
ожидании своей формы, сво-
его обратного выражения.

Чингиз Айтматов

Так что же было в начале?..

Извечный вопрос: где они, корни?..

...Мерклый осенний день.

Дождь. Стынь.

По мокрому асфальту приглушенно шуршат шины машин.

Все вокруг поглотили мгла и морось. Лишь изредка то впереди, то сбоку выплывают из-за мглистой завесы крутосклонные бурые холмы.

Мы молчим.

Вспоминаются начальные строки “Долгожданного дня”:

“Стояла темень. Нудный, весь день без передышки моросивший дождь сейчас прекратился. Потянуло вдруг

засвежившим осенним воздухом. Стылое его дыхание временами обдавало лицо...

Должно быть, и тогда, в том далеком военном году, в такую же вот непогоду под сумрачным предзимним небом Балтики, по земле Курземе шла-тянулась группа разведчиков под командованием Есея Бержанова...

Я искоса гляжу на своего собеседника, озабоченно прильнувшего к рулю. Пытаюсь представить, каким он был сорок лет тому назад. Там, на передовой фронта.

Сложно.

Строки из автобиографии: "Восемнадцатилетним пошел на фронт. Находился поначалу в резервном пехотном полку. Учился на краткосрочных курсах политработников. С весны 1944 г. до окончания Отечественной войны участвовал в боях по освобождению Прибалтики — в Эстонии и Латвии, в уничтожении Курляндской группировки, последних остатков немецких войск на нашей земле".

Машина упорно бежит по сужающейся ближе к горам дороге. Из низко стелющихся, цепляющихся за вершины сопок слоистых туч просыпалась дробь колючего снега. Яростно простучала в смотровое стекло.

Навязчивое ощущение: сейчас лейтенант Есей Бержанов войдет в подвал соснового дома с обгоревшей крышей, где обосновался дедушка Пий, увидит своего разведчика, обсушивающегося у раскаленной железной печки, и скажет насмешливо: "Тоже мне, вояка!".

С этого эпизода начинается "Долгожданный день"...

— Абе, когда вы начали писать "Курляндию"— помните?

Он светлеет лицом, улыбается.

— Совершенно точно: первое января 1947 года.

— А что было до этого?

— До этого было двенадцать страничек школьной тетради, исписанных карандашом. Их я показал Габидену Мустафину...

Да, помню... об этом он однажды рассказывал. Пришел недавно демобилизовавшийся молодой офицер к известному уже в то время прозаику и протянул двенадцать страничек, исписанных мелким, аккуратным почерком. "И это все?"— спросил, не скрывая недоумения, писатель. "Все",— сокрушенно признался безусый офицер. "Так что же я могу

сказать?" — "А, скажите... скажите, агай, так ли пишут романы?"

Мустафин улыбнулся и поведал о том, как он работал над романом "Чиганак", как до того написал рассказ "Под небом божьим просторно" и что если имеются какие-либо зарисовки, заготовки, мелкие рассказы, то все это можно использовать в романе.

Безусый офицер вздохнул: не было у него ни заготовок, ни зарисовок. Всего-то и было двенадцать страничек школьной тетради, исписанных карандашом.

Не было ни образования, ни даже читательского опыта: прочитано на русском языке лишь три книги — "Спартак" Джованьоли (ничего не понял), первая книга "Войны и мира" (мало что понял), "Разгром" Золя (кое-что понял).

Была за плечами аульская десятилетка.

И главные университеты — война.

Потом, многие годы спустя, Абдижамил напишет:

"Война была самым большим потрясением для всех нас. И многие из нас сразу взялись за перо".

И еще:

"Что заставило меня, вчерашнего фронтовика, взять в руки перо? Конечно, война".

Было неумемное желание поведать о пережитом.

Была необоримая потребность писать. Смутное ощущение своего призвания, к которому предстояло сделать решающий шаг.

Была вера, что писать он будет. Вера, основанная на полном неведении, незнании литературы и литературного труда, та слепая, по-юношески дерзкая, неоглядчивая, самонадеянная вера, про которую казахи говорят: "екі дүние бір кадам", что по смыслу означает: "Одним махом одолею оба света" и соответствует русскому: "Пьяному море по колено".

Так убежденно считал сам автор "Курляндии".

Ныне такой уверенности у маститого писателя уже нет. Ныне он испытывает страх и робость перед "белой немотой" листа. Даже небольшая заметка, выступление или газетный очерк доставляют ему муки, и он решительно не понимает тех, кто лихо совершает набег на все литературные жанры, не испытывая при этом трепетной боязни или сомнения. С горечью и досадой рассказывает он об

одном почтенном литераторе, сказавшем как-то вполне серьезно: “Э, знаем мы этих классиков! Назначь-ка меня редактором, да дай мне в руки ножицы, я в два счета отгяпаю две трети “Войны и мира””.

Невежество для писателя — самый тяжкий, непростительный порок.

Так считает ныне автор трилогии “Кровь и пот”.

А тогда...

Началась истовая (сам прозаик называет это состояние тотальной мобилизацией всех душевных и физических сил) работа над романом. Все пережитое, передуманное, увиденное и прочувствованное двадцатитрехлетним демобилизовавшимся офицером показалось интересным и значительным, и все это лезло в довольно пухлый роман.

Летом 1949 года автор принес рукопись в издательство. А до этого Мухтар Ауэзов попросил однажды начинающего прозаика зайти к нему с тремя — на свой выбор — отрывками из своего произведения. В назначенный час Абе пришел и прочитал. Мухтар Ауэзов слушал молча, сосредоточенно и сказал всего лишь одну фразу: “Октың тілі шолақ тіл. Сен біраз тіл тапқан екенсің”. Я затрудняюсь перевести это так же емко и лапидарно. Но звучат эти слова примерно так: “Язык пули куц. Но ты нашел немало красок”.

Неопытность молодого прозаика была, однако, слишком очевидна.

Приведу здесь еще один случай, записанный мною в дневнике 22 августа 1978 года.

“Я часто думаю, что за роман я взялся все-таки по невежеству”, — заметил Абе и уже в который раз рассказал мне о том, как в 1949 году Мухтар Ауэзов повел его в Оперный театр на просмотр концерта, подготовленного к Декаде казахского искусства в Москве. Сидел он, волнуясь и робея, рядом с Ауэзовым. На сцену вышли оркестранты в национальных костюмах. Многие инструменты Абе видел впервые.

Сухой, поджарый, кучерявый Ахмет Жубанов взмахнул дирижерской палочкой, и оркестр заиграл кюй “Адай”. Абе весь подался вперед. Ауэзов покосился на него и спросил: “Ты что, впервые, что ли, слушаешь оркестр?!” И на честное признание начинающего писателя сказал, поморщившись, посерев лицом, с глубоким неодобрением: “Вот те раз! Тоже мне... пишет роман, а сам еще нетронутый мальчишка!” “И тогда я понял,—продолжал

Абе,—что пропал. Знаний не было, образования не было, культуры не было, а я писал роман. Смешно! Все это от невежества”.

Я заметил, что невежество тут, возможно, ни при чем. Такова была, очевидно, природа дара, таков был зов таланта. И еще я сказал, что писателем его, Абдижамила, сделали именно природный талант и терпение. А не образование, не книжная культура. Он возражать не стал”.

Рукопись проходила трудно. Назначили одного редактора — не сработались. Назначили второго — не поладили. Назначили третьего — опять не то. Каждый редактор, едва прочитав первый абзац, начинал с ходу править на свой лад, но правка эта автора не устраивала. Он горячо отстаивал каждое свое слово, не соглашался ни на какие пере-конструирования предложений. В отчаянии он обратился к секретарю ЦК Компартии Казахстана Ильяссу Омарову. Многомудрый Ильяс Омаров, тонкий знаток литературы и психологии творчества, затребовал рукопись и отредактированный текст, сравнил и посоветовал выпустить роман без редакции, сказав, что идейных ошибок в нем нет. Так “Курляндия” и увидела свет: техредактор есть, корректор есть, а редактора нет. Единственный уникальный случай в полиграфии Казахстана.

Было это в 1949 году.

О романе заговорили. “Курляндия” удостоилась республиканской премии им. Джамбула. Добродушный, непосредственный Сабит Муканов еще до выхода романа даже заявил во всеуслышание: “Такого писателя я жду уже двадцать лет”, чем вызвал недоумение и недовольство некоторых именитых прозаиков. Тахави Ахтанов опубликовал статью “Большая надежда”, в которой, воздав должное творению своего друга и собрата по перу, с глубоким знанием подверг убедительной и доброжелательной критике его недостатки.

После полученного в КазГУ и в Литературном институте им. Горького филологического образования, теоретически подготовленный, зрелый писатель Нурпеисов, учитывая все критические замечания, несколько лет сокращал, дописывал, переделывал, улучшал, шлифовал свой роман, и в 1957 году выпустил его вновь “похудевшим” на десять (!) авторских листов под названием “Долгожданный день”...

Говорю об этом, может, излишне подробно для того, чтобы подчеркнуть самую суть, самую характерную черту

творческого облика Абдижамила Нурпеисова. Он не только работает мучительно трудно, кропотливо, галерно. Но с такими же неизменными сложностями и трудностями выходит каждая его книга, преодолевая бесчисленные преграды и препятствия. Потом, правда, приходят успех и слава, но это потом, и, по моему убеждению, они лишь слабая плата и награда за то огромное напряжение человеческих сил, за тот поистине адов труд, о котором многие не имеют ни малейшего представления.

Нет, его никак не назовешь баловнем судьбы.

И сам он никогда легкой судьбы не искал и не ищет.

Подверженный, как всякий смертный, разным человеческим слабостям, он в своем творчестве исповедует максимализм и принципиальность.

Противоречивый в житейских делах, он в писательстве целен.

Непоследовательный в иных своих поступках, он в литературе придерживается твердого убеждения, выраженного им так: "Чем кропотливее и труднее будет писаться книга, тем с большим интересом она будет читаться. А написать такую книгу очень трудно! Каждая хорошая книга, подаренная писателем человечеству, равносильна подвигу".

Работая над своим первым романом, Нурпеисов как бы инстинктивно руководствовался известными словами Хемингуэя: "Нет на свете дела труднее, чем писать простую, честную прозу о человеке. Сначала надо изучить то, о чем пишешь, потом надо научиться писать. На то и другое уходит вся жизнь".

Действительно, как это просто и верно сказано!

Нурпеисов, только что переживший самое страшное испытание — войну, задался целью написать простую и честную книгу о своем поколении, о тех аульных мальчишках, попавших прямо со школьной скамьи в пекло бойни, о своих сверстниках разных национальностей, о всенародном горе и лишениях, выпавших на долю мирных тружеников, о мужестве и стойкости людей, о человечности, не истребимой никакой, самой жестокой и свирепой, человеконенавистнической идеологией.

Это было, так сказать, "сверхзадачей" романа. Бременем поиска, которому подчинялись многочисленные художественные компоненты и средства. И если исходить из того, что

основа основ художественного произведения — позиция, мысль, образ, эмоции, язык, то читатель “Курляндии” может убедиться: все это есть в романе.

Русскому читателю “Долгожданный день” неизвестен. Имеется подстрочный перевод, осуществленный Маканом Джумагуловым. Подстрочник первой части романа был представлен автором в качестве дипломной работы при окончании Литературного института им. М. Горького. Неплохо отозвался о романе Всеволод Иванов, отметив, что казахскому прозаику в отличие от его предшественников хорошо удалась психологическая характеристика русских. Критик Л. Теракопян, ознакомившись с романом по подстрочнику, также высказался о том, что надо бы его перевести на русский язык.

На казахском же языке “Долгожданный день” выдержал пока пять изданий. И совсем недавно я внимательно прочитал его еще раз и должен сказать, что, несмотря на то, что с момента его написания прошло более трех десятков лет, и за это время усилиями крупнейших писателей советская военная проза необычайно выросла и разнообразилась, абдижамиловское произведение отнюдь не оставляет впечатления безнадежной устарелости. Многие страницы его и поныне звучат свежо и убедительно; есть в романе немало подлинно динамических и драматических сцен, ярких описаний, колоритных образов, живых диалогов. Внимательный читатель, знающий и любящий творчество Нурпеисова, найдет в “Долгожданном дне” ряд рассуждений, сюжетных ходов, образов и художественно-изобразительных средств, наиболее характерных для его творческого облика и получивших развитие, обретших более “мускулистое” выражение в поздних его произведениях. И “Долгожданный день”, и три романа, составивших “Кровь и пот”, и “Долг” написаны в разное время, в разном ключе, отображают разные этапы и закономерности народной судьбы и истории, но все они нацелены на выражение самых главных тенденций Времени и помечены индивидуальной метой художника — его самобытным творческим “я”. В них отчетливо прослеживается цельное видение мира, проглядывает неделимое ядро недюжинного таланта.

Нелепо и неуместно пересказывать содержание большого романа. События в нем разворачиваются на Курляндском

полуострове, где закрепились мощная фашистская группировка — более тридцати дивизий — и где обе стороны преследовали определенные стратегические цели, проводя изнурительные, затяжные тактические сражения.

На войне как на войне. Рвутся снаряды, проливается кровь, гибнут люди. В орбиту безжалостной битвы двух систем, двух идеологий вовлечены и суровые воины, и безвинные дети, и женщины, и старики. По этой стержневой канве выстроены в романе многочисленные фронтовые события, эпизоды мирной жизни, столкновения разных характеров и судеб.

Роман многопластовый, многослойный. Сцены батальных перемежаются с картинками мирной жизни. В сиюминутные события вплетаются безмятежные воспоминания о прошлом. Вместе с героями романа читатель оказывается то в сырых блиндажах, то в промерзлых окопах, то в штабах, то в логове врага, то в глубоком тылу, в аулах Приаралья, то в недалеком тылу, в ухоженных, аккуратных прибалтийских хуторах и городках. Десятки причудливых судеб проходят перед глазами читателя. Любовь, смерть, радость, горе, благородство и подлость, храбрость и трусость, достоинство и низость — все эти неизменные спутники человека нашли отражение и образное выражение в “Долгожданном дне”.

Как в жизни. Как в романах.

В “Долгожданном дне” я нахожу немало примет, характеров, явлений, точек зрения, ситуаций, обстоятельств, образов (разумеется, зачастую лишь в зародышевом состоянии, приглушенном обличье), которые позднее найдут более обстоятельную, глубокую и всестороннюю разработку, мотивировку и аргументацию, более реалистическое, психологическое и философское воплощение в известных произведениях К. Симонова, Г. Бакланова, Ю. Бондарева, В. Быкова, Б. Васильева, Б. Момыш-улы, В. Кондратьева, Т. Ахтанова, И. Стаднюка. И в этом мне видится значимость и достоверность первого романа Нурпеисова, его честность и проникновенность, его жизненность. Можно только сожалеть, что роман в свое время не стал достоянием всесоюзного читателя. “Долгожданный день”, естественно, вписался бы в прекрасную нашу военную прозу, не оставаясь лишь в рамках национальной литературы.

Роман можно было издать в переводе на русский язык и теперь, и иной литератор наверняка так бы и поступил,

но, зная совестливость и требовательность к своему творчеству его автора, думаю, что этого уже не произойдет. Жаль...

Неотъемлемые черты человеческой и творческой натуры Нурпенсова — медлительность и основательность — четко отразились уже в первом его романе. Он склонен к обстоятельному, тщательному выписыванию деталей, к скрупулезному описыванию. Над этой своей слабостью он сам иногда потешается. Абе до сих пор помнит наизусть первое предложение “Курляндии”. По-русски в дословном переводе оно звучит так: “Со свистом и воем, надрывающими душу, летевший снаряд по мере приближения к месту падения вспарывал ночную тишь, заставляя судорожно выть воздух”. Перевод, повторяю, буквален, потому и коряв. Однако уже по этому предложению видно, как автор старался описать, “оживить”, “окартинить” рассекающий ночную тишину снаряд. “Надо же! Мгновенное, почти неулавливаемое действие, а я его вон как растянул”, — улыбается теперь писатель. Позже, он, конечно, это предложение переделал.

Даже в самой, казалось бы, драматической ситуации, в сцене бурной стычки фон Рубинштейна и Шернера, писатель не преминул описать, как “два стакана на краю стола, испуганно подпрыгнув, со звяканьем попадали на пол и разбились”.

Да, рисовать Абе любит: “Пороховой дым, словно зола, подбрасываемая с земли горстями, вспыхивал, медленно оседал, таял, рассеивался”.

Или вот такая сцена: Есей просыпается от взрыва снаряда. Подробно описывается, как у него затекла правая рука, оказавшаяся под спиной Скорикова; тут же описывается портрет самого Скорикова, говорится о его тяжелом физическом и моральном состоянии в последнее время; потом Скориков поворачивается на другой бок, и Есей высвобождает руку, видит Кожака — дневального; потом Есей выходит на улицу, описывается предрассветное небо, звезды, описывается степь... все красочно, ярко, точно, скрупулезно; в душе нарастает тревога: ведь идет война, рвутся снаряды, а автор все выписывает, вышивает, расцветчивает, расшивает, украшает, нанизывает детали — степь, рассвет, след танков, трава, дым...

Я вовсе не даю оценки этому свойству, я просто констатирую: страсть к описательству присуща творческой манере Нурпеисова, она особенно заметно проявилась в первом его романе, отмечены ею и другие, поздние его романы, хотя, разумеется, там она более строго подчинена идейно-художественным задачам, и сами картины более точны, упруги и колоритны.

Известно, что писатель мастерски создает портреты своих героев. Еламан и Акбала, Танирберген и его благочестивый брат Алдаберген, Кален и Мунке, Судр-Ахмет и Каракатын из трилогии “Кровь и пот”, Жадигер и Бакизат, упрямец Кошен и Сары-Шая, Ягнячье Брюшко и Азим из романа “Долг” — эти и другие герои Нурпеисова запечатлелись в сознании читателя не только благодаря своим поступкам и действиям, но и своим портретным данным. Тут писатель следует классическим традициям: если у его героев, скажем, тонкие губы, лохматые брови, маленькие змеиные глазки, волчий закрик, плоский пятнистый череп, покрытый жиденькими, будто выпаренными, волосинками-щетинками и т. д., то это отнюдь не случайные внешние данные, а яркие черточки, определяющие характер, работающие на образ того или иного индивидуума. Умение создавать портреты своих персонажей писатель продемонстрировал еще в “Курляндии”. Внешние данные его героев удивительно гармонируют с их внутренним миром.

Психологизм, на мой взгляд, отнюдь не был отличительным свойством казахской прозы сороковых-пятидесятых годов. Она в ту пору еще в заметной степени грешила описательностью, дидактичностью, декларативностью, фольклорными излишествами, издержками черно-белого письма. Понятно, речь идет не об отдельных выдающихся произведениях, весьма популярных тогда и ставших гордостью национальной литературы, а об общем уровне тогдашней прозы. Поступки героев психологически мотивировались скудно. И тем примечательней, что, являясь учеником Мухтара Ауэзова и продолжая его традиции, именно этой стороне художественного письма молодой прозаик уделил немало внимания. Он стремился проникнуть в духовный мир своих героев, найти психологическую аргументацию их действиям и порывам, уловить движение и характер души, раскрыть глубинную суть образа. По этой части у автора

“Долгожданного дня” немало удач. Размышления Есея Бержанова, порывы честной и чистой Баян, простодушного увальня Нуржана, манеры и выходки самовлюбленного Долгушева, душевная сумятица красавицы Зинаиды Яковлевны, сложные взаимоотношения офицеров, отягощенные личными симпатиями и антипатиями, внешняя непритязательность приаральских рыбаков обрели в романе серьезное, убедительное психологическое обоснование. В художественной литературе тех лет фашисты, например, чаще всего изображались достаточно однозначно и одномерно. И у Нурпеисова немецкие генералы Беге, фон Рубинштейн выписаны, скорее, ходульно и трафаретно. Однако любопытно, что и в изображении фашистского офицерства автор “Курляндии” делает попытку проникнуть в психологическую суть образа. Фельдмаршал Шернер, к примеру, довольно интересно рассуждает в романе, силясь понять, осмыслить то, что творится вокруг, дойти до первопричин поражений, казалось бы, несокрушимой рейховской военной машины и уяснить для себя, в чем, собственно, кроется сила советского народа.

Легко заметить в лепке художественного образа Нурпеисовым благотворное влияние Льва Толстого. Абдижамил, по его же словам, читал первую книгу “Войны и мира” во фронтовые годы, и оставила она в его душе, хотя скорее и смутно-интуитивный, но неизгладимый след. В Аральске, в доме родственника писателя, я как-то наткнулся в громоздком старом шкафу на изрядно потрепанный том “Войны и мира”, вдоль и поперек испещренный карандашными пометками и замечаниями Абе на казахском языке. Некоторые из этих записей показались мне по-детски наивными, но они свидетельствовали о внимательном, вдумчивом чтении и усердной учебе начинающего прозаика. И хотя спустя многие годы в какой-то, кажется, анкете он хотя и не утверждает, что именно “Война и мир” дала ему толчок к написанию романа о войне, но открыто признается: “Лев Толстой был тогда моим любимым писателем”.

Психологическая обрисовка образа у Нурпеисова, на мой взгляд, в значительной мере идет от Толстого.

Языку художественного произведения Нурпеисов всегда придает первостепенное значение. Он неустанно переписывает

и шлифует каждое предложение, переставляет и заменяет слова, как бы проверяет их на оцутъ, на слух, на вкус, подгоняет, подбивает их ладно и складно.

И в “Долгожданном дне” чувствуется большая, ювелирная работа. Каждое предложение продумано, отделано и отточено. А “чисто” языковых проблем стояло перед автором “Курляндии” немало. В романе действуют десятки лиц разных национальностей, описываются военные операции, нуждающиеся в своей специфической лексике, действие происходит в непривычной для казаха обстановке и среде — все это ставило перед казахским прозаиком серьезные языковые задачи, вынуждало искать эквиваленты и аналоги чуждым казахам понятиям и представлениям. Конечно, придирчивый читатель может найти в романе примеры, когда русские, немцы, латыши выражаются явно по-казахски, однако подобные огрехи не искажают впечатления о добротном, богатом, образном языке прозаика. Вероятно, именно это имел в виду чуткий Мухтар Ауэзов, когда заметил, что язык пули для казахов куц и скуден и что как раз по этой части Абдижамил нашел немало красок. “Немало” в устах Ауэзова, должно быть, совсем немало.

Как всегда, выразительны у Нурпеисова диалоги, особенно сочная, богатая интонациями и оттенками речь аульных стариков и старух.

Читатель романов Нурпеисова, несомненно, обратит внимание на их внутреннюю взаимосвязь, своеобразную преемственность, перекличку излюбленных мотивов и идей, а также на явную и явственную родственность некоторых его героев. Так, например, лейтенант Есей Бержанов, мыслящий, чуткий к людям, совестливый, участливый, человечный, из “Долгожданного дня” — духовный брат Еламана из трилогии “Кровь и пот” и Жадигера из “Долга”. От Баян — открытой, ясной, душевной девушки из первого романа Нурпеисова — тянется зримая нить к Акбале и Айганше из трилогии и к Бакизат из последней книги писателя. Резкая, крутонравая, острая на язык старая рыбацка из “Долгожданного дня” стоит в одном ряду с Черной старухой в романе “Кровь и пот” и матерью Жадигера в “Долге”. Величественный Бел-Аран и кормилец-Арал вдохновенно воспеты, опозитизированы во всех романах Абдижамила.

Можно найти немало подобных созвучий и перекличек, параллелей и точек соприкосновения.

Первое произведение Нурпеисова стало своеобразным камертоном ко всему его творчеству, оно задало верный тон его раздумьям о времени, о судьбе народа, предопределило весь творческий путь, оконтурило грани таланта и сферу духовных поисков художника.

Примечательно, что все этапные произведения Нурпеисова объединяет схожая, единая судьба. Автор каждую из своих книг долго вынашивает, долго пишет, с трудностями и сложностями издает, потом еще многие годы не расстается с нею, переделывает, переписывает, доводит до того, когда он может сам себе со спокойной совестью сказать: "Все! Лучше, пожалуй, не могу", и лишь потом приступает к осуществлению нового замысла, точь-в-точь повторяя слов-но предначертанный судьбой весь этот тяжкий писательский круг.

Так было с "Долгожданным днем".

Так было с трилогией "Кровь и пот".

Так было с романом "Долг".

Казахи говорят: "Скотина становится похожей на своего хозяина". Книги похожи на своего автора. Они разделяют единую судьбу, единый жребий. Не это ли имел в виду Кайсын Кулиев, когда писал:

— Мул похож на своего хозяина,
Лошадь — на владельца своего.
И слова похожи на того,
Кто сказал их, вольно иль нечаянно.

С высоты нынешних лет слабости "Долгожданного дня" особенно очевидны: схематичность иных героев и коллизий, излишества в описаниях, наивность иных мотивировок, карикатурность врагов, заданность отдельных эпизодов, мягченность повествования, неопытность в письме.

Все это так.

Очевидно, однако, и другое. Первым же романом Нурпеисов заявил о себе крупно, емко. Было ясно, что в литературу пришел талант сложный, яркий, многообещающий, с немалыми потенциальными задатками. Художник, чей талант отмечен сочувствием и сопереживанием.

К человеку.

К человеческим бедам и болям.

Шли годы. И кое-кто уже решил, что Нурпеисов так и останется автором одной книги. Иные из нетерпеливых, посчитав, что обманулись в своих надеждах, даже перестали здороваться с незадачливым — на их взгляд — писателем. И он, автор “Курляндии”, чувствовал это, с болью переживал неверие в него и упорно твердил себе и самым близким: “Нет. Я докажу. Я должен написать стоящую книгу”.

Он знал, что упорен и терпелив.

Знал, что долго и трудно зреет в нем, пожалуй, главная его книга — “Кровь и пот”.

Мы возвращаемся с гор. Осенний день насупился. Дорога дымится испариной. Крутобокие холмы, омытые спорым дождем, грустно глядят вслед. Мой собеседник, прильнув к рулю, сосредоточенно думает. О чем? Может, о второй книге “Долга”? Или о других неосуществленных замыслах, которых у настоящего писателя всегда немало?..

1983 г.

КТО ИДЕТ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ТРОПОЙ...

Ведь талант — вещь совсем не легкая, это не просто мастерство. В корне своем — это потребность, это критическое представление об идеале, это неудовлетворенность, которая только через муку рождает и совершенствует свое мастерство.

Томас Манн

Книга казахского писателя Абдижамила Нурпеисова — трилогия “Кровь и пот” — давно уже завершена и теперь, переведенная и переводимая на многие языки страны и мира, обретая также экранную жизнь, совершает свое шествие по земле, завоевывая любовь и признание миллионов читателей.

Не один десяток статей — больших и малых, академически сдержанных и восторженных, исследований и диссертаций

написан о трилогии литераторами и критиками за последние годы. И критики единодушны: трилогия “Кровь и пот” — крупный успех писателя, заметное явление казахской и всей советской литературы. О ней высоко отзываются известные художники слова.

Итак, книга давно закончена, она живет своей славной жизнью, независимой от воли ее творца, ведь окончание книги — это всегда разрыв с героями, и, вероятно, это правда, но правда относительная. Да, книга закончена, но автор все еще — спустя десятилетия — в ее власти, он по-прежнему шлифует ее. Десятки экземпляров на русском и казахском языках, находящиеся постоянно на столе, под рукой, густо испещрены его замечаниями и стилистической правкой, и я, многолетний свидетель этой бесконечной, неумной скрупулезной редакции, невольно вспоминаю слова Э. М. Ремарка: “Писатель, по-моему, вообще не заканчивает книгу. В один прекрасный день он просто расстается с ней”. Очевидно, Нурпеисов принадлежит именно к этой категории писателей, которые “вообще не заканчивают книгу”. Совсем недавно, во время его увлеченной работы над новым романом, я как-то зашел к нему и застал лежащим в постели с последним — казахским — изданием книги “Кровь и пот”. Он самозабвенно чиркал карандашом на полях книги, ставил какие-то бесконечные знаки-закорючки, в которых порой и сам разбирается с трудом, и на мой недоуменный молчаливый вопрос заметил, задумчиво улыбаясь: “Теперь-то я вижу, что из этой штуки можно б сделать прекрасную книгу”. Выходит, и сейчас, когда трилогия разошлась миллионными тиражами на многих языках мира, автор еще не расстался со своими любимыми героями.

Да, труд, терпение, мужество писателя вознаграждены: большая слава и признание пришли к нему. Слава и признание пришли теперь, в пору зрелости и мудрости, а тогда... тогда, летом 1964 года, всего этого еще не было, а было...

...было море, лениво накатывавшее на пустынный песчаный берег синие волны, был уютный, весь звенящий от тишины Тущи-бас, был крохотный аул рыбаков, за которым простиралось безбрежное — от Арала до Каспия — бурое плато Устюрт. Мы наслаждались первозданной дикой

свободой, зарывшись в мягкий, струящийся, источающий дневной жар песок, и молча смотрели на пылающий в лучах заходящего солнца хребет хмуρο насупившегося увала Бел-Аран. Над ним по выцветшему от зноя небу невесомо плыли розовые облака. Во мне как бы оживали строки из “Сумерек”, строки, наполненные огромной художественной силой и обобщенно философской мудростью: “Солнце стояло низко. Диск его, большой и дрожащий в холодных струях ветра, уже почти касался дальних бурых гребней увала. Весь запад горел в огне, и красный свет снизу освещал грозно и мрачно резкие крупные облака, туго сбитые ветром. Облака эти, как раскаленные угли, казались живыми существами, отчаянно сопротивлявшимися наступлению тьмы. А тьма неотвратимо наступала и брала в плен весь мир. Ведь свет и мрак — это как смерть и жизнь. Как над каждой жизнью царит неотвратимый рок, так и над светом, когда пробьет его час, нависает мрак, он входит в свет, пронзает и гонит его, и, окутанная черным саваном земля, покорная и печальная, уходит в ночь”.

Мы прибыли сюда, в аул из восьми глинобитных домиков на берегу залива, несколько дней назад. Нас доставили из города Аральска на большом почтовом катере, дурманяще пахнущем морским ветром, рыбой и свежескошенным сеном, и плыли мы долго, весь день, часть ночи и еще дня, плыли берегом и открытым морем, мимо Кокарала в бутристых оранжевых барханах, мимо мрачных и молчаливых громадин — скал Каратупа, памятных мне по описанию в “Сумерках”, и я был, в буквальном смысле, ошеломлен, очарован невиданным доселе могучим синим морем, дремучими скалистыми берегами, жгучим солнцем, необъяснимым чувством, ощущением необъятности и величия земного бытия.

На другой же день мы приступили к работе, расположившись в прохладной, заброшенной лагуне-какра, в которой гнездились ласточки. Работа предстояла большая; мы наметили за два месяца основательно — слово за словом, фраза за фразой, абзац за абзацем, сличая с оригиналом — отредактировать (уже в который раз!) недавно законченный мною подстрочный перевод первых двух книг трилогии. Здесь не было ни радио, ни газет, ни электричества, ни других атрибутов современной цивилизации, и мы вставляли

с восходом солнца, под гвалт прожорливых чаек и ложились, когда угасали последние лучи на макушке Бел-Арана. Все остальное время мы работали, радуясь удачам и огорчаясь, когда наперекор всем нашим потугам и терпению что-то упорно не получалось. Во время нечастых передышек мы спешили к морю: оно постанывало, рокотало, ворочалось рядом, сразу же за рыжей дюной — рукой подать...

...Зимой 1963 года, вприпрыжку поднимаясь по крутым лестницам общежития КазПИ, Аскар Сулейменов обернулся, спросил:

— Хотите перевести “Кровь и пот”?

Я согласился, представления не имея о художественном переводе и, естественно, не предполагая, что с этого мгновения перевод казахской прозы станет моим многолетним занятием. Несколько дней я бился над небольшим отрывком, выбранным Аскаром Сулейменовым — сценой ночного свидания Танирбергена и Акбалы в рыбацьем ауле. Прочитав мой перевод, чуть более странички, автор (в то время главный редактор журнала “Жулдыз”) приехал ко мне, повез куда-то в горы, в Дом отдыха, и после долгих и — как мне показалось — необязательных разговоров вдруг спросил:

— Сколько времени ты переводил этот отрывок?

В то время я считал, что переводить с ходу, быстро и легко — главное достоинство переводчика. И потому ответил:

— Часа два...

Автор чуть улыбнулся.

— А переписывал сколько?

— Один раз...

Автор помолчал, поскучнел.

— А мне кажется, ты переписывал много раз. И это — хорошо...

Тогда я впервые — еще смутно — понял, что автор смотрит на творчество значительно серьезней, чем это мне представлялось, что для него хорошо и поистине достойно, ценно только то, что достается трудом, терпением, упорством и, может быть, болью. Сколько раз (и отнюдь не отвлеченно) приходилось мне потом — за два десятилетия постоянной близости и совместной работы — убеждаться в этом.

...Море, утомленное, глухо урчало. Волны ластились к нашим ногам.

— Что же послужило толчком для написания трилогии? Вы помните, Абе?

Он посмотрел вдаль, задумался. Мне вспомнились две фотографии из его альбома. На одной запечатлен 18-летний юноша перед уходом на фронт. Угловатый, худой, в больших круглых очках. Привлекают глаза: пристальные, внимательные, очень печальные. На коленях лежат тяжелые, широкие в кистях руки. Во всем облике чувствуется нелегкая, несладкая юность. Видно, что уже в этом возрасте немало обид, тоски, печали, навеянных сиротством, бытовыми неурядицами, не очень сытой интернатской жизнью, накопилось в нем. Вторая фотография запечатлела его в канун работы над трилогией. Материал собран, все обдумано. 1958-й год. Он приехал в Челкар, чтобы писать “Сумерки”. Сидит за дастарханом в кругу радостных, веселых родичей. Смотрит с мягкой улыбкой. Глаза за очками спокойно-сосредоточенные. Взгляд ушел в себя. Он уже живет среди своих героев.

И еще мне вспоминается, как мы, старшеклассники аульской школы, были удивлены, когда узнали, что в казахской литературе появился новый писатель — Нурпеисов. Удивляло то, что он пришел в литературу не со стихами или рассказом, как это обычно бывало у всех известных нам писателей, а сразу, с ходу... с романом. Необычно было имя писателя — Абдижамил, непривычно звучало и название его романа — “Курляндия”. Об этом романе много говорили и писали, он был удостоен литературной премии имени Джамбула, учрежденной в честь тридцатилетия республики, но молодой автор — уже тогда не по возрасту требовательный к себе — переписывал его вновь и вновь и издал впоследствии по существу новое произведение под названием “Долгожданный день”. Роман был написан по следам непосредственных впечатлений и раздумий о войне, куда будущий писатель попал прямо со школьной скамьи.

А “Кровь и пот”...

“Это было в нелегком сорок седьмом году,— медленно заговорил Абдижамил.— Ехал я, недавно демобилизованный, в районный центр. Возница был стар и утрюм. Телега

тарактела, тряслась по неровной, в кочках и ямах, пыльной дороге. Ехали молча час, другой, третий. Всюду простиралась безмолвная, побуревшая от зноя полынная степь. Я думал: как стара и многострадальна она! По этой дороге прошли неведомые караваны человеческих поколений. Сколько кровопролитных войн, сокрушительных набегов самых свирепых полчищ — калмыков, монголов, джунгаров, даже железных легионов Македонского перевидела и пережила она на своем веку. Сколько слез матерей и вдов пролито на этой вот выжженной солнцем земле с момента сотворения мира. Сколько пота и крови пролито здесь нашими храбрыми предками. “Кровь и пот”, — подумал я, невольно повторяя потрескавшимися губами эти обжегшие вдруг душу слова. Вот тут-то впервые и пришла в голову мысль, что я должен когда-нибудь, если смогу, написать книгу о пролитой крови и поте моих предков”.

О чем поведал мне писатель тогда, знойным летом на берегу древнего Арала, он потом впервые публично расскажет осенью 1971 года в своем выступлении на Симпозиуме советских и немецких писателей в Эрфурте, позднее опубликованном в журнале “Нойе Дойче Литератур”. Затем он повторит этот рассказ в статье “Караваны памяти”, и теперь редко кто из критиков проходит мимо этой исповеди об истоках будущей знаменитой эпопеи.

Почти четверть века спустя писатель осуществил свою заветную мечту.

То, что написано о трилогии “Кровь и пот”, наверняка уже сейчас превышает ее объем. Несомненно, еще больше будет написано о ней в будущем. Но если быть предельно кратким, то можно сказать, что роман А. Нурпеисова — многоплановое, широкоохватное повествование о трудной судьбе казахского народа, о пробуждении самосознания в канун революции, о больших людских горестях и слишком скудных радостях на стыке поворотного момента истории, о крушении феодально-патриархального уклада, кочевого быта, о крахе родовых, племенных связей и морали. Это книга о пробуждении степи.

Да, на мой взгляд, едва ли не основной мотив трилогии — прозрение. Прозрение тяжкое и мучительное. Прозрение, которое стоило каждому герою в отдельности и

всему народу вместе много крови и пота. Прозрение, за которое каждый герой в отдельности и народ в совокупности заплатили дорогой, слишком дорогой ценой — утратой, лишениями, потрясением.

Во всех трех книгах объемистого романа мытарствует неумная душа рыбака Еламана... Ему пришлось изведать горести сиротства и нищеты, быть козопасом в богатом ауле, табунщиком у свирепого бая, стать рыбаком, убить русского купца-живодера, сполна познать тюрьму, Сибирь, всю подлость и мерзость разлагающейся царской армии, окунуться в бурное море жизни, постоянно терять и обретать, терзаться сомнениями, сносить бесчисленные удары судьбы, почувствовать всю дерзость человеческого духа, чтобы открылась перед ним, наконец, казалось бы, столь простая и понятная истина человеческой жизни — жизни активной, созидательной, целеустремленной, справедливой.

Бесстрашный, яростный Кален, дерзкий и отчаянный конокрад, бунтарь-одиночка с доброй и нежной душой, до поры до времени смирившийся с волчьими законами феодальной степи, привыкший к тому, что “в степи каждый жил сам по себе, каждый одиноко пас свой скот или байский”, лишь после того, как его избили впервые, избили свои же хозяева, на которых многие годы гнул спину, в первый раз в жизни остро почувствовал свое одиночество и пришел к выводу, что “на море одному было нельзя”. Да, на море одному было нельзя, “потому что не каждый день идет рыба, и не каждому она попадается, и там надо делиться всем, а то пропадешь”. Так же и в жизни одному уже нельзя, невозможно, будь ты хоть как силен, смел и отчаян. Подлинная сила — в единстве и стойкости многих таких, как ты, бесправных и обездоленных, когда, как говорится, у народа единый рукав и единый воротник. Долгое время Кален это будет понимать смутно, но и он, свирепый бунтарь, воитель стоит на пороге прозрения.

Это можно сказать о всех главных героях трилогии. Их жизненный путь тернист, он лежит через мрак и унижения, но они упорно идут по этому пути к Истине, к Прозрению. “Кровь и пот” — в сущности яркая и правдивейшая книга о тяжком пути духовного пробуждения человека, о Прозрении в самом широком и философском смысле этого слова.

...Еще один мотив — важнейший — пронизывает все три книги эпопеи. Это мотив света и мрака. Он — зримо или незримо — присутствует всюду: и в описании степи или моря, судьбы каждого человека в отдельности и всего народа. “Кровь и пот” — суровая и беспощадно правдивая книга. Правдивая, как сама Жизнь. Автор описывает край, познавший много крови и пота. Описывает его в самый переломный момент его истории, как бы на стыке жизни и смерти, на меже умирающего и рождающегося миров. Трилогия полифонична, в ней много судеб, много событий, и потому так закономерен мотив извечной, неустанной диалектической борьбы двух взаимоисключающих начал — света и мрака, добра и зла.

Зловещая тьма неотвратимым роком нависает над героями с первых страниц романа. Облака в предзакатный час чудятся Еламану живыми существами, отчаянно сопротивляющимися наступлению тьмы. Тьма — физическая и духовная — преследует героев. И не случайно, видно, первая книга называется “Сумерки”. В книге много горя. Смерть, убийство, драки, унижения, голод, бесправие, умыкание девушек, угон скота, опустошительные набеги, семейные неурядицы, произвол и насилие во всех видах и проявлениях чередой проходят перед глазами читателя. О горе — личном и народном — часто говорят почти все герои трилогии. С горестных сцен начинается каждая книга. И каждая книга кончается на пронзительно печальной ноте. Слово “счастье” не часто звучит в устах героев. А если оно и звучит, то в горестном подтексте, как нечто зыбкое и далекое, едва ли доступное. “Эх, Мунке-ага!— спрашивает уже в конце первой книги молодой Рай.— Скажи мне, есть ли на свете счастливые люди? Есть ли люди, не испытывавшие горя?”

Сбежав из тюрьмы и вернувшись к разбитому, холодному очагу, Еламан живо вспоминает свою крошечную землянку с единственным полуслепым окошком, затянутым бараньей брюшиной прямо в потолок, с низенькой скрипучей дверью, в шутку прозванной “плаксой”, вспоминает, как он жил в этой землянке с красивой молодой женой Акбалой, которая, однако, сердцем любила не его, а его соперника, врага Танирбергена, но, вспоминая былое, пишет автор, “он усиленно начинал перебирать скупое свое

счастье тех дней". Да, оно действительно было с к у п ы м, но даже оно, это скупое счастье, было в прошлом. Счастье прихотливо, оно всегда радужное, яркое, нарядное, а горе вездесуще и многолико.

"У беды семеро братьев", — гласит поговорка. В романе "Кровь и пот" их значительно больше. Тесно рыбакам на круче, на голых скалах. Душно и смрадно в приземистых землянках. Вырваться бы на волю, на простор. Да только степь принадлежит баям, а море — купцам. И всюду горе. Должно быть, потому некоторые критики упрекали автора в нагнетании "свинцовых мерзостей жизни", в ущербе героям, в пристрастии к разным ужасам и кошмарам, в излишнем внимании к мраку. Однако А. Нурпеисов — суровый и последовательный реалист. Зоя Кедрина писала: "Как истинный реалист, ничего и никого не украшает Абди-жамил Нурпеисов, никого не учит, ничего не навязывает. Но, зорко различая исторические перспективы развития общества и личности в нем, дает естественную картину народной жизни, как потока, устремленного в будущее" ("Правда", 20.3.1967). Это верно: писатель менее всего склонен к поэтизации прошлого, к восхвалению мнимых прелестей патриархальной старины и феодальных отношений. Ни восторженных описаний лихих скачек по степи, озорного удалства и забав, ни безмятежных идиллий кочевой жизни, ни пышных красок ханских ставок, ни велеречивых биев, состязавшихся в мудрословии, ни многодневных поминок, на которых дымятся горы мяса и рекой льется пенистый кумыс, ни многого другого из неперменного антуража славного прошлого "священных предков" на страницах трилогии читатель не встретит.

Да не подумает, однако, многоопытный читатель, что автор этих строк кого-то осуждает за пристрастия к описаниям подобного рода или возражает против красочных воссозданий конных скачек, поэтических состязаний, обильных трапез и других картин из жизни кочевников. Отнюдь. Я просто говорю о том, чего нет в романе Нурпеисова.

Счастье и радость действительно не желают ютиться в смрадных, сырых землянках на круче, продуваемой всеми ветрами, в сумрачном, рыбой пропахшем лабазе, в дырявой юртонке, одиноко стоящей на вытоптанном джайляу, в

лачужках городской окраины, в грязных окопах на чужбине, на шаткой льдине, уносимой бурей в открытое море.

Писатель твердо следовал логике правды. Он понимал, что безнравственно наводить литературный глянец на то крутое время в истории своего народа, о котором следовало говорить предельно честно. Не соблазнился художник и досужими советами и расхожими схемами. А их — советов и схем — было предостаточно. Кому-то не терпелось вывести Еламана на проторенную в беллетристике дорогу профессионального революционера, кто-то ратовал за более динамичные и решительные действия героев, за скорейшую пролетаризацию аральских рыбаков, кого-то удручали тягостные семейные сцены, в которых усматривался едва ли не урон старым добрым обычаям и обрядам; иным казалось, что надобно приподнять “падшую” Акбалу, довести ее до руководителя хотя бы уездного женотдела, а изворотливого коварного Танирбергена, наоборот, несколько снизить, окарикатурить, а рецензент одного столичного издательства, ничтоже сумняшеся настаивал, чтобы в романе обязательно было изображено ...национально-освободительное движение 1916 года под предводительством Амангельды Иманова.

Надо было обладать незаурядным мужеством и великим терпением, чтобы не поддаться этим соблазнам и искушениям, отстоять свою точку зрения, следовать той — главной, единственной — правде, которая вытекала не из литературных реминисценций, а из основного реального источника — Жизни. Нужно ли говорить о том, что отстаивать себя, свое художественное видение, свое кредо тоже стоило немалого мужества.

Да, в книге много горя. Да, каждая книга трилогии кончается подлинной трагедией. Но в трагедии этой упорно звучит мотив света, непременно рассеивающего тьму, звучит неколебимая убежденность в том, что “солнце нам еще посветит!”. Так именно думает упрямец, бунтарь Кален, схваченный приспешниками молодого мурзы. “Сшибли, гады! Всех сшибают, кто против них. Ну ничего, погодите! И нам посветит солнце! Раньше смерти и я не умру. На край света загоните — все равно вернусь. Все вам припомним, рыбаков припомним, всю нужду, наших жен и детей припомним! Эх, сшибли меня, плохо, плохо!.. А солнце нам еще посветит!”

Горестно кончается и вторая книга, названная “Мытарства”. Черные, тоскливые думы обрушиваются на Еламана. Думы о судьбе народа. О тяжком прошлом. О беспочвенности многих идеалов, выдуманных предками в утешение. О необходимости повернуть к новой жизни.

Последняя фраза второй книги: “И как тучи в небе, постоянно изменяясь, подбиваемые ветром, мчались все в одну сторону, так и душа Еламана мытарствовалась, ища свой верный путь”.

И все эти картины горести, мытарств Еламана только укрепляют веру в то, что верный этот путь будет непременно найден.

Крушение Танирбергена и танирбергенов есть диалектически закономерное и философски и художественно аргументированное крушение старого мира, есть утверждение нового, к которому такой тернистой, извилистой дорогой, чаще всего наощупь, впотьмах сквозь густой мрак, сознательно и бессознательно, долго и мучительно, ценой неизмеримых потерь и потрясений шли герои романа.

В книге много горьких страниц, горестных судеб. Но она пронизана горячей любовью к человеку. К ней как нельзя лучше относятся слова Кайсына Кулиева:

Никогда не бойтесь горьких книг,
Книг равнодушных и негладких,
Горькие слова правдивей сладких...

До ликующей радости, однако, еще далеко. Далеко и до всеобщего упоения победой. Никто из героев “Крови и пота” не теряет головы, не шалает от взлелеянного в душе будущего счастья. Пройдя все крути земного ада, сполна изведав мытарства жизни, выбравшись на верный путь и обретя ясную цель, Еламан не потерял способности сомневаться и терзаться думами. Слишком много крови и пота, слишком много человеческих жизней стоили Истина и Цель, к которым стремился угнетенный, обездоленный люд.

Еще предстоит на обломках глобального крушения построить новую жизнь. Но она непременно восторжествует. Несмотря на колоритные картины мрака, трилогию венчает жизнеутверждающее мировосприятие. В книге Абдижамила Нурпеисова “Кровь и пот” бьется сердце большого художника, волнующегося за человека на земле.

...Банальная истина: исторический романист опирается на факты прошлого, и подспорьем ему служат и исторические исследования, и мемуары, и философские, и этнографические труды, и музейные экспонаты, и произведения искусства, и предметы домашнего обихода. И часто случается, что это обилие разноликих фактов подавляет самостоятельность писателя: из художника он превращается в заурядного беллетриста. И то — в лучшем случае.

Когда читаешь “Кровь и пот”, не покидает ощущение, что “факты” робеют перед художником, они не выпирают, не лезут назойливо в глаза, не размахивают педантично выверенными ссылками. Может, автор руководствовался сентенцией Сомерсета Моэма, говорившего: “...если факты не соответствуют логике характера, не следует бояться выкинуть факты за борт”? Кажется, автор писал свой роман, совершенно не сверяясь с разного рода историческими материалами, полагаясь всецело — или главным образом — непосредственно на свои богатейшие впечатления и знание жизни. Это и так и не совсем так. Многие годы назад, когда я заговорил с Абе на эту тему, он молча показал мне старую истрепанную и испещренную карандашными пометками карту Аральского моря времен гражданской войны, пожелтевшие записные книжки с конспектами и извлечениями из военных книг, мемуаров и дневников белогвардейцев и каких-то баронов и множество сведений о сражениях, военных действиях.

И все-таки автор прежде всего художественно воспроизвел картину жизни, которая находилась от него не слишком отдаленно во времени и дыхание которой он еще живо помнил. Он, родившийся в 1924 году, жадным детским взором и чутким и любопытным мальчишеским сердцем успел увидеть, запомнить многое — очень многое! — из той реальной жизни и того житейского уклада, из тех человеческих отношений, которые он впоследствии воссоздал на страницах своей эпопеи. Большинство героев имело своих реальных прототипов. Их судьбы были автору знакомы, были прочувствованы и осмыслены; он так глубоко в них вжился, что они стали неотделимы от автора, они стали как бы его собственной судьбой. И потому автор не вышивал беллетристические узоры на исторической — документально

аргументированной — основе, он проник в самую суть истории, познал ее сердцем, художественным чутьем ощутил живой облик истории и проникся ее логикой.

Память — поразительная вещь. Иногда только диву даешься, сколько вмещает в себя одна лишь человеческая жизнь. Особенно в наше бурное, стремительное время в жизни одного поколения случается и случалось столько, сколько с избытком хватило бы на несколько жизней. Однажды Абе с искренним удивлением говорил мне, что у него порой такое ощущение, будто он живет бесконечно долго. Родившись на берегу пустынного Аральского моря, в беспредельной полынной степи, далеко в стороне от больших дорог и многолюдных городов, от цивилизации, в краю, где расстояние между аулами измеряли не верстами, а дневными переходами, автор еще застал, можно сказать, облик старого казахского аула, сполна изведат немудреный быт вековой жизни, весь тот уклад, который еще только-только рушился, видел зримые черты старых нравственно-бытовых отношений едва ли не на стыке двух эпох. Он еще видел осколки того мира, который нынешнее поколение привычно называет патриархальным.

Как давно все это было!..

В детской памяти будущего автора трилогии “Кровь и пот” запечатлелись и рассказы бывалых караванщиков, возивших хлеб из далекого Кунграда, и повседневные будни рыбаков, и утробный стон моря, тяжело маявшегося перед бурей, и скудность домашнего очага, и вечное соперничество двух женщин, вынужденных жить под одной крышей и делить любовь одного мужчины (помните: “две бабы при одном мужике — как две собаки, лакающие из одной лоханки”), и неутешный плач матери, у которой умирал последний — десятый! — ребенок, и многое, многое другое, что ожило на страницах книги и потрясло читателей. А потом были годы коллективизации, годы общего подъема, гордого пробуждения, созидания, были большие перемены в степи. И это крутое время прошло на глазах будущего писателя. Была война, опалившая жизни и души миллионов. И будущий писатель был не только ее свидетелем, а и непосредственным участником. На той войне погибли на поле брани его отец и два брата отца. Демобилизовавшись,

молодой офицер увидел человеческое горе, разруху, подавленных стариков, неутешных вдов, голодных осиротевших детей. Увидел родной край — море, то спокойное и ласковое, мирно подставлявшее могучую грудь под ослепительные лучи знойного южного солнца, то грозное, неукротимое, ревущее, простирающееся от горизонта до горизонта. Увидел родную приаральскую степь, обездолевшую, как бы приунывшую, по которой струился терпкий полынный аромат, как, должно быть, столетия назад, и мчались, озуруя, вперегонки пыльные смерчи...

Жизнь продолжалась, и будущий автор “Крови и пота” жил, работал, учился, обогащаясь разнообразными впечатлениями. А потом были годы пятидесятые, шестидесятые, семидесятые. Неповторимое время, эпохальные события. И однажды в светлый час откровения Абе, вспоминая вроде бы давным-давно прошедшее, на мгновение взглянул на прожитое как бы со стороны, отстраненно и в изумлении воскликнул: “Как все-таки долго живет человек! Ведь я еще помню...” И он, перечислив какие-то события, которые и впрямь будто могли быть только в ином мире, в иное время и уже потому вызывали невольную улыбку, еще раз поразился: “Надо же... а я все живу!” И это действительно поразительно, если иметь в виду, что автор знаменитой трилогии совсем не глубокий старец. Но это вполне понятно. Такое, вероятно, случается со многими. Ибо эти прожитые годы были столь насыщены событиями и потрясениями, были столь плотны по динамизму и нервной, душевной энергии, что художнику, действительно может почудиться, что он прожил долгую-долгую жизнь, которая зачастую и не воспринимается вовсе как прошедшее, настоящее, будущее, а кажется нерасторжимой, неразрывной цепью Времени, единого, неделимого, без начала и конца.

Я говорю обо всем этом так подробно потому, что пытаюсь как-то выявить корни и объяснить реалистическую достоверность и огромный эмоциональный заряд исторической трилогии “Кровь и пот”, “историзм” которой зиждется не столько на книжных и документальных источниках, а прежде всего на живых впечатлениях, художнически прочувствованных и осмысленных, на той реальной, живой жизни, вошедшей в плоть и кровь автора за — как ему кажется — бесконечно долгие-долгие годы бытия.

“Монблан фактов” (Маркс) и эрудиция, гармонически сливаясь, срастаясь с художественным вымыслом, с фантазией, достигли в этой трилогии вершины подлинного историзма. В. Г. Белинскому принадлежат слова: “Исторические факты, содержащиеся в источниках, не более как камни и кирпичи: только художник может воздвигнуть из этого материала изящное здание”.

Камни и кирпичи фактов не выпирают в здании романа своей шершавой первозданностью, а достигают органической цельности, и потому книга не воспринимается как беллетризованное чтиво на определенную историческую тему, на тот или иной факт истории. Она несравненно больше, чем художественное воспроизведение прошедшей жизни, она сама жизнь, и ее герои и их судьбы, и страсти, и дерзость человеческого духа, о которой упоминается в эпиграфе к трилогии, столь близки и понятны всем племенам и народам на земле, что не надо быть пророком, чтобы утверждать, что книге Абдижамила уготована долгая жизнь. Она — его главная книга. Книга, запечатлевшая облик времени. И мировоззрение художника.

Как круги от камня, брошенного в воду, все шире и шире разворачиваются события в романе. Горизонт видения и действия неумолимо раздвигается, расширяется. Вот так — крутообразно — развивается все в трилогии — все шире и все глубже. Таков метод познания мира. Таков композиционный принцип эпоса.

Вспомним: действие начинается куда как локально — в тесной, темной, захлавленной землянке Доса, куда, задыхаясь, вбегает сухопарая, возбужденная Каракатын. Потом мы уже видим другие землянки, весь рабочий аул на круче, на самом ветру, потом — залив Бел-Аран, степь, открытое море, далекие города.

И думы рыбаков вначале немудреные, узкие — об очаге, о котле, о сетях, о рыбе. Это уже потом, пройдя через мытарства, Еламан задумывается о прошлой и настоящей судьбе народа. “Ни одним делом своих предков он не был доволен. Немногочисленный народ захватил огромные земли, но что он выгадал? Широки были земли, но широки ли были думы и дела народа? Тяжбы, споры о земле за многие века подточили силы, породили междоусобицу, и теперь презирают и угнетают этот народ все, кому не лень”.

И представление о мире было у рыбаков вначале скудным, ограниченным, расплывчатым. Большая жизнь проходила стороной от аула на круче. Однако и в эту забытую Богом глушь начинают со временем просачиваться неведомыми путями вести о больших событиях. И здесь со временем начинают ждать перемен. Сквозь стоны ревушего моря докатывается гул приближающихся социальных бурь.

И к простой истине, что одному нельзя, одному худо, что нужно жить сообща и бороться сообща, вместе, герои романа приходят через немалые лишения и испытания.

Даже петь хором предстояло еще научиться. В “Мытарствах” есть выразительная деталь: черная старуха, пригласившая к себе рыбаков, впервые услышала, как поют хором. “В ее краю не было такого обычая. Сколько бы народу ни собралось на пир, на поминки или на рождение ребенка, пели всегда в одиночку, редко когда вдвоем или втроем. А эти рыбаки пели все сразу, и хорошо пели”. Петь хором в данном случае оказалось одним из путей к единству, к общности.

Так открывался мир перед забитыми, обездоленными рыбаками. “В маленьких душных домах кипели маленькие страсти”. От маленького стихийного протеста рождался протест большой. Рождалось народное восстание, слившееся с Революцией.

Таков был путь откровения. От убогого мирка землянок до беспредельного мира страны. От дум о крохотном очаге до забот обо всем народе. От одинокой песни до могучего хора. От слабого протеста до очистительной революции.

Так развиваются события. Так построена трилогия. И благодаря этому композиционному приему автор достиг вершины художественной правды, добился убедительности и огромного эмоционального заряда.

Пятнадцать лет трудился писатель над трилогией “Кровь и пот”. И как трудился! Самозабвенно, неистово, пренебрегая житейскими соблазнами, не щадя сил и здоровья, мужественно борясь с болезнями, которые в период работы над второй и третьей книгами преследовали его с какой-то особой лютостью. Третья книга была им вообще написана на каких-то клочках и листах малого формата по той простой причине, что на обычного размера бумаге несподручно

писать в постели. Сколько раз тогда, устало откидываясь на подушку и растирая онемевшее плечо, автор с горечью говорил: “Надо же... и здоровья Бог не дал”.

Его упорство в работе той поры меня иногда поражало. Нетерпение и творческая страсть поглощали его целиком. Помню, как по его настоянию я пришел к нему в госпиталь. Абе только что привезли с операционного стола. Он лежал бледный, осунувшийся, с запавшими глазами, стонал, корчился от боли, но и в таком положении мы поработали вместе полтора часа, сличали подстрочный перевод с оригиналом, пока не вошел хирург, прощупал больному пульс и, укоризненно покосившись на меня, потребовал прекратить работу. Тот день описан в моем дневнике — 5 марта 1970 года.

Помню, как при мне писал он своей французской переводчице Лили Дени о том, что он был на войне, но не совершил геройства и до сих пор не представлял, что это такое. Но теперь, когда он, больной, почти прикованный к постели, закончил все-таки третью книгу, он может без ложной скромности сказать, что совершил нечто похожее на геройство. Сейчас, вспоминая во всех деталях всю обстановку, в которой писалась третья книга, и физическое состояние автора тех лет, я прекрасно понимаю весь глубинный смысл этого простого человеческого признания и цену слов про “нечто похожее на геройство”.

Его работа над трилогией почти с самого начала прошла на моих глазах, и я могу засвидетельствовать, что нет главы, абзаца, предложения, которых Абдижамил не переписывал бы десятки раз. Даже когда трилогия разошлась уже многомиллионным тиражом да еще на разных языках, он все еще всерьез работал над ней, дописывал новые сцены и целые главы, отрабатывал детали. Он абсолютно убежден, что искусство слова беспредельно и что любую фразу всегда можно сделать лучше, выразительней, точнее. Кем-то замечено, что искусство писать — это искусство вычеркивать. Если это так, то Абдижамил в полной мере обладает этим даром. Порою кажется, что ему доставляет большее удовольствие зачеркивать и переделывать, нежели писать. Его не покидают сомнения, что что-то он сказал не так, или не совсем так. И в этом своем стремлении к совершенству он упорен и упрям. Приблизительность в

языке, небрежность его всегда раздражают. У него нет склонности к эффектной игре слов, к рифмам внутри предложения, столь свойственным устной казахской речи, что, вероятно, идет от фольклора, к искусственным словообразованиям, к обветшалым архаическим выражениям, к холодному эстетству, к ярким, броским украшениям, к изысканной цветистости. Он нетерпим к показной красивости фразы и безжалостно разрушает ее, даже, кажется, нарочито огрубляет ради естественности и доступности, ради реалистической простоты. Он не расцветчивает, не раскрашивает, не занимается лакировкой. С годами это становится все явственней. Выражения типа “призма души”, еще встречавшиеся в “Курляндии”, у “позднего” Нурпеисова совершенно исключены.

Работал Абе над книгой иступленно и все эти годы жил как бы в двух измерениях — с героями своей трилогии и в повседневной своей, реальной жизни. Приведу несколько записей из моих дневников разных лет.

“У меня тайна, никому не говори. Хочу к первой книге добавить страниц пятьдесят о восстании 1916 года”.

“У меня идея: разработать сцену встречи Акбалы и Кенжекей. Но сейчас нет времени; потом, когда кончу книгу, придумаю что-нибудь, странички две, или одну, но насыщенную. Ты тоже думай. Если что-нибудь дельное придет в голову — скажи”.

“Объяснив, что “така”—это “өкше” (каблук), Абе прочел все предложение: “Кезінде бір қара беріп тіккізген етіктің биік тақасы баскызбай келеді”, задумался, вслух прочел еще раз и судорожно схватился за ручку. Зачеркнув “етіктің”, написал “мына адыра қалғырдын” и еще раз прочел, явно довольный. Потом поговорили о том о сем, а когда он вышел и подошел почти к машине, вдруг обернулся и крикнул мне, стоявшему на балконе:

— Поставь-ка перед “эти проклятые”, пожалуйста, “и”.

Мелочь? Ну да, наверное. Что значит для предложения одна усилительная частица? Но память подсказывает фразу из письма Горького А. В. Луначарскому: “Вы, дорогой товарищ, извините меня за придирчивость и не думайте, что это мелочи — язык никогда не мелочь”.

“Пьем чай, беседуем о каких-то литературных новостях и вдруг посреди разговора — ни с того ни с сего — Абе спрашивает:

— Слушай, а понятно, что жена ушла от молодого Рошаля?

Я его успокаиваю, конечно, мол, все вполне ясно. Однако

вечером, перед сном, он подходит к моей постели и смущенно говорит:

— Знаешь, что? Давай-ка добавим в письме матери одну фразу: "...удрала с одним пройдохой", а?

Утром, проснувшись, первым делом спрашивает:

— Слушай, а как получился Танирберген? Убедительно ли?"

"Абе болен. Лежит в постели, обложенный листками, что-то пишет. В кабинете на кушетке, на столе, на стульях, на полу кипы и вороха каких-то желтых, полуистлевших бумажек — заготовки, записи, материалы для третьей книги. Черты характера студента-сокурсника пригодятся для образа Благонравова. Выписка из дневника какого-то царского генерала — пригодится для образа Рошалья. Описание внешности старого, изможденного человека, встреченного на улице, — пожалуй, подойдет для Дьякова... Чувствуется: Абе живет жизнью своих героев..."

"Еще раз пришлось мне убедиться в том, как постоянно живет Абе своей книгой. Вот задумал он — три года назад — добавить солидный кусок к первой книге. Этот кусок должен яче выде-лать Калена, еще с одной стороны показать Мунке и Каракатын. Урывками, спеша (ибо как раз некстати обрушилась уйма житей-ских забот), измученный усталостью и обострением застарелой болезни, он пишет эти страницы, привозит их мне по 4, по 5—6 страничек в клетку, исчерканных вдоль и поперек, вкось и вкривь, и все время нетерпеливо спрашивает: как получилось, верно ли, нужно ли? Мне тоже еще не все ясно и потому отвечаю нехотя, вяло, и это его волнует, еще больше наполняет сомнениями, тревожит. Он просит, чтобы я постарался, перевел получше, подумал, вдруг придут в голову более точные детали. Он говорит об этом дома, и в машине, и на даче, и на улице, в беседке, и постоянные сомнения не покидают его. Ведь — шутка ли?— книга разошлась уже трехмиллионным тиражом, его и так руга-ют за то, что он без конца переделывает.

Потом, после того, как мы по обыкновению вместе просматри-ваем подстрочный перевод, он вроде успокаивается, говорит еще о двух эпизодах, которые он непременно перепишет, переделает, и тогда уже все, да, да, не улыбайся, все, пусть судят, пусть казнят, он сделал все, что в его силах, он иссяк, и, стоя на балконе, он все повторяет известную поговорку: "Істеп тастадым бір істі, Алла онғарсын бүл істі" ("Дело мною сделано, да благо-словит его Аллах"). Совесть его чиста, и он не будет торопиться, пусть издание трилогии отодвигается на год, он издательству все объяснит, зато заново напишет сцену с ружьем, а заодно и то место, где байбише выгоняет Акбалу".

“Еще два дня совместно работали над главой о Калене. Многие страницы моего перевода он переписал заново. До этого над этими же страничками он работал два дня с С. Санбаевым. Теперь, снова тщательно сверяя с оригиналом, перебирая варианты, пережевывая каждое слово, выцеживали из моего, Санбаева и Абе переводов лучшее, вернее, “то, что ложится на душу”. Таким образом, над трижды переведенными и трижды отредактированными двадцатью страницами просидели еще два дня. А ведь потом над этим же текстом будет еще работать Юрий Казаков — художественный переводчик!

— Интересно,— заметил я.— Сколько энергии затрачено Вами за все эти годы на “Кровь и пот”? Пожалуй, будет маленькая электростанция, а?

Он засмеялся:

— Ой, айтпа! (Ой, не говори”).

“Зашел на днях к Абе. Он был в подавленном, удрученном состоянии. С утра прочел написанные куски нового романа и вдруг понял: так писать нельзя. Вяло. Утомительно. Нечитабельно. Всю часть — более ста страниц — надо писать заново, по-другому. Но как? Как?! Невероятно трудно стало писать прозу. Вот принял за “Сто лет одиночества” Габриэля Маркеса. Здорово, конечно. Но его это не вдохновляет. Другая природа, другой, так сказать, психологический и творческий склад. Потом он показал свои бесчисленные исправления к последнему изданию “Кровь и пот”. Говорил о том, что непременно сократит батальные сцены, углубит, расширит линию Танирбергена, добавит какие-то штрихи к образам Акбалы и Еламана...

Сегодня я вновь зашел к нему. Он лежал в постели и вносил на поля романа правку. Серьезный. Сосредоточенный. Увлеченный. Рядом, на полу, лежала рукопись нового романа “Ночь на льдине”.

“Абе показал мне толстый том трилогии (издания 1976 года), весь испещренный переделками и редакциями. Особенно много поправок в конце. “Об Еламани я все сказал. А к Танирбергену и Акбале кое-что добавлю. Углублю. Некоторые мелкие главки вообще уберу, заменю кое-чем другим. Но... все это я сделаю потом. Для этого мне нужно сначала закончить “Льдину”...”

Рядом лежал “Долгожданный день”, третье издание. И здесь в начале много правки”.

“Как-то раз я позвонил Абе, чтобы поделиться своей радостью по поводу одного грузинского фильма. И почувствовал, что у него взволнованный голос. “Что стряслось?”— “А, знаешь, по-моему, Упрямый Кошен, который вечно пятится назад,— это я и есть. Вместо того, чтобы писать новое, я только и делаю, что правлю

старое. Помнишь сцену, где говорится о землянках Калена, Еламана, Судр-Ахмета? Неплохо вроде написано. А я сегодня это место переписал, углубил. Кажется, здорово получилось! Сколько у человека возможностей, а?!"

...Было бы, вероятно, любопытно проследить, как рождается и постепенно оживает, совершенствуется фраза под пером Абдижамила. Между первоначальным наброском и окончательным вариантом ее почти всегда — дистанция огромного размера. В бумагах Абе, однако, немного черновиков. Чаще всего, переписав, он их тут же уничтожает. "Мне становится как-то не по себе, когда на столе слишком много клочков", — не раз говорил он мне. В процессе работы над трилогией было уничтожено и немало эпизодов, сцен, отрывков, художественно законченных и тщательно отредактированных. Сколько было выброшено уже переведенных на русский язык кусков, над которыми мы вдвоем корпели по нескольку дней! Моя рациональная душа каждый раз, бывало, ныла при виде загубленного труда. Но таков Абе. Такова его творческая манера. В творчестве он безжалостен и к себе, и к другим.

Здесь, пожалуй, уместно рассказать о требовательности Нурпеисова к переводу. Я полностью разделяю все его основные принципы в этом сложном деле, более того, мои представления о природе художественного перевода сложились под его непосредственным влиянием, хотя в конкретных частностях не всегда с ним согласен, не разделяю его подозрительного, нетерпимого прямо-таки отношения к отдельным русским словам и выражениям, не убежден и в том, что каждое предложение, переведенное мною или другими, именно он, достопочтенный Абе, самолично должен по многу раз переписывать, перекраивать на свой лад и вкус. Убежден: нет более страшного испытания, чем работать с Абе. Своим упорством, своей непостижимой требовательностью и умением часами сидеть над одним словом он может привести в ярость, в бешенство, в иступление самого тихого, кроткого, покладистого человека. Я знаю: с ним пытался работать с добрый десяток людей, многие спасались бегством на второй, третий, пятый день совместной работы, и уже через годы вспоминают о том, как об ужасе, о пытке. За несколько дней работы с ним чувствуешь себя

измочаленным, истерзанным, раздавленным. При этом он и себя не щадит. Сколько раз, истязая друг друга в бесплодных спорах и поисках каких-то упорно ускользающих от нас эквивалентов, мы, доведенные до крайнего предела раздражения, наговаривали друг другу кучу дерзостей и обидных слов, расходились по комнатам, по домам, кляня наше бессилие и удел мученического труда, именуемого переводом, чтобы на другой день снова сесть рядом, врубаясь в неподатливый текст оригинала, продвигаясь слово за словом, предложение за предложением вперед.

К чему стремится автор? К уважительному отношению к оригиналу, к максимальному воспроизведению всех его тонкостей и нюансов.

О, как это непросто!

Приведу несколько записей из моего дневника, характеризующих нашу совместную работу над переводом.

“Абе долго смотрит в русский текст, жует губами, хмурится, ерзает, и я застываю, думая про себя, что же он такое там нашел. Наконец после длительного раздумья он спрашивает:

— Этот “ты” нужен?

— Ой, алла-а-ай!— говорю.— Если свет клином сошелся на этом несчастном “ты” — возьмите и вычеркните.

— Да,— облегченно, словно приняв важное решение, замечает Абе и яростно вычеркивает “ты”.

Потом раза два очень медленно читает все предложение, надувает губы, думает, думает, зевает, снова читает, смотрит, смотрит, смотрит, смотрит и говорит:

— Нет. “Ты”, оказывается, нужно!

И пишет на полях “ты”.

Потом он спотыкается на слове “хлеборобы”, и, подумав минут двадцать, заменяет его на “рисоводы”. У меня начинают гореть уши. Еще полчаса каждый в отдельности и совместно мы читаем предложение, в котором говорится, что “нескладная, длинная от заходящего солнца тень, передразнивая все твои движения, переломившись, тоже сганула вместе с тобой через яму”.

— Давай заглянем в оригинал,— предлагает Абе. Он выразительно, плавно, испытывая явное удовольствие и радость, читает казахский текст и вдруг испуганно говорит, бледнея:

— Ой, так ты же вот это слово пропустил!!!

Слово, на мой взгляд, так себе, да еще в русское предложение никак не лезет. Но автору выбросить его жалко. Мы начинаем любой ценой впихивать его в перевод.

После этого Абе читает русский текст, читает нудно, врасстяжку, спотыкливо, с ужасными ударениями, с жуткой интонацией, мучительно позевывая, и при этом морщится, будто то, что он сейчас читает, по сравнению с оригиналом — сущий кошмар.

“Абе долго думает, и вид у него несчастный. И я молчу. И вдруг он спрашивает:

— Ну, так как напишем? “Все же” или “все-таки”?

— А-а... мне все равно,— отвечаю, сдерживаясь.

— Да-а... “Все же”... “Все-таки”... А? Что лучше?”

“Абе долго смотрит в бумагу и читает.

— С тех пор, как начальство... э-э-э-э-э-э...

Пауза.

— С тех пор, как начальство... а-а-ааааа...

Пауза.

— С тех пор, как начальство... и-и-инииии...

Пауза. Я начинаю ерзать.

— С тех пор, как начальство... хм-мммм...

Пауза. Я невольно поднимаюсь. “Боже, над чем он думает?”

— С тех пор, как начальство... о-о-ооооо...

Пауза.

— Слушай! А что, если мы поставим впереди “и”?!

— И? Ну, пусть будет “и”... Если вам так угодно...— голос мой отчего-то дрожит.

— Да! Вот слушай! “И с тех пор, как начальство...” Другое дело!”

“Иногда я Абе не понимаю. Порой ему мерещится пластика там, где, на мой взгляд, ее и в помине нет. Я охотно соглашусь с тем, что по части пластики сильно хромаю, но не могу согласиться и с тем, что если вместо “Что?”— спросил он”, написать: “А?”—спросил он”, то мы и будем иметь эту самую пластику.

Абе думает иначе.

Сегодня мы напрочь застряли на предложении со словом “самбырлап”. Так и не нашли эквивалента”.

“Уткнувшись в страницу перевода, Абе без конца бормочет.

•“Одно лишь... Только лишь... Лишь одно... Лишь только... Только только... только...”

Известный казахский писатель, член-корреспондент АН Казахской ССР Зейнолла Кабдолов как-то заметил, что Нурпеисов уже не довольствуется смысловым значением и

зрительным образом слова, а проверяет его на слух, подгоняя, подбивая слова по созвучию. В шутовском образном представлении З. Кабдолова совместная работа Нурпеисова и автора этих строк над переводом протекает так: переводчик подает романисту русское слово; тот берет его кончиками пальцев за хвостик, подносит к уху, встряхивает его, прислушивается к звуку и, морщась, отбрасывает в сторону. Переводчик тут же выдает другое слово. Автор, опять схватив его за кончик, подносит к уху, вслушивается в звон, и снова отшвыривает. Переводчик подает третье, и автор вновь вслушивается. “Нет, не пойдет”... “Не to!”, “Не годится!”

И так без конца.

Разумеется, это шутка, образная картинка, но есть в ней большая доля истины.

Читателю это может показаться смешным. Но переводчику и автору при такой работе не до смеха. Может, это имеют в виду, когда говорят о муках слова... Не знаю... Но очень обидно, когда результат не соответствует этим мукам. А это ведь случается чаще всего. Повторяю: трудно мне назвать хотя бы одно предложение из произведений Нурпеисова, которое зазвучало бы по-русски без личного участия или вмешательства самого автора. Такое активное вмешательство автора в перевод в состоянии вывести из равновесия не только переводчика, но самого кроткого ангела. Не стану утверждать, что это всегда благо. Более того, склонен считать, что излишняя активность и усердие автора в переводческом деле в иных случаях сыграли медвежью услугу и дали обратный эффект. Вопрос щепетильный. Вот мнение на сей счет Р. Уинстона (США): “Исходя из собственного опыта”, могу сказать, что, если писатель знает тот язык, на который его переводят, он вряд ли может оказать помощь, скорее вредит, вмешиваясь в работу переводчика... то же самое и в переводах на английский. Прекрасный писатель, автор талантливого произведения, тонкий стилист, знающий английский, в таком содружестве превращается в сущего маньяка”. (“Иностранная литература”, 1979, № 4). Ну, насчет маньяка сказано, положим, излишне сильно и категорично, но в мысли этой некая истина все же заключена.

В трилогии “Кровь и пот” есть несколько человеческих типов, которые являются открытием в казахской литературе. И у Еламана, прошедшего через все пути мытарства в своем духовном становлении, и у неукротимого, бесшабашного Калена, и у Акбалы с ее неудавшейся женской судьбой, и у по-своему самобытных, колоритных фигур рыбаков Доса, Мунке, Рая, и у многих других героев трилогии есть, пожалуй, немало духовно родственных собратьев в нашей многонациональной литературе. Эти образы при всей своей индивидуальности, своеобразии, несхожести судьбы и жизненного пути все же вызывают у читателя определенные ассоциации с другими известными литературными персонажами и предоставляют возможность для сравнения, сопоставления, широких обобщений. Но такие нурпеисовские герои, как Судр-Ахмет, Каракатын, старик Суйеу — психологические и социальные типы огромной обобщающей силы, зорко подмеченные и выхваченные из жизни, вылепленные художественно ярко и убедительно, не имеют на мой взгляд, аналогов в казахской литературе. Думаю, что их также трудно сопоставлять с какими-нибудь образцами мировой литературы. У них глубокие социальные корни; они — порождение специфической среды и особого уклада жизни.

Иные критики охотно сопоставляют нурпеисовского Судр-Ахмета с шолоховским дедом Щукарем. Очевидно: это поверхностное сопоставление, основанное на каких-то схожих внешних приметах, на балагурстве, зубоскальстве, уместном и неуместном комиковании. Смею, однако, думать, что его, Судр-Ахмета, комичность вредна и опасна. Конечно, поступки и слова их вызывают у читателя смех, но смех этот разный, у него иные истоки, иная природа. Над проделками деда Щукаря можно безобидно посмеяться, весь его облик вызывает добродушную улыбку, и по натуре своей этот дед-балагур совершенно безвредный, незлой, по-своему даже добрый, верный, преданный.

Судр-Ахмет — не просто тунеядец, баламут, трепач и хвастун. По своему психологическому генезису он — отвратительное порождение социального зла. Зла, которое пустило глубокие и крепкие корни в прогнившем патриархально-феодальном обществе. У него даже внешность отталкивающая. “Во всем его облике не было ни одной

правильной черты, весь он был несоразмерен. Везде, во всех чертах его лица или чего-нибудь не доставало, или что-то было лишнее. Бритая до синевы голова его была заострена кверху и походила на воробьиное яйцо. Огромные, прозрачные, как рыбий пузырь, уши оттопыривались. И еще странность была в этих ушах — они двигались! Они настораживались на звук, даже слегка поворачивались в ту сторону, откуда был звук, или обвисали, совсем как у зверя”.

Портрет отнюдь не располагает к смеху, не правда ли? Есть что-то нелепое в его худом, извивающемся хорьковом теле, что-то зловещее во всем его облике. Где бы он ни был, что бы ни делал, он всюду мелко пакостит. Угодничает, суется, лжет, стравливает людей, двурушничает, наговаривает и при этом мнит из себя почтенного человека, аульного аксакала, кичится своими мнимыми достоинствами и заслугами, хорохорится, измывается над женой, детьми, источает бесконечный словесный гной.

Из его мелких пакостей образуется большое зло. Все его откровенно презирают, однако, с ним приходится мириться. Он сам похож на болезненный гнойник, который поневоле приковывает к себе внимание. Убежденный паразит, живущий лишь сегодняшним днем, привыкший ублажать лишь свою мелкую поганую душонку, он обладает незаурядным хамелеонским даром приспособливаться к любой среде ради своей корысти и ухитряется при этом, точно накупить, всегда быть на виду.

Метко его прозвали Судр-Ахметом, Судыраком. И хотя по смыслу эта кличка означает болтун, трепач, словоблуд, по своему лексическому значению и фонетическому звучанию она значительно шире. В этом “С-с-судыр, “С-с-судыр-р-рак” слышится шелест иссохшей сорной травы, журчание сточной воды, шипение и свист гадюки и еще — людское презрение.

При всей своей ничтожности и никчемности Судр-Ахмет поразительно живуч. Он больше чем определенный человеческий тип. Он, пожалуй, нравственно-психологическое, общественно-социальное явление. Явление уродливое, вредное и одновременно многоликое. Явление, которое правомерно называть судр-ахметизмом. Явственные и искусственно

завуалированные черты этого явления едва ли не повсюду сопровождают прогресс. Автор трилогии “Кровь и пот” сумел его увидеть и выразить в образе Судр-Ахмета, однако, сам Абе считает это явление столь сложным и многоликим, что уже многие годы всерьез размышляет о нем, лелея в душе трагикомическую драму под возможным названием “Судр-Ахмет”.

...Из беседы с Абе:

“Судр-Ахмет — вовсе не продукт одной формации. Он паразит. А паразитизм был и есть во всех общественных формациях. Та или иная форма паразитизма будет существовать всегда”.

Таким же порождением прогнившего патриархально-феодального уклада является и Каракатын. “С Каракатын что взять, — думает Мунке. — Глупая, вздорная баба”. Вздорная? Конечно. Но это слишком мягко сказано. Ни одна сплетня не проходит мимо нее. Более того, она сама их искусно рождает, раздувает, распространяет. Она вся пышет и исходит злобой. Всё и все ей постылы. По натуре она деятельна, неумна, обладает взрывным, неуправляемым характером. Но вся ее деятельность и неумность всецело подчинены злу. Она вобрала в себя все отвратительные черты патриархального уклада, изуродовавшего и ожесточившего женскую душу, подавившего, вытравившего доброе человеческое начало в ней. Она — будучи порождением зла — теперь сама везде и всюду творит зло. Дело вовсе не в ее гнусной и сварливой бабьей сути. В ней воплотилось уродство жизни. Беспросветная жизнь, одуряющая нищета, бездуховность и убогость домашнего очага превратили ее в нравственного и физического уродца, и теперь полная мести, злобы, глухой ярости, она сама уродует все вокруг, не жалея ни близких, ни свекровь, ни дочь, ни мужа, ни его друзей, ни себя. В ней бурлит злая, разрушительная сила. Она не только Каракатын — Черная баба, у ней и душа, и все помыслы черные. Она — само исчадие мрака.

Над этими двумя низменными и гадкими человеческими существами гордо возвышается неприступный, непреклонный образ старика Суйеу. Здесь уместно вспомнить, что в казахской литературе создана огромная и богатая галерея

колоритных стариков — мудрых, степенных, щедрых душой и сердцем, благочестивых, благородных и многоопытных, являющихся надежной опорой и защитой нравственной силы народа, воплотивших в себе лучшие черты национального духовного облика и самосознания. Но абдижамилевский Суйеу, красноглазый, с козлиной бородкой, с белыми ресницами, упрямый старик, восседающий прямо, как кол, и время от времени фыркающий гневно и яростно, заметно выделяется в ряду этой галереи литературных образов.

У Суйеу нет ни власти, ни богатства. Он обладает лишь щедрой душой, суровым нравом, строптивым характером. В суждениях и поступках он прям и беспощаден. Бедняки его побаиваются, но глубоко почитают. Богачи его боятся и откровенно ненавидят. Язык его как жало. В сухом, тщедушном теле старика обитает могучий, непокорный дух. Он весь сотворен из горячей крови, обнаженных нервов и неумейной ярости. Он непримиримый враг чванства и высокомерия, лицемерия и фальши, корыстолюбия и всего показного, неискреннего, суетливого. И в этом его сила. В этом его человеческое достоинство. Клокочущая ярость выражается в нем в частом ядовитом хмыкании, в пронизывающем, всевидящем взгляде.

Старец Есбол, единственный, которого “вредный старикашка” Суйеу почитает в родном краю, с горечью размышляет: “Что за человек! У этого дьявола, видать, и души совсем нет!” Но душа-то как раз у него есть. Душа большая, израненная, — нежная. По-отечески любит он Еламана, души не чает в своем несчастном внуке. Однако с диким упрямством скрывает и свою нежность и свою любовь.

У Суйеу обостренное чувство справедливости. Ради этого чувства он не идет ни на какие компромиссы, отвергает все посулы богатеев, совершает дерзкие, безумные с точки зрения житейского благоразумия поступки, прекрасно сознавая, что они принесут и ему, и его единственной любимой дочери много горя.

Речь его — под стать крутому нраву — резка, отрывиста, напориста. Он говорит, будто камчой хлещет. Напомним, к примеру, сцену, где Суйеу узнал о том, что Акбала пошла второй женой за Танирбергена. “Кровяные глаза его

стали вылезать, кадык на худой шее дергался, пальцы бегали по рубашке, будто ему было душно.

— Что это такое, а? Нет, что она мне говорит? А ты разве видала, чтоб за гулящей сучкой не бегали кобели? К чему это ты мне говоришь? А? Что это? Дожив до возраста пророка, я с палкой должен бегать за кобелями? А? Отгонять их от своей гулящей сучки? Эй, эй, хрычовка, что это за издевательство? А? А?”.

В хилой, старческой груди Суйеу бьется большое, болью истерзанное сердце.

Я вовсе не хочу сказать, что образы Судр-Ахмета, Каракатын, старика Суйеу — лучшие в романе. Отнюдь. Есть в трилогии десятки образов не менее колоритных, искусно, ярко выписанных и несравненно более значительных по идейно-смысловой нагрузке и художественной и философской насыщенности. Однако — повторяю — и Еламан, и Акбала, и Кален, и Мунке, и Кудайменде, и даже Танир-берген имеют своих близких и далеких “родственников” и в казахской и в мировой литературе. А эти трое, о которых я говорил выше, кажутся мне принципиально новым типологическим явлением, зорко выхваченным писателем из гуши народной жизни и достоверно отраженным в художественной литературе.

Из дневника:

“Говорил Абе и о том, что Судр-Ахмет и Суйеу в русском переводе все-таки проигрывают, что многие тонкости их поведения и речи не переданы, не получились...”

Сейчас мне вдруг подумалось: а может, я слишком пристрастен и к Абе, и к его творчеству, и к его героям? Но что делать? Нелегко быть беспристрастным (да я и не хочу этого), когда два десятилетия находишься почти всегда рядом с писателем, просидел с ним бок о бок бесчисленное количество дней и ночей за одним столом, знаешь его окружение, близких и родных, его друзей, слабости и привычки, и многое-многое другое и мог бы рассказать значительно больше, чем сказано в этих нескладных записях, знаешь и видел многих прототипов, успел узнать и полюбить его край, его родной Арал, когда он еще был во всей красе и могуществе, и бурые приаральские степи...

Да-а... те дивные два месяца, летом 1964 года, на берегу древнего Арала, у тихого залива Туши-бас, навсегда остались в памяти. Мы славно поработали, славно отдохнули, а самое главное — я воочию увидел и почувствовал тот удивительный край, так ярко, так любовно описанный и воспетый писателем в трилогии. Возвращались мы в город Аральск уже сушей, на двух бойких “газиках”, одолев по фантастическому бездорожью, по выжженной степи, изрезанной оврагами и буераками, более четырехсот километров пути, и я увидел знакомые по описаниям в книге места, где герои Абдижамила ловят рыбу, пасут скот, любят, женятся, умирают, сражаются за лучшую долю на своей благословенной, щедро политой кровью и потом предков земле. Позже то, что я там увидел и перечувствовал, я описал в двух рассказах — “У залива Туши-бас” и “За шестью перевалами”.

...Много глубоких мыслей высказано, много прекрасных слов сказано о трилогии “Кровь и пот” в предисловиях, послесловиях, статьях Луи Арагона, Ч. Айтматова, С. Баруздина, Ю. Казакова, Л. Теракопьяна, В. Оскоцкого, З. Кедриной, В. Владимирова, А. Устинова, И. Омарова, М. Каратаева, Ш. Елеукенова, С. Кирабаева, З. Кабдолова, А. Кекилбаева и еще нескольких десятков именитых литераторов.

Статьи, исследования, отзывы о творчестве Абдижамила Нурпеисова, собранные вместе, составили бы наверняка, не один том. И, вероятно, для полноты творческого портрета писателя нелишним был бы и такой библиографический обзор. Однако, учитывая, что я все же пишу этюд, а не научную монографию, ограничусь здесь лишь тремя цитатами, принадлежащими выдающимся писателям.

Луи Арагон (Франция):

“Таких увлекательных книг, как роман “Сумерки”, в последнее время было мало; “Сумерки” Нурпеисова можно сравнить с самыми большими произведениями современной литературы, будь то американская, французская или же другая”.

Аугуст Видаль (Испания):

“Трилогия написана в классических традициях русской прозы — эпический размах, глубина изображаемых событий, вереница разнообразных персонажей и художественное мастерство —

и заставляет вспомнить “Тихий Дон”. Вероятно, можно сказать, что Нурпеисов в определенном смысле—Шолохов казахской литературы”.

Чингиз Айтматов (СССР):

“Давно уже читаю я книги Нурпеисова, давно влюблен в его талантливую, добротную прозу, многому у него научился, много раз говорил с ним, но всякий раз, встречаясь с ним, как бы заново открываю его для себя. Как человек, как собеседник, он всегда глубок, мудр и сдержан. Таков он и в своем творчестве”.

А сколько было читательских писем и откликов! И они составили бы интересную главу большого исследования.

Мог бы, пожалуй, и я еще немало рассказать об этой славной книге и ее авторе.

Ну, к примеру, о том, как — между прочим — когда-то это произведение было задумано как тетралогия, и действие романа доводилось в задумках автора до времен коллективизации, и Еламан мыслился в качестве председателя колхоза (“Шолақ кол баскарма” — “Однорукий баскарма”), и автор, задумчиво глядя на могуче возвышавшийся напротив залива Бел-Аран, рассказывал мне любопытные эпизоды из этой так и несостоявшейся книги.

Был задуман, помнится, такой эпизод. Уже в тридцатые годы, отбыв ссылку, возвращается в родные места заметно состарившийся Танирберген. И вместе с одноруким председателем колхоза Еламаном они отправляются на охоту. Между ними происходит знаменательный разговор — осмысление прожитого, пережитого...

Еще я мог бы рассказать о том, как роман А. Нурпеисова любим в ГДР, где его великолепно перевел на немецкий язык Вильгельм Плакмайер, как восторженно писали о трилогии известные критики Лео Кошут, Ральф Шредер, Герлинд Кёниг, Петер Кирхнер, какие были отклики в журнале “Нойе Дойче Литератур” и газетах “Нойе Цайт”, “Нейер Таг”, “Остзее-Цайтунг”, “Дер Гайстфаден”, о необыкновенно теплой, доверительной зарисовке Иоахима Новотного, озаглавленной “Если я однажды окажусь в Алма-Ате...” и опубликованной в газете “Нойес Дойчланд” (12 апреля 1973).

И еще я мог бы многое поведать о литературных эссе, статьях и очерках Абдижамила, которые составили солидные книги “Раздумья”, “Все в нем пело”, четвертый том собрания сочинений; о том, какое он придает им значение, как трудно они писались, сколько раз переписывались и переделывались, о том, как в них блестяще раскрылась еще одна сторона его художественного дарования.

Мог бы рассказать еще и о том, как сам автор относится к своим удачам и неудачам, о его сомнениях и терзаниях, о его отношении к славе, к популярности, о его оригинальных взглядах на многие проблемы современного литературного движения.

Мог бы поведать об отношении Нурпеисова к личности и творчеству Ауэзова — эта тема для особого разговора. Об этом он всегда говорит с благоговением, с гордостью и, я бы сказал, с затаенной робостью. Ауэзов для него как для всех казахских литераторов, — святыня. Говорить об Ауэзове неизменно трудно, почетно и ответственно. Лишь небольшую долю своих мыслей и чувств об этом Человеке-глыбе Абе высказал в своем эссе “Слово об учителе” и ряде других выступлений. Он убежден: осмысление этой личности — дело времени, дело будущего. Я же знаю, как во время работы над трилогией “Кровь и пот” ауэзовская эпопея незримо присутствовала всегда, на всех этапах, поддерживая и вдохновляя писателя всем своим величавым духом. Не раз заставлял я Абдижамила с томом “Пути Абая” в руках и помню, как еще в начале нашего знакомства он внушал мне: “Все мы должны время от времени перечитывать Ауэзова”.

Мог бы, мог бы... если бы не удерживала меня опасность, что мои записки, с некоторой, быть может, претензией названные мною этюдами, превратятся в нечто рыхлое, аморфное.

Впрочем, — кто знает — может, когда-нибудь и напишу обо всем этом...

А пока еще несколько штрихов к портрету Абдижамила Нурпеисова.

В чем его художественная сила? На мой взгляд, в предметных деталях и психологизме.

Основной философский лейтмотив? Серьезное, глубоко уважительное отношение к человеку, к жизни. К жизни,

которая далеко не всегда праздник, а чаще всего — вовсе не праздник; в ней немало горя и печали и тем не менее она прекрасна.

Он строг к человеку, но и добр, сострадателен, даже снисходителен. Людское горе воспринимает как свое личное. Он знает, что человек не всегда всесилен и всемогущ. Иногда человек просто слаб и беспомощен. И тогда он нуждается в сочувствии, в утешении, в дружеской помощи, в прощении. Только подлость и двурушничество писателем не поощряются. Ни в его книгах, ни в жизни. Беспощаден он и к самодовольной тупости, к толстокожести. Вспомните Абейсына, Калау, Тулеу, Сары-Шая...

Любимые герои? Люди трудной судьбы. Труженики. Внешне сильные, грубоватые, неуклюжие, неразговорчивые, упрямые, замкнутые. Верные в дружбе и любви, легко ранимые, очень нуждающиеся в тепле домашнего очага, в ласке, заботе и внимании. Чуть-чуть сентиментальные. Вспомните Еламана, Мунке, Жадигера, героев многих очерков.

И еще: Нурпеисов убежденный противник разных схем, выдуманных правил, незыблемых постулатов, прямолинейностей и раз и навсегда установленных канонов. Душа его жаждет раскованности. Его удручают и приводят в уныние даже правила грамматики. Вся его натура противится категорическим понятиям: хороший — плохой, черный — белый, большой — маленький, можно — нельзя. У него все значительно сложнее.

Основной стиливой принцип: образность, изобразительность, ясность слова, просвеченность фразы, пластика, доступность. Строя предложение, многократно переписывая его, он стремится именно к этим качествам, не прибегая к эффекту, искусственной орнаментальности, блеску, заумным периодам, нарочито усложненному синтаксису, формалистическому изыску. Он — можно сказать — максимально натурален.

В художественном мышлении он тяготеет, пожалуй, больше к эпике. Еще школьником он всерьез задумывал написать произведение об акыне-бунтаре Сары Батакове. И не случайно замыслил это произведение как роман, наверняка имея весьма смутное представление о том, что это такое. Роман так и не был написан. Но первым произведением, написанным молодым, неопытным писателем, был все-таки

роман. Роман, принесший автору заслуженный успех и славу. Роман, который по единственной причине — суровой требовательности к себе — до сих пор не переведен на русский язык.

Жизненное кредо? Ничего не чураться, стойко и спокойно относиться ко всему, что уготовано судьбой, ошибаться, терзаться, сомневаться и все-таки двигаться вперед, неторопливо, без суеты, но уверенно. Любимая шутка — слова, сказанные однажды каким-то земляком:

“Не торопись. Как бы ни торопился, все равно опоздаешь”. И — трудиться, трудиться, помня, что дар художника — прежде всего, долг и обязанность. Перед собой, перед читателем. Без громких слов, публичных заверений и деклараций.

Так я понимаю Абдижамилу Нурпеисову. Как художника и человека. И так я его вижу.

Свое широко известное эссе о Мухтаре Ауэзове Абдижамил заканчивает словами: “Когда писатель идет трудной дорогой, выбирает себе трудную судьбу, он должен быть сильным и мужественным. И он непременно добьется победы. Этому учил нас Мухтар Ауэзов, учил тех, кто избрал судьбу писателя и идет писательской тропой, взвалив на плечи всю боль, гнев, радость, страсть, порыв, дерзания и мечту человечества”.

В полной мере эти слова относятся и к большому советскому писателю Абдижамилу Нурпеисову.

1978, 1983 гг.

ВЫСОТА СОВЕРШЕНСТВА

/К 75-ЛЕТИЮ АБДИЖАМИЛА НУРПЕЙСОВА/

Юбилей и все, что связано с этим щепетильным хлопотным действием, ему как-то не идут.

Он стоит особняком.

Он вне юбилеев.

В чужих юбилеях, случается, он еще участвует. Свои же не жалуется.

На моем веку ему исполнялось сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят лет, но юбилеев, на удивление близких и друзей, не проводил. То уезжал куда-нибудь подальше, то укладывался в больницу.

Теперь ему стукнуло семьдесят пять, шутка ли — три четверти века! — но я еще (пока пишу эти строки) не знаю, намерен ли он придать этой солидной возрастной меже некую общественную значимость.

Вряд ли.

Вообще-то написано о нем порядочно. Собрать все вместе — получится не один том. Но — доподлинно знаю! — многое из того, что о нем написано, он всерьез не принимает. Может, помнит мудрый завет Абая: «Не верь хвале людской»? А, может, иные дифирамбы коллег кажутся ему излишне елейными, слащавыми, фальшивыми, расчетливыми, поверхностными, докучливыми?

Не исключаю.

В казахской литературе он давно и прочно занимает лидирующее положение. Но среди пишущих (а преимущественно непишущих) коллег далеко не все признают его

мэтром. Известно: в своем Отечестве нет пророка. У Абе никогда не было дефицита недоброжелателей. Особенно среди соплеменников. Некоторые из-за нелюбви к нему пытаются унижать и его творчество. А это — уже несправедливо. Можно, конечно, не любить Абе. Его иногда и родная жена не любит. Случается — я знаю — и сам себя он не особенно жалует. Но чернить, к примеру, «Кровь и пот» — ограниченность, нонсенс. Это — великое произведение. А лягают его некоторые почему зря. И последняя его диалогия — достойное творение. Какая творческая мощь! Какой полет в анализе нашего общества! Только я слишком близко стою и к автору, и к его созданию, потому мне трудно быть абсолютно объективным. Абе станут возвеличивать после его кончины. Это так по-казахски! Впрочем, о том же и Белинский еще писал: «Только тогда можно произнести суд человеку, когда он совсем окончит свое поприще».

Как личность он сложно и противоречиво замешан. У него непростая художественная и психофизическая структура. Я бы не сказал, что он лишен честолюбия. Отнюдь. Скорее, он — тщеславен. Но умеет это скрывать. Иногда валяет Ваньку. Но это именно игра. Показное. В любом поступке он, пожалуй, расчетлив, рационален. Держит себя под контролем. Порой сентиментален. В дружбе верен. Легко раним, но хорошо держит удары. В обиду себя не даст. Добро помнит. Замкнут. Все держит в себе. В незнакомой среде чаще всего производит о себе неблагоприятное впечатление. Раскусить его не всем дано. Внимателен. Памятлив. Чуток. Проницателен. При всем этом, случается, наивен. Сдержан, но бывает и азартным, увлекающимся. Моментами занудлив, дотошен, скучен, вял, даже несносен. Но в экстремальных случаях проявляет носорожью энергию, действует напористо, решительно, навязывая свою волю. Трезв. Не позволяет обвести себя вокруг пальца. Доверчив, тоже изредка. Много в нем разного и путаного.

Я не раз ему говорил: если собрать все дурные его свойства, можно создать довольно неприглядный тип. И, наоборот, если собрать воедино все его положительные качества, получится почти ангел в аральском варианте. Но он ни то и ни другое. Просто — большой художник и грешный человек. О его монументальной трилогии «Кровь и пот»

и дилогии «Последний долг», о его публицистике и эссеистике я уже не раз печатно рассуждал. Статьи мои о том опубликованы на русском, казахском, немецком, английском языках. Аллах даст, опубликую когда-нибудь свои дневниковые записи о нем. За почти сорок лет нашего тесного общения эти записи наверняка составят объемистый том. Думаю, это будет и интересно, и поучительно. А пока благодарен судьбе, что в течение этих долгих лет был с ним неизменно рядом и усиленно переводил его сочинения на русский язык. Это ой как непросто!

Он прочно скроен. Аральское море его основательно просолило, аральский зной его прокалил, а ветер обтесал. Так же прочно сработано, отлажено и его творчество. Я бы сказал так: Нурпеисов как писатель — это, прежде всего, художественная прочность. В книгах его есть тенденция жизни. И это, пожалуй, главное.

Он — художник. Кто пишет художественно, тот пишет правду. Известная сентенция Гете: «Надо чем-то быть, чтобы что-то сделать» вполне приложима к Абе. Книги его составляют прочную древесину казахской литературы.

Зрелый Абе беспощадно борется с жиром в литературе. Он безжалостно сокращает свои романы, выбрасывает целые главы, стилистически филигранно отделанные, щадит читателя, радуется, когда удастся ужать прозу до минимального объема за счет выразительности и плотности письма. Его романы не отличаются тучностью. Две книги социального романа «Последний долг», выходящего в пространство и время, составляют по объему 26 листов. Многие его коллеги предпочитают в литературе казы и карта вместо живого духа и упругой плоти.

Поразительно: он никогда не спешит. То ли знает, что спешка — шайтаново дело, что, где спех, там и смех, то ли изначально настроен на вечность. Вообще с физическим временем он не в ладу. Иногда кажется, что живет он вне времени. Всей своей писательской практикой он повторяет завет Сальвадора Дали: «Не бойся совершенства, тебе не достичь его никогда!». Потому он и переписывает каждый абзац, каждую страничку своего текста многожды раз. Он из тех, кто срочную телеграмму сочиняет по три дня.

Обитает и творит он не в башне из слоновой кости. Он хорошо видит и понимает, что творится в стране, но, верный своей привычке, не спешит с выводами. И к властям внимательно приглядывается, и за народ искренне болеет.

Отмечу еще, что его Акбала, Танирберген, Еламан, Каракатын, старик Суйеу, бунтарь Кален, болтун Ахмет, Жадигер, Бакизат, академик Азим, интриган Сары-Шая — образы-открытия в казахской литературе, и эти колоритные типы-характеры прочно вошли в бессмертную галерею образов мировой литературы. Впрочем, о том выразительно сказали выдающиеся авторитеты из многих стран мира.

В последние годы, как и раньше, Абдижамил много разъезжает по республике и странам, участвует во всех крупных событиях, руководит казахским ПЕН-клубом, находится в гуще жизни и, случается, иногда вздыхает: «Устал». Думаю, счастливее тот, кто в 75 лет иногда устает. «Не уставайте, Абе», — говорю я ему. Надо ведь не просто жить и творить, но и уметь беречь себя.

Как Гете.

Этот величайший немец, как известно, и жил активно, и сочинений оставил 143 тома, и сумел достичь (когда еще!) 82-летнего возраста. Вот пример для подражания всему «чернильному племени». Желаю Абе славной и плодотворной осени жизни.

1999 г.

МИР МУСРЕПОВА

Эти строки были написаны к 80-летию Габита Махмудовича Мусрепова. Один из основоположников казахской советской литературы, яркий представитель той «могучей кучки», он тогда еще был полон сил и продолжал активно трудиться в литературе. А три года спустя, в 1985 году, его не стало.

Не хочется переделывать, переписывать ту свою статью, нет желания употреблять глаголы в прошедшем времени. Думаю, читатель меня поймет...

Прожить долгую жизнь, вероятно, непросто. Далеко не каждому это дано. Но это лишь полдела. Важнее прожить свою жизнь осмысленно и полезно. Долгая и полезная жизнь — это уже достоинство и мужество. Пример тому — жизненный и творческий путь Габита Махмудовича Мусрепова, Героя Социалистического Труда, выдающегося казахского писателя-академика.

Более полувека активно трудится в литературе Габит Мусрепов, благотворное влияние его изящного таланта и обаяния испытали на себе едва ли не все виды национального искусства, и не одно поколение казахских литераторов воспитано на его книгах.

Однако плодовитым его не назовешь. Иные из его литературных «внуков» успели «накатать» шесть-семь томов сочинений, оставив по количественному показателю заметно позади признанного, маститого мастера. К счастью, литература измеряется не количеством. Нон мультя, сед мультум /«не много, но многое»/ — это латинское изречение может служить эпиграфом ко всему творчеству Габита Мусрепова. Однажды при мне он подарил Абдижамилу Нурпеисову

свой только что изданный трехтомник на казахском языке, сказав при этом: «Все главное, что я написал — в этих трех томах. Остальное можете не искать». Поразительно высокая и трезвая самооценка!

Библиография о творчестве этого писателя значительно превышает написанное им. И говорить о Мусрепове трудно не только потому, что поневоле начнешь пересказывать, перелопачивать чьи-то мысли, а потому что необычайно сложно выразить, оконтурить идейно-художественное своеобразие и тематический круг, которые позволительно называть МИРОМ крупного художника.

Внешняя биография писателя, его жизненный путь и перечень его произведений займут, пожалуй, десятка два строк, и читатель легко найдет эти данные в любом энциклопедическом или литературном справочнике. Большинству читателей это и ни к чему: каждое произведение Г.Мусрепова жадно читается, обсуждается, дискутируется, переиздается и переводится на многие языки страны и мира.

Габит Мусрепов — не только личность, не только крупный художник, а ЯВЛЕНИЕ в истории и жизни народа, живая нить, связующая Время в его многоплановом и многоплановом выражении. Начиная с конца 20-х годов, когда вышел его сборник «В пучине», он в центре внимания всех этапов развития казахской художественной литературы, и имя его неизменно фигурирует в ряду известных зачинателей казахской советской литературы и с любовью и восхищением упоминается и поныне на самых последних по времени литературных совещаниях. Так, к примеру, на прошедшем в феврале 1982 года в Союзе писателей Казахстана традиционном обсуждении итогов литературного года немало говорилось о новых произведениях Г.Мусрепова, которые он опубликовал за один лишь 1981 год. Огромная дистанция и поразительная активность духа!

Для меня Мусрепов и литература — неразъемные понятия, ибо в моем сознании эти два слова закрепились в одно время, еще в то, далекое теперь, детство, когда мы, ученики аульной школы, изучали его знаменитый рассказ «Талпак танау» — «Гупорылая». Годы спустя я получил возможность узнать писателя лично. Перевел несколько его вещей на русский язык. Нередко встречался с ним, беседовал. А совсем

недавно перевел его большой, проблемный очерк «В пути» и читал свой перевод автору в его квартире.

Габе /так его почтительно называют на казахский лад/ внешне медлителен, степенен, величав, вальяжен. У него скuptые жесты, неторопливые, полные достоинства движения. Я бы сказал: он артистичен во всем. Даже в самой обычной беседе не сорит словом, а пользуется им бережно, обдуманно. В творчестве же он эту бережливость возвел в принцип. Он подгоняет слово к слову, как бы нанизывает жемчуг, подбивает строку к строке плотно, пробует слово на ощупь, на вкус, достигая максимальной выразительности и прозрачности. Недаром все критики называют его ювелиром слова. Увы,— это я должен сказать сразу,— «русский» Мусрепов сильно уступает Мусрепову-стилисту в оригинале. И в этом виноват прежде всего он сам, ибо с каким-то странным, необъяснимым безразличием относится к переводу своих вещей. Нет у него в этом вопросе нурпиевской скрупулезности и дотошности.

Пока я читаю свой перевод, Габит Махмудович внимательно следит по второму экземпляру и время от времени говорит глухо, вставляя: «Да-а...», или: «Минуточку...» Я уже знаю: «да-а...» — значит, хорошо, верно, пойдет; «минуточку» — значит что-то не в порядке.

При этом мы не сверяемся с оригиналом: Габе совершенно точно помнит каждое слово, каждую фразу своего текста.

Часто отвлекают нас телефонные звонки. Многим есть дело до восьмидесятилетнего писателя, и ему есть до всего дело. И пока хозяин небольшого, но опрятного, аккуратного кабинета расспрашивает одного собеседника о делах в области, о зиме, о снеге, о подготовке к весеннему севу, о семенах, со вторым обговаривает время встречи, третьему решительно отказывает в чем-то, сетуя на нехватку времени, я незаметно наблюдаю за ним, стараясь определить для себя, осмыслить большую жизнь и самообытный талант крупного художника, каким является Габит Мусрепов. Помимо природного таланта писателя делает выдающимся его чувство своего времени и места, чувство современности. Это редкий дар — ощущать пульс эпохи, и Г. Мусрепов обладает им.

В 20-30-е годы, когда в казахской степи повсеместно рушился старый патриархальный уклад, когда новая жизнь, новые людские отношения, новые представления властно внедрялись в сознание степняков, Г. Мусрепов пишет повести и рассказы, живо схватывающие и художественно достоверно, ярко отражающие глубинные процессы, огромные социальные перемены, происшедшие в Казахстане в XX веке. Вспомним его произведения той поры: «В пучине», «Кос-Шалкар», «Соседи из зеленого дома», «Тупорылая», цикл новелл «Сказание о матери», оригинально продолжающий горьковские традиции в литературе.

Многие жанры казахской литературы находились в то время еще в зачаточной стадии. Особенно отставала драматургия. И Г. Мусрепов создает одну за другой пьесы, которые и поныне не сходят с национальной сцены: «Кыз-Жибек», «Козы-Корпеш и Баян-слу», «Ахан-серэ и Актоқты», «Амангельды» и другие.

Казахские литераторы всегда видели одну из важных задач своего творчества в пропаганде лучших образцов русской и мировой литературы. Не оставался в стороне от этого благородного дела и Г. Мусрепов. Он мастерски переводит на казахский язык публицистические статьи русских авторов.

Разумеется, не могла не затронуть чуткого художника и тема Великой Отечественной войны. Он переводит на казахский язык отрывки из романа М. Шолохова «Они сражались за Родину», пьесу К. Симонова «Русские люди» и создает свой знаменитый роман «Солдат из Казахстана», сразу же по выходу переведенный на многие языки. Талант социальной типизации в полной мере сказался в этом произведении. Сирота-пастушонок из аула Кайракты, «маленький колхозный активист» Кайруш Сарталеев, пройдя суровые «университеты» жизни, познав подлинные ее ценности, в годы великого испытания становится Солдатом из Казахстана, беззаветно храбрым защитником своей многонациональной Отчизны. Реальную жизнь реального человека — Героя Советского Союза Константина Исмагулова, ставшего прототипом героя романа, — автор сумел «поднять» до высокого уровня художественного обобщения и создать запоминающийся колоритный образ того поколения, которое,

сполна познав пафос новой жизни, с честью выполнило свой долг в жестокой битве с фашизмом.

Следующее крупное произведение Г. Мусрепова, вышедшее в 1953 году, — многоплановый роман «Пробужденный край». Автор обратился к трудоемкой, в те годы еще весьма слабо освоенной казахской литературой теме: зарождение и формирование казахского рабочего класса, жизнь рабочих дореволюционной Караганды. Живые, психологически тонко и четко очерченные образы разных слоев казахского населения в канун революционных бурь вереницей проходят перед глазами читателя этого романа — широчайшей панорамы жизни казахской степи. Многие годы писатель работает над продолжением этой книги — романом «В чужих руках», отрывки из которого недавно публиковались в центральной республиканской газете «Социалистик Казакстан».

Академик, депутат Верховного Совета Казахской ССР, секретарь правления Союза писателей, член многочисленных Комитетов, Советов, Комиссий и редакций, Г. Мусрепов активно участвует в общественной жизни, много разъезжает по стране и за рубежом, вникает во все сферы общественной и духовной жизни, напряженно размышляет о прошлом и настоящем, ратует за крутой взлет национальной культуры, внимательно следит за всем новым, чутко реагируя и тонко подмечая все болевые точки нашей бурной действительности. Думы, тревоги, радости и волнения, восхищение и негодование воплотились в его художественных произведениях, созданных за последнее десятилетие: в повести «Однажды и на всю жизнь», в романе «Улпан ее имя», в рассказах: «В двадцать четыре часа», «Разговор в небе о земных делах», «Би-ага», «Буранная ночь», «Знаменитая певица Майра» и многочисленных очерках, статьях, публицистических выступлениях.

Взгляд его по-прежнему зорок, мысль ясна, слова точны и метки. В прошлом году Г. Мусрепов опубликовал в «Казах әдебиеті» очерк «В пути», о котором говорилось и писалось много. Автор запечатлел свои путевые наблюдения, впечатления, раздумья. Сколько актуальных проблем затронуто в этом очерке! Автор тонко высмеивает и разоблачает беспорядки на железной дороге, иронизирует по

поводу языковых нелепостей и погрешностей молодых прозаиков и журналистов, достается от него и известным певцам, бездумно искажающим слова народных песен, с болью говорит об усыхающем Аральском море, об исчезнувших камышовых озерах в Кызылординской области, о хищническом отношении к природе, спорит с незадачливым литературоведом, выдающим мнимое за подлинное, предлагает любопытную, истинно научную проблему абаеводам, тревожится о том, что земляки-казахи забывают добрые старые традиции, что ныне в аулах сплошь и рядом довольствуются молоком лишь для забеливания чая, что исчезли со стола казахской семьи многочисленные исконно казахские молочные продукты, что степняки забывают вкус кумыса и т. д. И обо всем этом написано емко, мудро, помусреповски изящно, со множеством метких деталей, с добрым, умным юмором.

Все эти эскизные характеристики долгого и плодотворного творческого пути писателя я привожу здесь для доказательства очевидной истины: Г. Мусрепов — художник своего Времени.

Давно замечено: истинный талант всегда молод. Он неподвластен возрасту. Гражданская зоркость и активность, тонкий художественный вкус, глубокий интеллект и легкая, умная усмешка, ювелирно отточенный стиль по-прежнему отличают творческую манеру маститого писателя. Нельзя не восторгаться и завидным трудолюбием — при внешней неторопливости — восьмидесятилетнего аксакала. За прошлый, 1981 год, к примеру, он опубликовал историческую драму «Завещание потомкам» /о народном заступнике и вожаке повстанцев Срыме Датове/, одухотворенный рассказ «Знаменитая певица Майра» /о трагической судьбе певицы и композитора Майры, которую писатель лично видел и знал в молодости — в 20-х годах/, названный выше многопроблемный очерк «В пути», несколько статей, затрагивающих весьма актуальные вопросы современного казахского искусства и истории.

А самое главное — нынче Габит Махмудович передал журналу «Жулдыз» двести страниц новой рукописи — вторую книгу давно задуманной трилогии. «Выйдет —

прочтите, пожалуйста,— говорит мне писатель и задумчиво добавляет.— По-моему, там есть кое-что... забавное». Я понимаю: «забавное» — сказано просто так, от скромности. «Забавное» — значит достойное, нечто значительное, существенное, как во всех произведениях Г. Мусрепова.

Мир Мусрепова огромен. Он выходит за рамки чисто литературного значения. Всей своей сущностью, всем своим творчеством он помогает нам серьезнее смотреть на жизнь. На литературу. На истинную значимость писательского слова.

1982 г.

ОГНЕМ СОТВОРЕННЫЙ

...И хотя бытую я вдалеке от пышного аула Поэзии, случается иногда и мне бывать за дастарханом сладкозвучных и мудрых акынов. Так я однажды в счастливый миг судьбы познакомился с Поэтом Абеке — Абдильдой Тажибаевым. Я всегда робею перед Поэтами и Поэзией, однако в отношениях с Абеке я как-то эту робость переборол и, расхрабрившись, много уж лет назад составил его русский сборник «Былое» /«Жазушы», 1979/ и подстрочно перевел более шести тысяч его поэтических строк. И мне мнится, что я проникся духом его творческой сути и в состоянии сказать о том несколько слов.

Великий Джамбул был убежден, что в его груди поселился, что в его душе изначально живет бесстрашный тигр — вдохновитель его дерзких поэтических подвигов. Это был его Божий дар, его талант, его призвание, его вера, его предназначение.

Поэт Абеке — Абдильда Тажибаев — всегда был убежден, что он сотворен огнем, что он вышел из огня, что огонь течет в его жилах, что он вырвался, ярко пылая, из мрака-крепости и не погаснет, никогда не погаснет, даже если его накроют, захлестнут сель и потоп.

Огнем сотворенный, он верил, неколебимо верил в вечность бытия, в бессмертие священного поэтического дара, в свое бессмертие, ибо где и когда и какой поэт утас, исчез бесследно, и чей и какой Бог был свидетелем того, чтоб умирала песня?!

Вот этот образ Огня — вечного, неугасимого, созидательного, дарующего людям-землянам тепло и свет — есть

стержневой, основополагающий символ всего его творчества, всей его жизни.

Другой — родственный Огню — знак-символ его поэзии — Солнце.

Оно присутствует в его стихах везде и всюду. «Какое дивное солнце!» — не переставал удивляться поэт. Его волновало солнце на рассвете. Его восхищало солнце, уходящее в закат. Он верил, что солнце взойдет завтра снова и внушал эту веру-надежду вновь и вновь всем людям.

Он радовался теплоту, ласковому ветерку, родившемуся от весеннего солнца, теплоту дуновению, исходящему от солнечных лучей. Он знал, что соками этого дуновения питаются и его стихи. И еще он знал, что озябшую душу врачует, вылечит только благодатное солнечнее тепло. Он утверждал: «У всех у нас в крови — одно лишь солнце!» И еще: «О, солнце неутасимое, лишь ты моя надежда!» Он помнил завет матери: «Да будет душа твоя, как солнце». Он признавался: «Всю жизнь я неизменно славлю солнце. Жизнь сама мне чудится в облике солнца». И он гордо говорил: «Мое солнце!», «Мое небо!», «Мои звезды!», «Моя земля!».

А там, где огонь, там, где солнце, — благоухает мир. И поэт Абдильда семь десятилетий воспевал этот мир — огромный и величественный, лучезарный и прекрасный, таинственный и ясный, могущественный и хрупкий. Он, точно ребенок, словно влюбленный юноша, неизменно удивлялся: «До чего велик, огромен белый свет!» И с радостью ощущал, чувствовал, как «из дальней дали светлый луч струится».

Какой же Поэт не воспевал, не боготворил, не славил Любовь? Абеке — не исключение. Сколько проникновенных слов, строк, стихов, поэм о любви было создано поэтом! Он певец любви одухотворяющей, облагораживающей, возвышающей, гармонизирующей. Он говорил: «И я, друзья, родился влюбленным Меджнуном...» Он просил у судьбы лишь одно: чтобы его уста могли постоянно говорить — «люблю» и «поцелуй».

И еще один мотив постоянно звучит в поэзии почтенного Мэтра: это сознание своего долга на земле, долга человека, поэта, гражданина, это вера в человека, вера в Добро. Он хотел «пламенем возжечь бездушные слова». Он гордился тем, что «не прятался в затишье, в закуток, и в бурю жил, не вбирая в плечи голову». Он жил всегда в согласье

с солнцем и землей. Он был честным сыном своей Отчизны, своего Времени, своего народа. В свою чудо-повозку по имени Судьба он впряг пару — радость и горе, и эта неразлучная пара мчала его по матери-земле, мчала без малого девяносто лет, и поэт Абеке торопил-погонял этих двух лошадок — радость и горе, полный надежды и печали навстречу неведомым далям, навстречу Грядущему, щедро отдавая людям на этом своем долгом пути жар своей души, тепло своего сердца, богатство своего таланта. Таким я вижу, таким я ощущаю и понимаю выдающегося казахского поэта, тарлана-акына Абдильду Тажибаева.

Он умер в четыре часа утра. И мне пришли на память строки Сырбая Мауленова: «Поэты умирают на рассвете».

Ушел Поэт на рассвете 23 сентября 1998 года.

Последними словами Абеке — почти девяностолетнего — были: «Елім аман болсын!» — «Да пребудет мой народ в здравии и благополучии!»...

Мир тени его!

1998 г.

ЧУТКОЕ СЕРДЦЕ ХУДОЖНИКА

Теперь и его нет среди нас... А кажется, еще вчера он степенно прогуливался возле памятника Чокану — колоритный, белогривый, белобородый, чуть огрузневший после инсультов, но по-прежнему шумный, увлекающийся, неистовый. Его любили и ровесники, и младшие коллеги, и женщины за открытость, искренность, душевную щедрость, широту и размашистость, за бескорыстие, за шумный нрав, за доброту. Он был красив во всем. И в творчестве, и в общении с людьми, и в пирушках. Что-то чистое, рыцарское, порой бесшабашное сквозило во всем его облике. Обаятельная была личность! Я знал его лет тридцать, много общался с ним. Случалось, писал о нем — и при жизни, и после. Воспроизведу те строки, написанные тогда, к его 60-летию, по-русски, и недавно, навеянные памятью о нем, по-казахски...

Вспоминается: еще совсем недавно я впервые встретил его у Абдижамила Нурпеисова и откровенно любовался им: его импульсивностью, смелыми, подчас резкими и дерзкими суждениями, юношеской увлеченностью и задором, азартностью, кровной заинтересованностью заботами родной литературы. Располагали к себе и его раскованные манеры, непосредственность, открытость, поразительная простота, бросакая внешность: большеголовый, с богатой, выющейся шевелюрой, крутогрудый, шумный, весь какой-то крепкий, прочно сбитый. «Джигит!» — невольно думалось при взгляде на него.

То было в 1963 году.

Но сорокалетний тогда Тахави Ахтанов имел уже немалый житейский опыт за плечами, прошел войну, в которую

вступил добровольцем со второго курса педагогического института, успел после демобилизации несколько лет побывать на руководящих должностях в редакциях республиканских издательств и журналов, а — главное — уже занимал прочное, видное место в казахской литературе, проявив многогранность своего таланта как прозаик, критик, драматург и переводчик.

Еще до личного знакомства с писателем Тахави Ахтановым я имел о нем вполне определенное представление, а за последовавшие два десятилетия прочитал все, что выходило из-под его пера, отнюдь не бойкого. Более того, подстрочные переводы двух его драм, «Индийских тетрадей» и нескольких глав романа «Буран» были в свое время выполнены мной.

В тот далекий, но памятный день первой встречи, слушая по обыкновению горячо и увлеченно рассказывавшего о своих последних поездках Ахтанова, я невольно вспомнил слова из письма великого Мухтара Ауэзова, написанного за шесть дней до его роковой операции. Письмо это как завещание. И отнюдь не случайно было оно адресовано Тахави Ахтанову. 21 июня 1961 года, находясь в Москве на больничной койке в ожидании операции, Мухтар Ауэзов счел нужным поделиться с молодым коллегой своими думами о будущем родной литературы, о своих надеждах, о непомерной ответственности, которая ложится на молодых литераторов. Много теплых, проникновенных слов сказано в том письме и о самом Ахтанове. Мухтар Омарханович отметил многогранность, масштабность его творчества, лиричность, искренность, исповедальность, честность его художнической натуры, его умение писать без фальши, без пышнословия и нивелировки. И еще М.Ауэзов доверительно сообщил в том письме, что с радостью увидел и услышал в творчестве Ахтанова созвучные себе ноты — созвучие в мышлении, во взглядах, в творческих поисках и манерах. «Но твой огонь жарче моего, тебя — хочется мне верить — осенила ранняя мудрость», — заметил М. Ауэзов.

В письме другому литератору /Зейну Шашкину/, написанному за день до смерти, М. Ауэзов, перечисляя нескольких писателей, которых считал надеждой казахской литературы, снова упоминает Тахави Ахтанова. Щедрая, ко многому обязывающая оценка! Ауэзов точно и прозорливо

уловил в Ахтанове его художническую чуткость, гражданскую смелость и высокую духовность. И Ахтанов всей своей жизнью, всем своим дальнейшим творчеством стремился оправдать это высокое доверие, эту искреннюю надежду своего маститого Учителя.

В небольшой — по торжественному случаю — статье нет возможности для обстоятельного анализа творческого пути столь крупного и колоритного писателя, каким является Тахави Ахтанов. Постараюсь отметить лишь некоторые — как я понимаю — наиболее характерные черты этого своеобразного таланта.

Ахтанов — литератор широкого масштаба. Как подавляющее большинство казахских писателей, он начал со стихов, однако известный поэт Касым Аманжолов предрек ему стезю критика и прозаика, что впоследствии полностью подтвердилось. Активной, действенной критике Ахтанов уделил немало сил и времени, результатом чего явились его монография «Габит Мусрепов» и два сборника критических статей: «Караван» и «Мысли вслух». Критические выступления Ахтанова всегда отличались актуальностью, неллицеприятностью, глубоким знанием материала, боевитостью и эмоциональностью. Он всегда темпераментно, даже яростно выступает против всесокрушающего потока «серой беллетристики» и всеразмывающего водопода мутного рифмоплетства. Он требователен и к себе, и к другим, и нерадивость, конъюнктурность, гладкопись и халтуру неизменно называет своими именами.

Перейдя к художественной прозе, он серьезно учился у русских классиков. С этой целью перевел на казахский язык трилогию А. Толстого «Хождение по мукам» и рассказы М. Горького.

Снискал Ахтанов себе имя и как серьезный драматург, написав такие широко известные пьесы — от трагедий до комедий — как «Голос матери», «Клятва», «Сауле», «Печаль любви», «Неожиданная встреча», «Буран», «Отец и сын», «Покорный зятек». Для драматурга Ахтанова характерны злободневность, проблемность, динамизм человеческих судеб и характеров.

Эти же качества свойственны и его прозе — романам «Грозные дни» /в ГДР этот роман был издан в 1960 году под названием «Ибо за нами Москва»/, «Буран» /в ГДР

увидел свет в 1968 г. под названием «Исповедь степи»/, «Да не угаснет твоя свеча», повестям и рассказам из сборников «Печаль любви» и «Исповедь степи», а также книге очерков «Индийские тетради».

Чем привлекателен Ахтанов-прозаик? На мой взгляд, он чутко улавливает процессы, происходящие в общественном сознании, тонко чувствует дыхание Времени, его глубокие подспудные явления, кардинальные нравственные проблемы современности и, живо откликаясь на них, с подлинно гражданской смелостью выражает их через свое художническое видение. В этом смысле я бы назвал Ахтанова разведчиком в литературе. Ведь не случайно его честный и правдивый роман о войне был написан в то время, когда широкому читателю еще не были известны ныне популярные произведения К. Симонова, Ю. Бондарева, Г. Бакланова, В. Быкова, И. Стаднюка и других. Ведь не случайно именно Ахтанов одним из первых в литературе обратил внимание на интеграцию национальностей, на новь, происходящие на осваиваемой целине — вспомним рассказ «Серый аист». Ведь не случайно в начале 60-х годов, когда в нашей литературе все отчетливей зазвучала тема ответственности каждого простого человека, который еще недавно считался всего-навсего безымянным «винтиком» общества, за чистоту и принципиальность человеческих отношений, тема необходимости нравственного выпрямления и духовного возрождения гражданина, Ахтанов пишет свой полный драматизма и высокого идейно-художественного накала роман «Буран», за который он был удостоен республиканской премии имени Абая. Ведь не случайно еще до появления романов А. Кекилбаева, М. Магауина, И. Есенберлина, А. Сергеева и ряда других произведений, посвященных знаменательному событию — 250-летию присоединения Казахстана к России, Ахтанов создал свою драматическую поэму «Клятва», в которой четко обозначены основные перипетии того крутого, переломного момента в истории казахов и раскрыты характеры и мотивы поступков главных действующих лиц того исторического акта. Ведь не случайно, когда появилась потребность говорить о прошлой войне как бы «изнутри», более психологически углубленно, через восприятия души не под грохотом канонад, а через личностную судьбу «тихого», «незаметного» человека, Ахтанов

создает роман «Да не угаснет твоя свеча», в котором через видение простой аульной казашки Назиры, юной жены советского командира, с потрясающей правдивостью и убедительностью раскрывает всю антигуманную суть войны.

Это можно сказать о каждом произведении Т. Ахтанова. В его груди действительно бьется чуткое сердце художника. И в творчестве своем он неизменно исповедует духовный максимализм.

Пишет Ахтанов круто, мускулисто. Он убежденный противник пышного славословия, крикливой аляповатости, унылой описательности, нудного нанизывания бесконечных деталей, не работающих на суть произведения. Это свойство его писательства выгодно выделяет его на фоне многоверстовых пухлых романов, которыми в последнее время явно грешат казахские прозаики. Это о них как-то в шутку заметил драматург Калтай Мухамеджанов: «Сейчас у нас немало романов, где из каждого можно выжать по два ведра воды». В многословии не обвинишь Ахтанова: для этого он обладает слишком строгим и требовательным талантом.

Отметил бы я еще простоту и доступность прозы Ахтанова. Это не та простота, которая является преодоленной сложностью. Она признак зрелости и мудрости, когда словесные побрякушки уже не прельщают.

Пятитомное собрание сочинений Тахави Ахтанова тому убедительное свидетельство.

1993 г.

ТАХАҢ КЕЛЕ ЖАТЫР...

Мен тұратын махалланың өзіндік «Гайд-паркы» бар. Ол Шоқан ескерткішінің маңы. Елге танымал жазушы, ғалымдар, ығай мен сығай кешкілік серуенге шығады. Арамызда сталинистер де, коммунистер де, интернационалистер де, оңшыл консерватор мен солшыл радикалдар да, ештеңеге зауқы жоқ либералдар да, тіпті заман ағымынан бейхабар тоғышарлар да кездеседі. Кейде кәдуіптідей қызарақтап, айтысып та қаламыз. («Гайд-парктың» бір кездегі белді мүшелері: Мырзабек Дүйсенов, Әнуар Әлімжанов, Бердібек Сокпақбаев, Әди Шәріпов, Балғабек Қыдырбекұлы, Сырбай Мәуленов, Тахауи Ахтанов т.б. — бүгінде арамызда жоқ). «Президентіміз» Тахаң. Ол көбінесе Төлебаев көшесі жағынан асықпай, аяғын нық басып, арыстандай гүрілдеп, гүжілдеп келе жатады. Аппақ қою сақалы («Менің сақалымның қасында анау Маркстың сақалы сақал болып па?!» дейтін ол) күнге шағылысады. Басын шалқақ ұстайды. Көзінде күлкі. Қолды оңды-солды сермейді.

— Әне, Тахаң келе жатыр!— деп біразымыз сәлем беру үшін алдынан шығамыз.

— Ойбай, анау келе жатыр...— деп енді бір топ жан сауғалағандай жолдан кілт бұрылып тайып тұрады.

— Әне, Гера, көрдің бе?!— деп масаттана дауыстайды алыстан Тахаң. — Көрдің ғой сталинистерді! Мені көрсе, бетті басып, қатты сасып жалма-жан тұра қашады. Әй, миы қатып, сарғайып кеткен өңшең бишаралар!.. Ескі заманды көксейді еше!..

Тахаң келді! О, енді әңгіме қыза түседі. Неше түрлі хикаялар айтылады. Ду-ду... Гу-гу...

* * *

Таханның өзіндік юморы, «бөспөбайлығы» болатын. Онысы және өзіне жарасатын. «1921 жылы Александр Алехинмен шахмат ойнап, оны жеңе жаздағанымда, сол атышулы чемпионың: «Ойпырмай, Таха, өзің де бір ит екенсің!» дегені бар»,— деп бөсетін.

«Әй, сен мені Нұрпейісов деп отырсың ғой! Олай емес, бала!— деді ол бірде «Боранның» тарауларын орысшалап жүрген маған. — Менің тілім Нұрпейісовтің тілін он орайды!»

* * *

Тахауи Ахтанов деген жазушыны елуінші жылдардың басында қазақ мектебінде оқып жүріп естігенім бар-ды. Бір қызығы — Тахауи мен Әбдіжәмил деген екі есім менің санам қосарланып ұялаған-ды. Есіл өңіріндегі қазақ ауылына екеуінің есімі «Курляндия» мен «Қаһарлы күндер» арқылы жеткен. Қазақ әдебиетінен азын-аулақ хабары бар маған олар әжептәуір әсер қалдырды.

* * *

Ал алғашқы кездесуіміздің жөні былай.

1963 жылдың қоңыр күзінде бір шаруамен («Қан мен тердің» жолма-жол аудармасымен шұғылдана бастаған кезім) Әбенің (Әбдіжәмилдің) үйіне келсем, қалың бұйра шашты, кеуделі, тығыз денелі, шымыр, бір қарағаннан-ақ адамды баурап алатын қалтқысыз ашық көңілді, жылы шырайлы бейтаныс қазақ көсіліп сөйлеп отыр екен. Сөзі ірі, өткір. Шылымын бүркыратып, көк ала түтінге қақалып, гүжілдейді-ау келіп. «Тахаң ғой»,— деді Әбе біздерді таныстырып.

Екеуінің алдында бір түрлі абыржып, именіп, қысылып қалдым. Аузыма дені дұрыс сөз де түспеді. Бірақ, сөз беретін Тахаң да көрінбейді. Аккүйрық сигаретін әлсін-әлі сораптап қойып, қарқылдап күледі.

Бір кезде екеуі шахматқа отырды. Ойындары қызық. Сарт-сұрт. Ноздрев пен Чичиковтың дойбы ойнағанындай. Шахмат теориясында кездеспейтін дебют. Жаңылысса, жүрістерін дереу қайтып алады. Оқта-текте бір-бірінің қолына жармасады. Тіпті қыза-қыза келе екі жүрістен қатар жасайды. Салдыр-гүлдір. Шахмат емес, дода ма дерсін. Бір

уақытта қалай болғанын білмеймін, Әбе Таханның ферзісін қағып түсірді. Тахан: «Қайтып бер!» — деп гүр ете түссін, ферзісіне жабыссын кеп. «Е, неге қайтып берем?!» — деп Әбе де көнбей, қасарысып отырып алды. Тахаң жалма-жан оның қолына жармасты. Біраз шуылдасқаннан кейін аңдаусызда опат болған ферзі қайтадан тіріліп, тақта бетінде ойқастай жөнелді. «Шах! Шах!!» — деп қояды Тахаң өршеленіп. «Ни койя... ондай шахтан кісі өлмейді», — деп Әбе ыңылдап қояды. Бірақ, байқаймын, жағдайы мәз емес, «маттың» ауылы да жақындап қалған тәрізді. Әттең — о, тоба! — Тахаң мат берейін десе, қарсыласының королі жоқ. «Әй, королің қайда?!» — деді Тахаң қаһарға мініп, көзі шатынап. «Қайдам...», — дейді Әбе мінгірлеп, қалтасына қолын сұға түсіп. «Ау, сонда матты кімге беремін?!» «Өз короліңе бер...» Екі жазушы ауылдың тентек балаларындай ішексілесі қатып, мәз болды. Мұндай ойынды менің де өмірімде бірінші көруім. Қан майданда от кешкен әскери офицер, майталман жазушы, ресми саясатқа әрдайым қыңырлау қарайтын, қайшылау келетін ойшыл сыншы, ақкөңіл, ақпейіл, ажзүрек, аңқылдаған бала мінезді, сұлу пішінді осы бір еркек маған салғаннан ұнады.

* * *

Тахаң елуге келгенде мен Каблукова жақта телефоны жоқ шағын үйде тұратынмын. Жер шалғай, көлік жоқ; аяғымның сырқаты асқынып, үйкүшік болып жатқан көңілсіз кезім. Бір күні ойда жоқта Тахаң жетіп келді. Қолында дорбасы бар. «Әй, Гера... көрінбей кеттің ғой... Міне, тойымның сарқыты», — деп дорбасынан бір коньяк, бір шампан, бір қорапша кәмпит, бір піскен шұжық шығарды. Шала байып, қуанып қалдым. Жас жағынан арамыз онша қашық болмағанмен (небәрі он бір жас), біздер екі буынның өкіліміз ғой деген пікір айттым. «Олай емес, — деп жымиды Тахаң. — Жылдар өте біз енді жақындаса түсеміз де, бара-бара құрдас болып кетуіміз де мүмкін».

Жиырма жылдан соң Тахаң жетпіске келгенде сол бір сөзін есіне салып едім, ол мәз болып күлді. «Әй, мен де көреген екенмін! Сен ғой таяуда алпысқа келесің... Сүйтіп бір күні мені де қуып жетесің-ау».

* * *

Тахаңмен отыз жыл аралас-құралас жүріппін. Осы мерзім ішінде менің Тахаңның таланты мен табиғаты жайындағы түсінігім кеңейіп, тереңдей түскенмен, оның адамгершілігі, парасаттылығы, өрлігі, азаматтық мінез-күлқы сол баяғы тұнғыш кездескеніміздей жарқын да әсерлі қалпында қалды.

* * *

Қайтыс боларынан бірнеше ай бұрын 9-мамырда Тахаң мені телефон арқылы Жеңіс күнімен құттықтады. «Әй, Гера... гутен таг... әлде гутен морген бе? Ес лебе... зиг хайль... менің немісшем осы ғана. Мен сенен кешірім сұрайын деп отырмын... Ойлап қарасам, мен сені бекер-ақ жеңген екенмін. Қайран ақымақ басым, сол кезде оны түсінбедім ғой. Сені жеңіп нем бар еді?! Сен енді мені кешір. Бекер болған екен...»

Осыны айтып, ол сақ-сақ күлді. Мен де күлдім. Мұндай астарлы әзіл тек Тахаң мен Асқардан (Сүлейменов) шығатын.

* * *

Мен баяғыша Шокан ескерткішінің маңындағы «Гайд-паркта» қыдырыстаймын. Тобымыз сиреп, көңіліміз құлазып, пәсейіп қалған. Жан-жағымызға елендеп қараймыз. Жамбыл мен Шоканның қиылысынан Тахаңның таныс сұлбасы көрінгендей болады. Біреулердің көңілді дауысы құлаққа жеткендей:

— Әне, Тахаң келе жатыр...

1997 ж.

ОН ЧУТКО ВСЛУШИВАЛСЯ В ТРЕВОЖНЫЙ ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Лет двадцать, думаю, назад, вернувшись с какого-то конгресса из Софии, Ануар поведал мне о своей встрече с Фридрихом Хитцером, известным германским критиком, публицистом, переводчиком и общественным деятелем и передал листок бумаги с немецким текстом, попросив перевести его на русский язык.

Я выполнил его просьбу.

Фридрих Хитцер сообщал: «Дорогой Ануар! Я написал стихи, которые были немыслимы без нашего знакомства. Спасибо за ваши прекрасные, жизненно важные рассказы». А далее шли белые стихи, которые в моем переводе звучали так:

Казах пересказывает
Человеку с Запада,
Задавшему тысячу
мнимых вопросов,
давнее изречение
Ануара — Абу Насра:
«Не бойся врага —
в крайнем случае
он убьет тебя.
Не бойся друга —
в худшем случае
он предаст тебя.
Остерегайся равнодушного».
Это как смерть! —
подумалось мне, —
пока человек с Запада

утверждается во мнении,
И спор
о тысяче одном слове
длится без конца...
Прочь равнодушные,
Да здравствует борьба!

В этой притче, поведенной Ануаром Алимжановым германскому коллеге, выражена квинтэссенция души его: прочь равнодушные. Он и не был равнодушным. Ни в жизни, ни в своем творчестве.

С ним было интересно общаться. Я знал его без малого сорок лет, но особенно сблизился с ним в последние годы его жизни. Я сейчас перелистал свои дневники 80-х годов, в них имя Ануара встречается очень часто: «Два часа гулял с Ануаром», «играли с Ануаром в шахматы», «звонил Ануар», «делились последними новостями», «зашел Ануар» и т.д. гласит лапидарная запись.

Кроме того, мы с ним часто выступали на конференциях, «крутлых столах», по ТВ, на разных диспутах, чаще всего с общих или близких эстетических и мировоззренческих позиций. Жаль, что мне было недосуг записывать наши вольные беседы по горячим следам. А время — 1986—1993 гг. — было крутое. Происходила ломка общественного сознания. Ануар был как сейсмограф: в нем аккумулировались все потрясения эпохи. И, как всегда, он не был равнодушным. Все принимал близко к сердцу. До всего было ему дело. На все события откликался проникновенным публицистическим словом. А словом публициста и очеркиста он владел, как редко кто из современников. Конечно, иногда ошибался, порой его заносило, случались неверные или спорные оценки тех или иных личностей и событий — это видно теперь, с колокольни нынешних времен. Но руководствовался Ануар всегда высокой, честной, принципиальной позицией Гражданина-Азамата /в изначально широком смысле его казахского значения/, патриота пробуждающегося Казахстана и нации. И в этом надо отдать ему должное.

Из казахских писателей он был, несомненно, самым мобильным. Он объездил, можно сказать, почти весь белый свет. Он даже, помнится, не знал точно, во скольких странах побывал. «Некоторых уже и на географической

карте нет»,— говорил он, бывало, с удивлением. Бурные события на Афро-Азиатском континенте прошли не только на его глазах, но он их ощущал самым непосредственным образом, ибо умудрялся находиться в самом котле общественного движения на этих материках. Словосочетание «национально-освободительное движение» он произносил с особенным восторгом, интонируя оба его компонента — «национальное» и «освободительное».

Он очень любил дивную легенду о волшебной чаше персидского царя Джамшида. Вглядываясь в зеркальное дно чаши, тот падишах мог узнавать тайны жизни близких и далеких царств и стран.

Мне иногда думалось, что та легендарная чаша перешла в руки моего неугомонного казахского друга, о котором я пишу сейчас эти беглые строки.

И еще он любил повторять слова уроженца казахской степи Абу-Насра Мухаммеда аль-Фараби, которого все ученые Востока, начиная с Авиценны, называли своим Учителем, его знаменитые слова-предупреждения — «Остерегайся равнодушного!» — которые я привел выше в переложении Фридриха Хитцера.

Собеседник, повторяю, он был интересный, хотя слушать его было непросто: у него была плохая дикция, говорил быстро, увлеченно, иногда сумбурно, невнятно, переходил с русского на казахский и наоборот, мысли мешались, сбивались, захлебывались, логическая связь нередко прерывалась, нить рассуждений обрывалась, события планетарного масштаба вдруг ввергались в бытовую литературную свару. Рассуждал он своеобразно, нестандартно. И знал много.

В нем причудливо переплетались разные эпохи, разные пласты культуры. Он с одинаковой страстью и увлечением рассказывал о засыпанных песками древних городах казахов — Сауране и Таразе, Яссе и Дженте, Саганаке и Отраре; или — о национально-освободительном движении в Африке; или — о тысячелетней культуре горячо любимой им Индии, об империи Великих Моголов; или — о Сирийской пустыне, о древней, легендарной Пальмире; или — о палестинских беженцах в Кувейте; или — о развалинах древнего города Эль-хатра в Северном Ираке.

Он живо вспоминал Назыма Хикмета, Фаиза Ахмада Фаиза, Алекса Ла Гума, Мулька Раджа Аманду, Мухтара

Ауэзова — для людей моего поколения эти имена звучали высоко и гордо, они были знаковыми фигурами той эпохи.

В его мировосприятии спрессовались столетия. И потому Фирдоуси и Саади, Рудаки и Хайям, Руми и Хафиз казались его современниками.

Он не делил общий, единый поток человеческой культуры на прошлое, настоящее, будущее. Он от самой природы был наделен редким даром видеть и ощущать многогранный мир в единстве, в целостности, в духовном взаимопротяжении и взаимосвязи.

Личность определяется истоками. Где его истоки? «Я горец. Родился в горах Казахстана. Мой прадед Момын был смелым и благородным воином, удачливым охотником, а дед Алимжан — кузнецом и садоводом, известным в аулах нашего горного края... Отец мой был самоучка. Не только знал тайны кузнечного и сапожного ремесел, но и отлично рисовал. Он был среди тех, кто устанавливал Советскую власть в Жетысу», — писал он в очерке «Испей из родника, сынок...»

Парадокс нашей крутой истории. Отец устанавливал советскую власть, потом был ею репрессирован, а сын, взметнувшись в высокие сферы, собственноручно в конституционном документе фиксировал, то есть законно закрепил крушение ее. Так получилось. И мы, его друзья, бывало, подтрунивали над ним: «Наш Анеке свалил советскую власть». Он как живой очевидец красочно рассказывал во всех подробностях все драматические перипетии падения власти Михаила Горбачева.

Литературная и общественная его деятельность проистекала в последние годы жизни на крутых виражах.

Он рано изведal сиротство, лишения, нужду, непосильный труд. Поразительно, как он только не сломался еще в хрупком юношеском возрасте.

Кто-то из мудрых сказал: «Писателем делает несчастливое детство». Наверное, это так.

Он рано познал высокое благородство, истинную дружбу и веру в идеал. И обрел много друзей на всех континентах Земли. Потому что не был равнодушным.

Он стал выдающимся очеркистом, публицистом, крупным прозаиком. Он создал ряд достойных, познавательных романов — «Стрела Махамбета», «Гонец», «Возвращение Учителя», «Дорога людей».

Ему принадлежали широко известные повести, рассказы, очерки, статьи. Все его произведения переведены на многие языки ближнего и дальнего зарубежья.

Познав мир во всех его красках, неустанно постигая вечную и бесконечную Дорогу людей, он никогда не забывал свой родной аул с ласковым именем Карлыгаш — Ласточка. Он с гордостью говорил и писал о своей земле, о своем народе, о его культуре и истории.

Он признавался: «Я побывал во многих странах — и на Востоке, и на Западе. Видел разные лики земли — и сказочные, и легендарные. Но нигде я не видел зеленых долин и голубых гор, подобных нашим. Описать их красоту невозможно».

Он не был обделен славой и высокими титулами: лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана, Государственной премии имени Абая, Международной премии имени Дж. Неру, награжден правительственными наградами. Занимал высокие посты. Был известным общественным деятелем, Председателем Казахского республиканского комитета защиты мира, членом Правления Советского Фонда мира, народным депутатом Казахской ССР, долгие годы руководил Союзом писателей республики,— всего и не упомяну.

Он был и в зрелом возрасте по-юношески легок, порывист, строен, поджар, подвижен. Густая, вьющаяся, с проседью шевелюра украшала его сухое, смуглое, обветренное лицо. У него была располагающая добрая, открытая улыбка. Он много путешествовал, многое видел и знал, чутко вслушивался в тревожный пульс планеты. Это была колоритная личность в культуре нашей страны.

И тут я, пожалуй, позволю себе затронуть одну деликатную тему, о которой во время длительных прогулок мы с Ануаром говорили не однажды то с насмешкой, то с горькой досадой. Ануар учился в русской школе, окончил русский факультет университета, я, наоборот, окончил казахскую аульную школу, вырос в казахской среде, общался преимущественно в казахской сфере, знаю казахскую ментальность и высокого мнения и представления обо всем подлинно казахском, но оба мы хорошо чувствовали одну казахскую слабость — склонность к подспудным интригам, мелкой возне, к тому, что сами казахи называют

объемным и абстрактным словом «Лік-шілік», что я по-русски передаю словосочетанием «дела-делишки». Так вот, в те годы, в 60—80-е, мне кажется, в Союзе писателей Казахстана и вообще в писательской среде этой возни, этого «Лік-шілік» было всегда с избытком. Вечно бурлили какие-то страсти, возникали некие группы и группки, которые бурно, нудно, тяготно, открыто и потаенно то жестко, в лоб, то тонко, с подковырками и изящным коварством выясняли Бог весть какие отношения. В эти склоки вступали и ЦК партии, и вездесущие органы, и другие разные организации, и разные встречные-поперечные /по-казахски это называется «көлденең көк атты»/. Эти бесплодные баталии занимали умы и сердца многих. Ануар и как руководитель и как активная, темпераментная натура, естественно, не стоял в стороне от этих изнурительных бурь. Я старался быть объективным, избегал, как мог, группового настроения, памятуя добрый совет аксакалов: «қазақтың ісіне араласпа, қайтесің?» /то есть, «не вмешивайся в казахские дела, зачем тебе?!»/. Некоторые давние мои друзья открыто не жаловали Ануара, чернили его почем зря, сводили счеты, строили каверзы. У него было много друзей, но и недоброжелателей был избыток. Иногда эти пристрастия, эта грызня принимали явно вздорный, никчемный оттенок, но что было, то было. Ануар, по натуре мягкий, деликатный, общительный, самолюбивый, как истый детдомовец, испытывавший все тяготы сиротства, защищался, огрызался, как мог, и обид не прощал. И временами ему было трудно, очень трудно. Немцы-литераторы /в те годы они составляли солидную группу, это было еще до исхода в Германию/ Ануара любили, поддерживали его. Одна немка-поэтесса, прошедшая через тюрьмы и лагеря, помню, особенно сочувствовала ему, полагая, что все его почему-то клюют и обижают. Действительно, внешне Ануар иногда производил впечатление человека затравленного, загнанного, испуганного, боязливого, ждущего коварных ударов изподтишка, из-за угла. Но это было ошибочное представление. В действительности он был цепкий, собранный, стойкий, выносливый и обладал незаурядным бойцовским характером.

И обрушился тот скорбный час. Рухнул остов его земной жизни.

Запись из дневника.

«9.XI.93.

Черная весть: скончался Энеке - Ануар Алимжанов. Прекрасный литератор, активный, деятельный человек. Один из хороших моих товарищей. В последние годы мы были весьма близки. Часто встречались, беседовали, гуляли по Красина. В августе он разыскал для моей жены книжку Макатаева на русском языке. Потом я уехал в Ташкент, он с женой — отдыхать в Грецию. Вернувшись оттуда, занемог. Несколько раз беседовали по телефону. Были на совместном заседании Национального Совета при Президенте; он радовался, что вот-вот выйдет «его» газета; рассказывал о «своей» партии. Были у него замыслы — деловые, творческие. Интересовался ПЕН-клубом. В мае было ему 63... Горько, тоскливо».

«10.XI.93.

Были в доме Ануара. Посидели за скорбным дастарханом. Поговорили с его женой. 2-го он должен был лететь на операцию в Германию в какую-то университетскую клинику. Аллаху это было не угодно ...»

«11. XI. 93.

Хоронили Ануара. Народу было много. Сотни знакомых. Был я и на кладбище. На траурном митинге выступили Абиш, Симашко, Дулат, земляк и брат Ануара. Потом были поминки в ресторане «Алматы». День был теплый, солнечный, ясный. Погода благоволила. Ануар все время перед глазами. Жаль. Грустно. Тоскливо».

С тех пор прошло шесть лет. Я после больницы, больной пишу эти строки, а за окном плачет еще одна осень скоротечной нашей жизни. И я повторяю про себя те дневниковые записи. Жаль. Грустно. Тоскливо.

Но были те времена и был беспокойный, неугомонный, талантливый Человек со звучным именем Ануар Алимжанов, которого помним.

26. X. 99 г.

СЫН ОТЕЧЕСТВА

Создатель явно благоволит к нему: щедро одарил его всем — многогранным талантом, яркой внешностью, звучным голосом, общественным темпераментом, обаянием и артистизмом.

Он, можно сказать, баловень судьбы.

Избранник земли, если воспользоваться емкой формулой Гете.

Его знают во всем мире главным образом как Поэта и общественного деятеля.

Но он еще блистательный лингвист, тюрколог, историк, культуролог. И во всех этих ипостасях он выступает броско, масштабно, оригинально.

Абай говорил: не будь сыном отца, будь сыном Отечества.

Олжас из этого славного племени.

Он неустанно утверждает великие истины: мир един, культура едина, каждый народ внес достойный вклад в мировую цивилизацию, все мы — Земляне.

Нет Востока

И Запада нет —

Два сына есть у отца!

Олжасу шестьдесят. Он полон сил, энергии, идей, любви. И он по-прежнему красив. “Поэт красивым должен быть, как Бог!” Его слова. Искренне поздравляю его со славным юбилеем!

8 мая 1996 г.

АСКАР

/ПАМЯТИ ДРУГА/

«Личность человеческая более
таинственна, чем мир. Она и есть
целый мир»

Н. Бердяев

«Болатын бөлек жүрісі,
Өзі де еді от бөлек.
Көңіліне қонбай бір ісі,
Өмірге кетті ол өкпелеп...»

С. Асанов

Студентом третьего курса КазПИ им. Абая — а это был 1957 год — я обратил внимание на одного первокурсника казахского отделения литературного факультета. Пожалуй, ничем он не отличался от своих сверстников — выходцев из аула. Смуглый, круглолицый, щуплый. Но внимание мое он привлек тем, что ночами напролет сидел в холле общежития, рядом с дежурной, рыхлой, доброй бабушкой Ульяной, уткнувшись кривым носом в толстые книги.

В те года в общежитии по ул. Советской, 32 царил порядок: после одиннадцати ночи было положено спать. Свет горел лишь в закутке холла, и здесь неизменно бодрствовали двое: бабушка Ульяна на боевом посту нравственности и этот щуплый, смуглый юнец за каким-нибудь фолиантом. Его ночные бдения почему-то многих старшекурсников раздражали. Ишь, книгочей нашелся! Не спится ему! Дня ему мало... И кого он читает? Не казахских, не русских

классиков, как все нормальные литфаковцы пединститута, а сплошь иностранцев. Бальзака. Гюго. Генриха Манна. А то и вовсе Бог весть каких философов. Откуда он взялся, грамотей?

«С юга,— ответил его сокурсник, мой земляк и однокашник Ермек Конарбаев.— Учится хорошо, но по русской части не силен».

Вскоре мы познакомились. Я узнал, что зовут его Аскаром Сулейменовым. Жили мы, однако, в разных сферах. И интересы были разные.

Таково начало.

А вот конец:

15 мая 1992 года после какого-то заседания я бродил возле Верховного Совета в ожидании Абе /Нурпеисова/, застрявшего по обыкновению у очередного высокого начальства. День был солнечный, уютный.

Вдруг из здания — явно озабоченные, хмурые — вышли Абиш Кекилбаев и Нурлан Оразалиев. «Мне только что позвонили: умер Аскар», — глухо сообщил Абиш. — «Какой Аскар?» — «Сулейменов». — «Ка-ак?!»

Это было непостижимо, немыслимо. Абиш и Нурлан куда-то умчались, а я еще долго кружился на площадке у входа, ожидая Нурпеисова, чтобы поделиться моим страшным, внезапным горем.

Нурпеисов посерел лицом, долго молчал. Потом обескураженно выдохнул: «Апырай, а?! ...»

Мы тотчас отправились к матери Аскара выразить соболезнование.

И между этими двумя событиями пролегла тридцатипятилетняя жизнь, наполненная Аскаром: учеба в аспирантуре КазПИ, работа в журнале «Жулдыз», частые встречи, взаимные посещения, долгие разговоры, беседы по телефону, все то, что рождает между людьми взаимную приязнь, духовное родство, дружбу, искренность, привязанность, нежность.

Я это неизменно чувствовал, а теперь и понимаю: ему всегда было трудно жить. Неуютно. Я не вкладываю в это житейский смысл, хотя и в сугубо житейском плане жизнь его никак не баловала. Он был не такой, как все. Дух его отчаянно рвался к свободе. А свободы не было. Только к концу его жизни она слегка забрезжила. И потому Дух его был постоянно — или большей частью — подавлен, омрачен.

Он лишался естественности, непринужденности. Грациозности мысли. Изысканности мудрствования. Взыскуемой гармонии формы и содержания. И это в свой черед приводило к хроническому одиночеству. К внутренней эмиграции. Он жил не в свое время. Вероятно, он вписался бы органичнее в арабский мир X—XI веков. Или в европейский Ренессанс.

Опор было мало. Порой их вообще не было. Временами оставались только Музыка, которую он боготворил, и Лошадь /жылкы/, которая обретала для него некий магический символ вожденной свободы.

Непохожесть его на большинство из двуногого племени, нестандартность поведения, нешаблонность мышления многих раздражала. Оригинальность его для обыкновенных божьих созданий казалась иногда оригинальничаньем, фрондерством, затянувшейся бравадой, игрой. Им просто не хотелось признать, что он, Аскар, другого поля ягода, другому скроен, иначе создан.

Н. А. Бердяев в «Самопознании» пишет: «Свобода, личность, творчество лежат в основании моего мироощущения и миросозерцания». Я думаю, то же мог сказать о себе и Аскар. Общие каноны, самодовлеющий порядок были ему противопоказаны.

В мире духовности он еще мог дышать. Но в мире реальном, практическом, грубом, банальном, где надо подлаживаться, приспосабливаться, лавировать или смиряться, он просто задышался.

В таких случаях, бывало, он становился трудным в общении, невыносимым, дерзким, задиристым, выставял напоказ отнюдь не лучшие свои качества, словно находил мазохистскую усладу в том, что настраивал окружающих против себя. Конформизм был ему противопоказан.

Помню, как огромным усилием друзей была подготовлена почва для получения трехкомнатной квартиры, в которой очень нуждалась его семья. Высокий чиновник, сидевший в высоком кресле в ЦК КП Казахстана, пригласил его на беседу, которая должна была как бы вершить долгожданную удачу. И что же? Аскар «через не могу» пошел, затеял спор, произвел на чиновника нарочито отвратное впечатление, эпатировал его диссидентскими шутками, раздражил его, напоследок высмеял его беспощадно и едко, потеряв тем самым всякую надежду на улучшение бытовых

условий и сведя на нет все старания друзей. Ему было тяжело жить в коллективе, по законам коллектива. Всякие надуманные законы, каноны, регламентации, корпоративные интересы были ему в тягость. От этого он и сам страдал и другим доставлял уйму неприятностей.

Приведу несколько записей из дневников разных лет, которые, возможно, дадут более колоритное представление об Аскаре как о самобытной, неординарной личности.

21.09.1961.

В прошлую пятницу был у меня Аскар. Пили вино, посидели, поговорили. Аскар, кажется, остался доволен. Хороший парень. Люблю я его. Из него выйдет толк, если только нужда не засосет. Хочет забрать из аула мать, сестру. А квартиры нет и денег нет. Беда...

10.10.1961.

Встретил Аскара. Оброс. Говорит: «Хотел бы запереться, чтобы не видеть никого. Надоело все!»

5.11.1961.

Вчера Аскар сдал кандидатский минимум по английскому языку. Как сдал — ума не приложу. Английский он знает столько же, сколько я — фарси. Но — обмыли. Аскар, Костюхин и я. Выпили три бутылки сухого. Закусывали сигаретами. Говорили о XXII съезде КПСС, о Китае, о выступлениях Шолохова и фанатике Кочетове. Кочетова ругали все вместе.

11.02.1962.

Иду мимо общежития КазПИ. Слышу необыкновенное трагическое пение. Застыл, прислушался. Видимо, это Аскар что-то новое приобрел. Он все свои гроши тратит на пластинки. Сам же питается одними сигаретами. Курит и слушает музыку. Зашел к нему. Понял: «Реквием» Моцарта. Аскар мрачный, насупленный, стоит у окна, слушает. В комнате тарарам. На столе, кровати, на полу книги, вестники, журналы, газеты, пластинки, пепел.

— Вы знаете, как меня обругали? — спрашивает по-русски.

— Где? Кто?

— Вот...

И он небрежно, с отвращением подбрасывает мне «Соц. Казакстан». Статья некоего Рахимжанова. Остроумно, резко и в чем-то, думаю, справедливо критикует две статьи Аскара. Читаю вслух. Аскар громко и сардонически хохочет. Зашел разговор о слове «кексе». По Аскару «кексе» означает «зрелость». «Таланттың кекселігі» означает по нему «зрелость таланта». Я сказал, что для меня «кексе» ассоциируется с понятием «пожилой», «старый». Он усмехнулся и перестал спорить. Аскар немножко не такой, как все. И для меня он неожиданный. И все же мне с ним интересно. И у него я отдыхаю.

13.04.1962.

Был у Аскара. Беседовали. Слушали музыку. Говорили о Горьком. Я сказал, что он мудрец. Аскар скривился: «Обыкновенный Иван». Аскар поставил на проигрыватель «Сары жайлау» Таттимбета. Говорил мне: «Это великий композитор. Күңіренеді де отырады. Он философ в музыке. Он никогда не улыбается. Он казахский Бах. Он антипод Курмангазы».

Я невольно улыбнулся, ему не понравилось.

— Вы читали Манна? Томаса?

— Ничего, кроме «Будденброков».

— Ну-у... Как же так?! Когда его читаешь, все время чувствуешь себя ничтожеством. Я это чувствую. И это чувство никогда тебя не покидает. Вот это писатель!

— Читая, чувствовать себя ничтожеством,— разве хорошо? Я, читая, хочу чувствовать себя человеком.

Аскар передернулся. Так раздосадовало его мое мнение.

15.01.1963.

Аскар прочел мне первую главу своей повести. Написано неплохо. Глубокий психологизм. Смесь Хемингуэя, Беллы, Борхерта, Стейнбека. Но своеобразно. Для казахской литературы даже свежо. Вообще он способный парень. Молодец! Но диссертацию пишет туго. Не хочется. Не нравится тема.

14.09.1964.

В среду был у Аскара. Он медленно, но верно встает на ноги. Работа хорошая. 180 рублей зарплата. Заключил

договор с Министерством культуры на перевод пьесы Бертольда Брехта. Так что у него кое-какие шансы появились.

4.12.1966.

Приходил Аскар, но нас дома не было. Он написал на уголке газеты: «Геке, бластенкелерімді аркалап келіп едім, бірақ, бәтенкем тесік болған себепті екі сағаттан артық күте алмадым. Қатын-балаларыңызға сәлем айтыңыз. Ас. 6-20».

10.12.1966.

Вечером пришел Аскар. Прослушали раз пять Девятую симфонию «Бетекен» — так Аскар называет Бетховена. Аскар прочел свой рассказ — хороший, может, несколько тяжело-ватый, мрачноватый, болезненный. Поговорили о том, о сем, в двенадцатом часу ночи он взял один «жамау» для Абдижамила и поехал домой.

8.02.1967.

Вчера вечером был Аскар. Хочет написать пьесу. Замысел интересный. 1916-й год. Судьба казахов. Судьба отвернулась от казахов. Безразлична судьба к казахам. Начали строить юрту, да так и не достроили. Начал старик ремонтировать свой разбитый кобыз, но не суждено было кобызу сыграть скорбный кюй... Написал заявку в Минкульт. Над диссертацией тоже намерен работать.

26.02.1967.

Были у нас Аскар и Алтыншаш. Было хорошо. Они остались ночевать. Легли в третьем часу ночи. Всю ночь слушали Моцарта и Баха. Аскар принес старку. Приятно пьется, но крепкая.

22.05.1967.

Были вчера у меня Абиш и Аскар. Хорошо покалякали. Много интересного поведали они мне. Об Аллилуевой, об обсуждении романа Солженицына. Абиш читал стенограмму. Абиш и Аскар собираются в Ялту в Дом творчества.

23.09.1977.

Прочел Абдижамилу по телефону — отрывками, но почти всю — статью Аскара «Болмыспен бетпе-бет». Рассказал Абе, что статью эту мне передали с усмешкой, и я начал читать ее с предубеждением, опасаясь, что там будут сплошные выкрутасы, до которых Аскар большой охотник, но прочел раз, половину не понял, однако почувствовал — вещь дельная и глубокая; прочел второй раз — нравится больше; в третий раз читая, я ощутил потребность произносить текст вслух, живо слыша при этом интонации Аскара. А утром читал по телефону в четвертый раз. И окончательно понял об Ауэзове нужно только так писать. И такая статья стоит многих серых и убогих статей-исследований и подленьких воспоминаний, где каждая муха — по Горькому — силится оставить свой след в жизни большого человека.

Абе выслушал, сказал, что ему нравится, что он тут же позвонит Сейдахмету Бердикулову, дабы развеять его сомнения, заговорил о Шкловском, о стиле, о своеобразии. «Асқар адамның ойлау қабілетін өнерге айналдырады. Өспейтін әдебиет разнообразияны сүймейді. Біздің миымызға сіңген пайымдар ғана керек. Түсі өзгеріп келгенде біз қабылдамаймыз. Мұның барлығы өреміздің, тарлығы».

(По-русски:

“Способность человека мыслить Аскар превращает в высокое искусство. Неразвивающаяся литература не терпит разнообразия. Наш мозг воспринимает лишь привычные понятия. Если они меняют свой блик, мы их отвергаем. Все это идет от узости нашего восприятия“.)

17.03.1978.

Поздно ночью, по обыкновению, позвонил Аскар. Он только что прочел повесть Н., и она ему очень не понравилась. «Стильді ой жасау керек. Мұнда ой жоқ. Кілең потуги ғана. Тіл арқылы қиындатам дейді, бірақ, не ол?.. Со-о-ондай скучный нәрсе. Ой жоқ, материал жоқ, қазақтың, психологиясы жоқ. Материал должен диктовать стиль и язык. Сіз бірақ ештеңе айтпаңыз. Мен оған Прустан кейінгі ең үлкен шаруа жасап жатыр екенсіз деп айтайын. Көлемі қанша дейсіз? 350 бет?! Пәлі ... Бұл да енді Фолкнер, Пруст, Джойс дегендерден бірдеме естіген ғой ...»

(По-русски:

“Стиль определяется мыслью. Здесь же нет мысли. Сплошные потуги. Он старается усложнять все посредством языка, но что из этого? Та-а-кая скучная вещь. Нет мысли, нет материала, нет психологии казахов. Материал должен диктовать стиль и язык. Но вы ему ничего не говорите. А я ему скажу, что он занялся самым крупным после Пруста делом. Каков, говорите, объем? 350 страниц?! Вот те раз! Конечно, он тоже ведь что-то слышал про Фолкнера, Пруста, Джойса”).

17.01.1981.

Долго и восторженно говорили с Аскаром по телефону о романе Чингиза Айтматова. По мнению Аскара, Чингиз и Кара Караев — два титана современной тюркской культуры, и смешны те, кто тщится соперничать с ними. Далее Аскар сказал, что Айтматов из тех, кто сейчас пишет, и тех, кто только намеревается писать, «алдын орап алды», ибо после этого романа, как бы они ни писали, все будет вторичным. Я заметил, что в таком духе выразился однажды Куприн, сказав, что «этот старик» /Лев Толстой/ общипал нас всех на сто лет вперед. /У Куприна, помнится, другой глагол, я не могу его сейчас вспомнить, но смысл примерно такой/. Аскар рассмеялся: «Но Толстой все же кое-где оставлял волосинки, а Чингиз бреет подчистую лезвиями жиллет, не оставляя другим ничего». Я сказал, что кажутся лишними первые страницы публицистики от себя, на что Аскар заметил, что это просто литературный ход автора, что это намек, ложный след для критиков, дескать, дает направление, мол, «осы жерімді ғана қаси-сындар». По Аскару, Чингиз оставил наверняка страниц 8—9 про запас — наиболее острые, щепетильные страницы — для отдельного издания. Еще Аскар сказал, что Чингиз охватил все, что зарубежной критике есть о чем говорить, что даже фантастика, все эти «Паритеты», «Конвенция», «Лесная Грудь» и прочие — тщательно продуманы и выбраны с большим смыслом. Говорили мы и о том, что есть писатели, которые сразу набирали большую высоту и не снижались /Ауэзов, Хемингуэй/. Писателей, которые снижаются с каждым новым произведением, — много. А вот писателей, которые растут от произведения к произведению, —

очень мало. И один из них Айтматов. Написал он ведь не так и много. К плодовитым его не отнесешь, а ощущение такое, что написал он много, и это потому, что каждое его произведение — этапное, выше предыдущего. А как он далеко ушел от первых своих повестей!..

* * *

Боже, сколько было у нас телефонных разговоров! Он мог позвонить неожиданно глубокой ночью и сказать: «Геке! Послушайте Таттимбета. Потрясающе!»

Он у себя ставил на проигрыватель незнакомый мне кюй, а я, полусонный, слушал его по телефону в ночной тиши. Через некоторое время он спрашивал: «Ну, как? Гениально! А теперь послушайте Малера. Потрясающе!» Таким образом он заставлял меня слушать Бетховена, Моцарта, Баха, Гайдна, Стравинского, Рахманинова. Иногда подолгу читал — опять-таки по телефону — выписки из книг, пространно комментируя те или иные цитаты.

Вообще была у нас любимая игра — обыгрывать цитаты, прибегать к литературным реминисценциям.

— Ал-еу-еу... это маршал брезидент Прежнев Юрий Андропович,— говорил врасстяжку, хрипловато Аскар, и я догадывался, что он цитирует Юза Алешковского, о котором накануне была где-то статья, и отвечал также его фразой:

— Да, да... головокружение будет за нами!..

Или так:

— Ал-еу-еу... Это кырт Жуман...— И Аскар начинал цитировать начало третьей книги «Пути Абая»: «Күз аспаны күнгірт, бүлүнгүр. Ауада дымкыл сыз бар».

— Ия, солай,— отвечал я ему в тон.— «Сүр бүлт түсі суық каптайды аспан».

— Да-а... Оңып тұрған дүние жок. «Күз болып дымкыл түман жерді баскан»...

— Нешауа... «Қар жауса да тоңбайды бай баласы»...

— Ха-ха!... «Карл баласы» деңіз.

— Согласен. «Қар жауса да тоңбайды Карл баласы».

— Әрине... Өйткені: «Үй жылы, киіз тұтқан айналасы».

Так мы подолгу устраивали перекличку цитат из Абая и Ауэзова. Звоня, он каждый раз представлялся по-разному, в зависимости от актуальной политической конъюнктуры.

— Это Алкснис... Это Умалатов, муж Сажи... Это Эгон Кренц... Это Василий Иванович Казаков...

* * *

Есть у меня «лошадиный словарь», составленный мной для переводческих нужд. «Лошадиная» лексика у казахов чрезвычайно богата. И русский эквивалент находится не всегда.

Аскар как-то внимательно проштудировал этот мой словарь и сделал карандашом пометы.

«Выстойка» — рядом он написал «таң асыру».

«Трот» — текірек.

«Храп» — парыл.

«Холка» — шоктык.

«Саяқ жылқы» — мерины, выделенные в отдельный косяк. /В скобках Аскар написал — «диссидент». Получилось образно: «Саяк» — «мерин-диссидент»/.

«Тұлпар» — Аскар пояснил: «вне конкурса».

* * *

Однажды он мне объяснил: от любви осла с кобылицей рождается мул. Если отец жеребец, а мамочка — ослица, то сын — лошак.

И добавил: в казахской литературе больше всего лошаков и мулов.

* * *

Язвительен он бывал часто. Как-то заметил: «Миы жок халықтың бәрі сталинист. ("Все безмозглые народы — сталинисты"). Не жаловал пышнословие, пустобайство, трюизмы.

Говорил, кривя тонкие губы: «кыртиянство», «кумбульдизм».

К современной казахской литературе у него было сложное отношение. Для него было мукой читать примитив, безязыкое «ботқа» (тюря), нудное описательство. Иногда он говорил: я уже десять лет казахов не читаю. Я, однако, знал, что это бравада. Читал, хотя и избирательно. По

душе ему были Абиш, Дулат, Сатимжан, Иранбек, Марат, Баккожа, Фариза, Мукагали. Высоко почитал Ахтанова — и как прозаика, и как человека.

Сам он писал филологическую прозу с сильным уклоном в психологизм, экспериментальную прозу — совершенно не культивируемую в казахской литературе, а потому чуждую, недоступную массовому читателю. В этом смысле постижение Аскара-прозаика еще впереди. То же самое я сказал бы и о его многоплановых, многослойных диалогах — и в прозе, и в драмах. Они многомерны, многозначны, объемны именно своим подтекстом. Казахского же читателя слишком долго приучали к однозначной, одномерной плоской повествовательной интонации. Эстетический критерий Аскара был высок и многоцветен. В утверждении своего эстетического идеала ему приходилось идти против течения. Тут не мудрено было надорваться.

* * *

Одно время мы затеяли с ним игру: подражая японской поэтической форме, сочиняли трехстишия. При этом одну строку придумывал я, две — Аскар. Иногда — наоборот. Это была забава. Для смеха. Для внутреннего пользования. Но и в этих трехстишиях-пустышках отразились аскаровские черты, манеры, пристрастия. Приведу некоторые, почти всецело аскаровские:

Аспанда бұлт —
Ауып жүрген ала қар.
Көз аласын қан жапты.

Көше толы азбан шал,
Мөлиеді қыздарға —
Келгені ғой көктемнің.

Ұйыған түн.
Сұр дауысы сұм байғыздың —
Гайдн.

Қараағаштың, бұтағы
Топшысы сынған қарғадай,
Қар қалың.

Ала қарға, с-с-собака,
Қаркылдайды аспанда.
Қараша келді, значит.

Шындык — жабы,
Ақиқат — күлік.
Ағаштар жаланбұт қалды.

В этих шутливых, незатейливых строках запечатлены образность, метафоричность, ассоциативность аскаровского речестроя.

Все эти строки фактически непереводимы. При буквальном переводе на русский язык теряется весь шарм, «изюминка», игра слов и заветный смысл. Поэтому автор их приводит только в оригинале.

Слово «күлік» он любил. В цикле рассказов о Биржане сказано: «жабыға жарасар көнтерілік — күлікке мін». Этим философским кредо он, по-моему, руководствовался и в человеческой жизни. Терпеливость, покладистость рабочей клячи отнюдь не достоинство для вдохновенного призового скакуна. Таков — примерно — смысл этой сентенции.

* * *

Месяца за три до своей кончины он заказал мне эссе для журнала «Парасат». Эссе должно было быть обо мне. Аскар даже придумал название — «Зар» — то есть «Горький плач», «Вопль души». О горьком горе репрессированного в детстве. О тяжелой зарубке на сердце. Психика подбитого в раннем, хрупком возрасте. Состояние человека, вынужденно оказавшегося на стыке разных культур, живущего в иной языковой среде. Исповедь израненной души. Плач современного Маугли в свихнувшемся мире. Вопль души, отлученной, отторженной от своей естественной субстанции.

Я поразился этому заказу. Аскар задел самые потаенные мои струны. Это трагическая, неизбывная боль, о которой не каждому расскажешь. Или вообще не расскажешь. Ибо не всем, далеко не всем дано это понять. А душу раскрывать перед толстокожим — какой смысл? У Аскара, однако, было чувство чужой боли. И мое настроение он улавливал точнее других моих друзей и сочувствовал по-человечески глубже. «Зар», «зар», «зар» — вострепелась моя душа.

Я согласился. Договорились: страниц 12—13. На разворот. Написать к маю...

А в мае Аскар покинул нас навсегда. И вряд ли я в оставшейся своей жизни решусь на такую исповедь. Так этот «Зар» и останется со мной.

Приходил он, бывало, неожиданно. «Как вы?» Он произносил эту форму приветствия — кальку с казахского «Қалайсыз?» — своеобразно: сказав «как», делал паузу, потом врасстяжку говорил «Вы-и?». И я неизменно отвечал: «Э, живой пока...». Он на миг задерживался у порога. Тонкий, худой, одетый в обтяжку. Ноги ставил как-то странно, носками вовнутрь. Серолицый. Сутуловатый. Крючконосый. В шляпе. Пришелец с другой планеты. Или представитель диковинной южной страны.

Раздевшись, проходил в кабинет, бросал на стол пачку сигарет, зажигалку, требовал пепельницу, закуривал, ставил на проигрыватель пластинку, начинал листать книги, просматривать журналы, пить чай или кофе, коньяк или вино, говорил, расспрашивал, через десять-пятнадцать минут устраивал в доме настоящий тарарам, т.е. классический творческий беспорядок. Это ему поразительно удавалось. И это ему шло. Никто у меня так раскованно, так вольно себя не вел, как Аскар — этот артист Духа, избранник интеллекта.

Так же неожиданно исчезал, прихватив пару-другую книг или журналов. Чаще всего с концом. Такая уж была у него слабость. От этих встреч оставалось ощущение творческой легкости, духовности, изящества, удавалось ненадолго отринуть суету и мишуру серого бытия.

* * *

Идей, задумок, замыслов было у него уйма. Он их раздавал налево-направо, щедро, походя. Он продуцировал идеи, но реализовать, осуществлять их чаще всего не мог. Не хватало сил, воли, усидчивости.

Незадолго до своей кончины он поделился своей идеей составить книгу для издательства «Ахмет Яссауи». Условное название книги: «Ұлттар, ұлыстар өздерінің көзімен», то есть «Народы и нации своими глазами». Он намеревался составить эту книгу за девять месяцев в объеме десяти печатных листов. В книгу должны были войти высказывания

Чаадаева, Герцена, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Лермонтова, Чернышевского, Ленина, Соловьева, Флоренского, Шестова, Гершензона /«Вехи»/, Бердяева.

Да-а... замысел был прекрасный...

* * *

Когда его тело опускали в землю у крутого склона «Кенсая», мне стало не по себе. Я отошел в сторону и сел на жесткую, пыльную прошлогоднюю траву. Было тихо. Внизу простирался в дымке громадный город, в котором уже не было и отныне никогда уже не будет Аскара — этого ни на кого не похожего, одинокого в душе, неприкаянного путника. «Ия, Гер-ага... досыңыздан айырылдыңыз...», — заметил, проходя мимо, Кулбек Ергобеков. Я только кивнул. Слов не было. Да и не хотелось слов...

А видел я его в последний раз в Доме печати возле «Кок-базара». Я спускался по ступенькам, а он поднимался стремительно вверх — в черной шляпе, черной куртке, серолицый, скрученный, озабоченный. В холодных, суровых зрачках стыли отрешенность, сосредоточенность. «Оу, Аскар!» — вырвалось у меня. Он на миг остановился, погасил муть в глазах, спросил по своему обыкновению с только ему свойственной интонацией: «Как... вы-и?» И, выслушав короткий традиционный мой ответ, ринулся ввысь, через ступеньки — легкий, стремительный, сумрачный, погруженный в неведомые мне мысли.

Я не знал тогда, что жить ему оставалось несколько дней.

Но знал ли он?..

Таким он и запомнился мне напоследок — Аскар, летящий вверх по крутым ступенькам...

20 марта 1994 г.

Post Skriptum

На поминках после похорон, помню, хорошо говорил об Аскаре академик Зейнолла Кабдолов. Он сказал: «Аскар не умер. Аскар только начинается». Как в воду глядел! Именно после земной жизни воссияла его литературная слава. Усилиями и стараниями прежде всего недолгой спутницы

Аскара, скромной и талантливой Алии Бупежановой /«Жаксы бала»,— сказал он как-то мне о ней, когда я восхищенно отозвался об их совместном диалоге в «Қазақ әдебиеті»/, а также его детей и друзей была собрана и переиздана его проза, дневниковые записи и максимы, на сцене Казахского академического драматического театра поставлены все его пьесы, о нем написано немало воспоминаний, его упоминают и цитируют в бесчисленных статьях, он стал кумиром молодых, дерзких, раскованных литераторов, он посмертно стал лауреатом Государственной премии им.Абая, о чем при жизни и не мечтал. Он оставил заметный, благородный след не только в казахской литературе, но — самое важное — в национальном самосознании. Поистине, Аскар пережил свое время — высшая награда для творца. Мир тени его!

сентябрь, 1998 г.

«Я ВЫШЕЛ НА ПАЛУБУ, А ПАЛУБЫ — ЙОК...»

В конце августа 1993 года в Алматы прилетел из Санкт-Петербурга выдающийся русский поэт Михаил Дудин. Пожаловал он в наш город по приглашению Абдижамила Нурпеисова с целью перевести стихи Абая. Жили Михаил Александрович и Ирина Николаевна Дудины в санатории «Алматы» — дивном уголке на окраине столицы. Были предусмотрены все условия для успешной творческой работы.

Еще при встрече в аэропорту Михаил Александрович высказал желание иметь «Путь Абая» Ауэзова и Коран. Он искал пути-подходы к творчеству Абая, хотя уже успел по моим подстрочникам перевести девять его стихотворений.

Он был поразительно общительным, открытым человеком. За короткое время успел обзавестись множеством друзей в Алматы.

И я его навещал не однажды, привозил ему новые подстрочники Абая, его философские миниатюры в разных переводах.

Сентябрь в том году был удивительно солнечным и синеглазым. В прозрачном воздухе зыбились благостно-задумчивые горы. Казалось, до них рукой подать, но были они далеки и недоступны. Вокруг санатория буйствовал осенний букет листьев. В колкой тишине мы бродили часами по маршруту номер три. Михаил Александрович помахивал тростью, читал стихи, рассказывал о русских философах, американских прозаиках, говорил умно, вдохновенно, ярко, а я больше слушал, внимал ему, любовался им,

невольно вспоминая строку Олжаса: «Поэт красивым должен быть, как Бог». Он был полон обаяния, поэт Михаил Дудин: мудр, интеллигентен, артистичен, мил.

Таким он запомнился мне и на Празднике переводческого искусства в Армении в начале ноября 1982 года, где я сподобился видеть его впервые рядом, близко в течение недели. Помню, как взволнованно и трепетно читал он пронзительно печальные стихи на заоблачном перевале, на том самом священном месте, где по дороге в Эрзерум великий Пушкин встретил гроб с телом своего погибшего друга и тезки — Александра Сергеевича Грибоедова. Не думал я тогда, что одиннадцать лет спустя на тропе к Абаю судьба уготовит мне такую встречу вновь.

Блистательный поэт, опытный, признанный переводчик Михаил Александрович, однако, осторожно, робко, очень вдумчиво и серьезно приступил к переводу Абая. Вновь и вновь вчитывался в прежние, давние русские переводы и в мои подстрочники, перечитал «Книгу слов», «Путь Абая» /говорил: «Умная, достойная книга»!/, Коран, исторические повести Абиша Кекилбаева /о «Хатынгольской балладе» сказал: «Это произведение, в котором умная мысль нашла свою форму изложения»/, съездил на родину Абая, посетил его музеи, поклонился могиле вблизи Чингисских гор, руководствуясь мудрым заветом Гете: «Кто хочет познать Поэта, да отправится в страну Поэта».

Во время наших прогулок Михаил Александрович особенно тепло говорил о Сергее Орлове и Кайсыне Кулиеве. Горячо рекомендовал мне прочесть поэму Кулиева «Половецкая луна». Но сначала, по мнению Дудина, необходимо прочесть «Слово о полку Игореве» непременно в переводе Игоря Шкляревского. Если «Слово» — взгляд из России в Орду, то поэма Кулиева — взгляд из Орды в Россию.

Имел он обыкновение на прогулке читать стихи — свои и чужие, по поводу и без. Особенно часто читал он эпитафии и разные потешные, едкие, соленые штучки из «Грешных рифм».

Расторглась жизнь, распались времена
Предатели сменили имена.
И предали, и продали народ,
И получили злато наперед.

— Что верно, то верно, — подавал я иногда голос.
Дудин читал:

О близком благоденствии страны
Болтают лихо верные сыны,
И от стараний этих болтунов
Мы можем оказаться без штанов.

...Все громче раздается болтовня
Над горьким горем завтрашнего дня.

Или:

Давно одна напасть
Для всех определилась:
Идет война за власть,
А не за справедливость.

Говорили о невеселом положении в России и Казахстане, о превратностях, вселяющих тревогу, и Дудин тотчас резюмировал:

Святая правда есть.
Но что с нее возьмешь?
Власть — любит лесть,
А лесть рождает ложь.
И нас с тобой
Опутало вранье.
И над земной судьбой
Кружится воронье.

К этой теме — воронья, кружащегося над земной судьбой — он возвращался вновь и вновь.

Обиду ест обида,
И ложь рождает ложь.
И маленькая гнида
В потенциале — вошь.

Беседы наши текли обычно вольно, вразброс. Пересказывали на разные темы. Неприсязательно, импульсивно. Говорили об американской литературе. Дудину больше всех нравились Эдгар По и Томас Вулф. Говорили о философе Федоре Степуне. И любой разговор обильно перемежался стихами — серьезными, шуточными, солдатскими, скабресными. Вспоминал Михаил Александрович своих друзей-наставников — Н. Тихонова, П. Антокольского.

Я поинтересовался, сколько примерно вышло его книг. Подумав, он сказал, что вместе с переводными, пожалуй, около ста пятидесяти. А первая вышла еще в 1939 году в Иваново. «Книжка была слабая,— заметил Михаил Александрович,— но там были две крепкие строчки. Я их выболтал, сам не зная, как». И он их процитировал:

А родина больна такой болезнью,
Которую не вылечить врачам.

Помню, за многочасовые прогулки вокруг санатория он читал великолепные строки о «лакеях-люциферах», что-то из рукописи «Дорогой крови по дороге к Богу», несколько стихотворений Ивана Бунина /одно из них он посоветовал мне выучить наизусть/, несметное количество озорных частушек /«Мы гуляли, окна били, вышибали косяки. Неужели нас посадят за такие пустяки?»/ и что-то из солдатского фольклора /«И хрен стоял у старшины, как без бензина студебеккер»... Это пелось на мотив песни «Ревела буря, гром гремел». И, повторив эту строчку, М.А. восторженно спрашивал: «Скажите, Герольд, разве такой народ можно победить?!»/. После одной из таких прогулок он подарил мне выструганную им трость. Позже я узнал, что он разда-рил их великое множество.

Особенно часто он повторял-выпевал тоненьким тягучим голосом на мотив известной песни одну шутилистую строчку: «Я вышел на палубу, а палубы — йок...» Объяснил мне, что эта строчка — своеобразный пароль его друзей — Кайсына Кулиева, Мустая Карима, Давида Кутультинова. Что-то комическое и одновременно пронзительно-трагическое чудилось им в этой строке. Действительно, эти люди, прожившие схожую жизнь, вынесшие общую судьбу, вышли однажды на палубу, а палубы-то и нет... Нечто подобное, видимо, испытывают многие мыслящие, чуткие сердцем и душой люди на исходе жизни...

Над переводами Абая он продолжал работать и в Петербурге, присылал милые письма: «Если Вы сделаете еще пять-шесть подстрочников и вышлете мне, я буду очень признателен...»

«Посылаю Вам на сей раз десять Абаев, поговорите с ним, с Абаем, десять раз по-русски. Охоту с беркутом я

перевел по-своему, своевольничая, по-другому у меня просто-напросто не получилось. Жду от Вас еще четыре-пять подстрочников и среди них непременно «Тулпара не обгонит конь простой». Не знаю, что у меня произойдет с этим бараном, но пробовать его хочется».

«Хожу по Ленинграду в Семипалатинском полушубке. Тепло».

Каждое письмо заканчивал своим любимым словечком «Будьте!» На конверте нередко рисовал свой профиль. У меня сохранился еще его дружеский шарж на Расула Гамзатова.

Был он легок, изящен, бодр. Был склонен к шутке. Говорил женщинам комплименты, иногда рискованные. Одаривал их дорогими конфетами.

Закончив перевод тридцати трех стихотворений Абая, намеревался написать еще предисловие к его русскому изданию. Говорил: «Мне даже снится это предисловие». Писал: «Авось, к Новому году все и закончу...»

Не суждено было.

Недолго болел Михаил Александрович. А в первый день Нового — 1994 — года скончался. 5 января на рассвете мы с Абдижамилем Нурпеисовым через Москву прибыли в Петербург. Было пасмурно, морозно, отчаянно гололедно. Панихида проходила в Доме дружбы. Народу собралось много. Прекрасные, открытые, одухотворенные лица. Я узнал Д.Гранина, Ю.Рытхеу, М.Аникушина, М.Борисову. Ирина Николаевна, заметив нас, подошла, обняла, воскликнула: «Ой, ребята! Теперь мне ничего не страшно!» Звучали высокие прощальные речи, играл струнный квартет. Выступил от имени казахстанцев Абе /Абдижамил/. Потом в Книжной лавке состоялся поминальный обед. Собравшиеся тепло вспоминали Михаила Александровича, его жизнь, поступки, манеры, шутки-остроты, человеческие и гражданские достоинства. Вспомнились и мне наши встречи, беседы, прогулки вокруг санатория «Алматы». И я с горечью повторял про себя шуточную строку: «Я вышел на палубу, а палубы — йок...»

27.12.1996 г.

ОН БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПИСАТЕЛЬ, И ШИРЕ, ЧЕМ ПОЛИТИК

К 60-ЛЕТИЮ АБИША КЕКИЛБАЕВА

В последние годы мы встречаемся и общаемся все реже. И вращаемся в разных сферах. Он, маститый художник и видный государственный чиновник, обитает на олимпе власти. Я, пролетарий пера, все больше тяготею к ропщущим низам. Да и живем мы с некоторых пор в разных городах: он — в стольном граде, я — в провинции, все более обретающей облик покинутой жены. Но нить духовного братства и дружбы, благодарной памяти и родства судеб, скрепленная взаимными творческими интересами, слава Аллаху, не ослабела, не оборвалась...

А встретились мы впервые без малого сорок лет назад на квартире Абдижамила Нурпеисова, которого молодая литературная поросль уже тогда почтительно называла «шал» — «стариком». Чернявый, худошавый, кудрявый, живоглазый юноша с неведомого мне тогда диковинного полуострова Мангышлак обаял меня сразу же. В скромном кабинете Абе мы пробеседовали с вечера до утра. «Умный парень», — записал я потом в дневнике. Будучи старше на пять лет, я тем не менее явственно ощутил его интеллектуальное, духовное превосходство.

За свою жизнь Абиш успел написать немало: романы, повести, рассказы, очерки, публицистические статьи, исследования, драмы, переводы, стихи, либретто. Все вместе составит, полагаю, томов десять. Это добротные художественные творения, отмеченные талантом и высоким философским

190

накалом. Об этом свидетельствует и тот факт, что большинство его произведений переведены на многие языки мира, включены в авторитетные антологии, вошли в оборот научной и художественной мысли, приковали внимание многих издательств и критиков. Особенно популярен он был в бывшей ГДР, где неоднократно издавались наиболее значимые его книги и где особенно активно писали о нем критики. И при этом он умудрялся всегда служить государству, занимая ответственные посты и уделяя этой работе — зачастую невидимой, рутинной, изнуряющей и далеко не всегда благодарной — уйму времени, сил, здоровья, страсти. То, что ему удавалось сочетать творчество с высокой службой, достойно изумления и восхищения.

Но сколько осталось неосуществленных замыслов — страшно подумать! Об этом знают лишь он да кое-кто из близких друзей. Разумеется, каждый сам распоряжается своим Божьим даром. Однако жертва, принесенная им во имя государственной службы, слишком огромна и, может, неоправданна, несопоставима с неродившимися гипотетическими творениями. Государство поступило опрометчиво, неразумно, использовав его редчайший талант не по назначению. Декоративные регалии, ирреальная, показушная жизнь власти, если и не губительны, то во всяком случае абсолютно бесплодны, обременительны, ничтожны для истинного художника. Конечно, он не просто протирал штаны в высоких креслах: давал в полном смысле ценные указания, формулировал некоторые истины, создавал политически-интеллектуальный фон. И не знаю, кто бы смог сделать это лучше, чем он.

Абиш Кекилбай — фигура заметная, колоритная, быть может, даже знаковая в когорте шестидесятников на казахстанском небосклоне. История, которой он верно, по-рыцарски служит, в благодарность отвела ему почетное место на литературном и политическом торе. В формировании национального самосознания соотечественников, в подготовке духовной ауры независимости в сложный переходный период он, несомненно, сыграл видную роль. В казахстанском общественном сознании он больше, чем писатель, и шире, чем политик. Я не очень уверен, применимо ли к нему древнее слово *дееписатель* в его первоначальном,

библейском значении. Как мне чудится, и это определение снижает духовное реноме Абиша, ибо одна из граней этого понятия — высокопоставленный чиновник, советник царя, — а это, уверен, явно ограничивает, сужает суть его субстанции. Всей своей внутренней сутью, мощным интеллектом вкупе с примечательным, сановным внешним обликом, породной статью, крупной головой, шишковатым лбом, цепким, внимательным взглядом — он гармонично вписывается в свою почтенную вежу жизни, называемую казахами «ата жасы», возрастом зрелого мужа.

Вполне понятно, что в эти дни в желающих «пролить пузырек хвалебного елеса», если воспользоваться выражением Л.Леонова, недостатка не будет. И на правах давнего сотоварища-друга я также позволю порассуждать о нем вольно, не впадая, поелику возможно, в «любилейный» панегирик.

Итак, что означает в моем понимании явление по имени Абиш Кекилбай? Попробую определить это хотя бы пунктирно. Его постигли ранняя мудрость и проницательность, чему способствовали его истоки. А истоки эти своеобразны и даже уникальны. Я имею в виду его отчий край, диковинный, полный чудес Мангышлак с его Устюртом, с каньонами и меловыми горами, пещерами и склепами, древними тропами и погостами-мазарами, мифическими святынями и калейдоскопическим сплетением исторических судеб. Любознательный большелобый малец с влажными верблюжьими глазами вырос в этой среде, впитал дух, речь, музыку этой фантастической земли, и эхо древности, баллады забытых лет разбудили его душу, облагородили сердце. К священным истокам его я отношу и мать, которая и поныне, на десятом десятке лет, продолжает поражать нас добрым сердцем, зорким умом, живой памятью, высоким благородством и сочной казахской речью.

Все остальное — дух и зов далеких предков, острое чувство национального, тяга к истории, кругозор, философичность, аналитизм и склонность к широким обобщениям, выявление общих корней истории и культуры, тоска по утраченным идеалам, патриотизм и гуманизм, ответственность перед Временем — производное истоков — матери Земли, матери Истории, Матери, давшей жизнь.

Поражает широта и глубина его познаний. То, что он сведущ и искушен в литературных, искусствоведческих,

исторических, философских, культурологических, религиозных, этнокультурных, политологических, языковедческих премудростях для гуманитария широкого профиля понятно и объяснимо. Однако помимо этого многие из нас являются свидетелями того, как он, работая в высших представительных органах, вникал в тончайшие нюансы множества других наук и разговаривал на равных с юристами, экономистами, аграриями, демографами, свободно пользуясь их терминологией и делая бесчисленные ссылки на капитальные труды ученых всех мастей. При этом его нельзя упрекнуть в легковесности лобознательного всезнайки. Любую тему он склонен разворачивать основательно, широко, дотошно, обрушивая на голову собеседника столько информации, что приходится зачастую молить о пощаде: не всякий мозг в состоянии выдержать подобный груз сведений. Я в этом не раз убеждался, бывая с ним в поездках по Казахстану, в Москве, в Германии, на представительных научно-практических «посиделках» и на других встречах.

Не стану вдаваться в расшифровку тем и мотивов, характерных для творчества Абиша, но считаю необходимым напомнить основные книги писателя, в которых наиболее мощно и выпукло отразились грани его могучего дарования: мифологические «Баллады забытых лет», психологическая проза в книге «Мартовский снег», философский роман «Конец легенды», историко-философские публицистические романы «Глеяды — созвездие надежды» и «Всполохи», народная драма «Хан Аблай». Разумеется, это далеко не все, что он написал, но это то, без чего невозможно представить ни Абиша, ни современную казахскую литературу.

Полагаю, что самые главные юбилеи Абиша впереди, и они отнюдь не в прямой связи с его физическим долголетием. Гарантия тому — его литературные деяния. Именно художественно-творческие. Политические его заслуги, какими бы значительными они ни были, все же явление временное и преходящее, как туман и самообман, а то, что вышло из-под его пера, насыщено духовностью, соком жизни и национального самосознания, а потому не подвержено тлению. Было бы прискорбно сознавать, что современное поколение читателей знает только политическую деятельность госсекретаря Абиша, а не художника, не автора прекрасных книг, которые снискали ему славу десятилетия

назад. Не знаю, кому как, но лично для меня тот факт, что Абиш является государственным мужем,— нечто случайное, третьестепенное, что-то наподобие шутовского колпака, все равно как, скажем, Державин — сенатор или Гете — тайный советник. Пушкин — камер-юнкер или посольские ранги Чингиза и Олжаса. Как личность Абиш намного выше этой мишуры. Он и сам публично признавался, не очень, правда, убедительно утверждая, что «литература — верная жена», она, мол, никуда не денется и подождет, пока он занят ветреной особой политикой. Ой ли!? Для потомков все эти титулы ровным счетом ничего не значат. Да и верные почитатели таланта Абиша вряд ли всерьез относятся к его высоким политическим креслам, на которых он благополучно восседал в разные годы, и вряд ли будут когда-либо перечитывать официальные выступления.

К счастью, значимость Абиша — романиста, Абиша — историка, философа и духовного наставника этим не исчерпывается.

Любая власть ограничивает личность, сковывает ее, одурманивает и оболванивает. Иногда заставляет петь с чужого голоса. И то ли он благовествует? В своих глубоких литературных творениях, без сомнения, — высокую философию, благородный дух, историческое сознание и гуманизм. За это благодать ему и мир! Но тем ли идеалам служит он в политике? Или мимовольно ступил на ложную стезю? Рассудит история.

Возможно, не всё, чего я коснулся в беглых заметках, по душе юбиляру. Но так и воспринимаю его неординарную личность и посчитал нужным правдиво (со своей колокольни) поведать о Художнике. Человеке и Гражданине.

Долгих лет ему жизни и творческого дерзания. Здоровья и благополучия. Щедродушия и мудрости.

1999 г.

СБЕРЕЧЬ НРАВСТВЕННУЮ ПАМЯТЬ

Дукенбай Досжан — наиболее трудолюбивый и плодотворный современный казахский прозаик. Он является автором более четырех десятков книг — романов, повестей, рассказов, очерков, изданных двухмиллионным тиражом на восемнадцати языках мира. Даже в нынешнее смутное время, когда подлинная литература вдруг оказалась не в чести, когда многие из его сверстников-литераторов ушли кто в политику, кто в бизнес, он все пишет и пишет, одержимо и целенаправленно, наперекор всем сомнениям и соблазнам, ибо, как он сам признается, нет у него другого занятия, кроме письма, и надежными спутниками его остаются на всю жизнь бумага и перо.

Признаться, было у меня одно время сомнение, что микроб борзописания закрался-таки в душу неумного трудоголика Дукенбая, что подхлестывает его жажда писательской славы, что он достиг пика своей творческой потенции и отныне — к большому сожалению — будет главным образом заниматься переписыванием и перепевом собственных сочинений.

Думаю, у меня были основания для подобных опасений. И теперь мне особенно приятно сознавать, что был неправ, что Дукенбай нашел в себе силы для нового творческого взлета.

О том свидетельствуют его книги, увидевшие свет в последние годы, — психологический роман-раздумье «Мухтар жолы» (1988; в выходных данных по-русски он назван «На вершине судьбы»), документальные остропублицистические романы «Тюрьма» (1992) и «Площадь» (1993), роман-исповедь, роман-метафора, трагедийно-философское

полотно «Весы» (1992), своеобразный труд, жизнеописание-эссе, художественное исследование «Зеркало Абая» (1994) и недавно увидевший свет сборник повестей и рассказов «Книга Песков» (1995).

Каждая из этих книг достойна обстоятельного разговора. Новый этап в творчестве Дуkenбая Досжана начинается с «Мухтар жолы». Главный герой романа — великий казахский писатель Мухтар Ауэзов. Точнее, психологическое, философское, нравственное состояние Художника на вершине судьбы. Судьбы неимоверно сложной, трудной, трагической, мучительной. И возвышенно прекрасной. Ибо речь идет о судьбе Духа, о судьбе избранника Земли, если прибегнуть к формуле Гете. Внешняя канва романа — арест и тюремное заключение Мухтара Ауэзова в 1930—1932 годах, драматические перипетии 1952 года, когда после очередной зубодробительной, зловеще памятной статьи «За марксистско-ленинское освещение вопросов истории Казахстана» были арестованы известные ученые Е. Бекмаханов, К. Жумалиев, Е. Исмаилов, когда уже в который раз обрушились гонения и идеологическая травля на Мухтара Ауэзова.

Помимо своей нравственной, этико-эстетической значимости роман «Мухтар жолы» и весьма познавателен, ибо в нем реалистически отражена сложная литературная жизнь в Казахстане, а также за ее пределами, воскрешающая духовную ауру тех лет. Роман воссоздает нравственный образ того крутого времени.

Всегда казалось, что «чистый» беллетрист, приверженец высокого художественного слога Дуkenбай Досжан как бы чужаруется «голой» политики, стоит в стороне, особняком от хаоса современного бытия, и политические, идеологические, национальные страсти его совершенно не занимают. Имидж художника над схваткой прельщал Дуkenбая.

Романы «Площадь» и «Тюрьма» решительно опровергают такое представление о писателе. Оказалось, он внимательно следит за политическими бурями, бушующими в последние годы над новыми суверенными странами-государствами, неплохо разбирается в раскладке политических сил и, обладая художническим чутьем, четко и небеспристрастно выражает свою точку зрения, свои симпатии и антипатии к тем или иным глобальным или локальным событиям и явлениям.

И тут открылась еще одна грань дукенбаевского дарования.

Его усидчивость и терпение вкупе с настойчивостью и упорством при внешне тихом и покладистом характере помогли ему в скрупулезной работе в архивах, при этом в труднодоступных, как, скажем, в таинственных залежах органов государственной (или национальной) безопасности. Он докопался до редчайших документов трагических тридцатых годов, до сведений о таких крупнейших, колоритнейших личностях, как Ахмет Байтурсынов, Магжан Жумабаев, Жусупбек Аймаутов, Мухтар Ауэзов, глубоко проник в атмосферу того времени, когда жестокому испытанию подверглись нравственные человеческие категории — мужество, честь, достоинство, порядочность, сострадание.

«Тюрьма» Дукенбая Досжана — это малоизвестный казахстанский ГУЛАГ, перемоловший немало гордых и высоких судеб и жизней во имя ложных идей и гнусной идеологии.

Писатель мыслит широко, масштабно. Описывая в романе «Площадь» известные декабрьские события 1986 года в Алматы, он обращается к политическим и идеологическим истокам тех трагических дней, рассуждает о русском диссидентстве, вовлекает в повествование Андрея Сахарова, Юлия Даниэля, Ларису Богораз, крупных политических и общественных деятелей, прибегает к широким литературным и религиозным реминисценциям, к философским обобщениям, раскрывает подспудный механизм чудовищных хитросплетений, неизбежно приведших к тяжелейшим последствиям на стылой декабрьской площади. Площадь в романе Дукенбая не просто определенное, конкретное пространство, место; она обретает символическую значимость, как арена вечной борьбы добра и зла, истины и лжи, достоинства и подлости. На этой площади разыгрывается и страшная драма боговдохновенного поэта Магжана Жумабаева, расстрелянного 19 марта 1938 года; на этой же площади отшумело и Сузакское восстание 1930 года, жестоко подавленное войсками ОГПУ; по этой площади прошла вся многотрудная история казахского народа.

Этими двумя книгами Дукенбай Досжан высветил немало темных пятен национальной истории. В этом их пафос и истинное значение. И хотя в этих книгах речь идет

о прошлом казахского народа, произведения эти весьма актуальны, современны. Сам Дукенбай в одном интервью говорит об этом так: «Печали нашего прошлого ждут воздаяния. Не мести — соболезнования. Историческая же справедливость много значит для духовного здоровья».

Роман «Весы» — широкоохватное, многоплановое произведение. Прошлое и настоящее родного края предстают в этом романе в тесном неразрывном переплетении. Многоликая, многоцветная жизнь кзылординского края, степи; трагедия Арала; наступление кзылкумских песков; экологическая катастрофа; тотальное духовное обнищание; тупое, бессмысленное, бездумное существование; нравственное вырождение региона — вот те тревожные темы, на которых зиждется стержневая сюжетная канва этого объемистого романа. Об оскудении души человеческой как следствии тяжких экологических потрясений Дукенбай пишет не впервые, но в романе «Весы» эта тема обрела мощное социальное, философское звучание. Локальные, казалось бы, явления обобщены до глобальных, общечеловеческих масштабов. Тональность романа — скорбная, печальная. И это понятно и естественно. Художник в тревоге, в страхе от того, что происходит на его глазах на его родной земле. Иногда он впадает в растерянность и тогда откровенно тоскует по прошлому, только там, в прошлом, далеком и романтизированном, в нравственном здоровье и силе славных предков он находит утешение, точку опоры, в седой батырской старине мерещатся ему высокие идеи, ныне преступно преданные забвению. Дукенбай признается: «...анафему современникам не пою, а человеком становлюсь не очень веселым. Ностальгия по прошлому меня посещает».

Весы — образ, метафора. Название взято из Корана: «Каждый, кто уходит из земной жизни, перед концом света предстанет перед судом Всевышнего, и на весах, как в зеркале, все станет очевидно: кто есть кто».

В этом ключ романа. Кто есть кто? Чем отмечено твое существование на земле? Какой оставил след? Творил ли добро или служил злу? Вот вопросы, которые ставятся на каждой странице романа. Писатель настойчиво внушает простую, казалось бы, мысль: оскудение природы и экология души — понятия взаимообусловленные и взаимосвязанные; нравственность может быть культивирована только большой,

постоянной духовной работой над собой. Спасение только в этом.

Приятно удивил Дукенбай своей книгой «Зеркало Абая», вышедшей в канун 150-летия великого казахского поэта, мыслителя. Удивил своим исследовательским талантом, дотошностью, свежей, оригинальной постановкой темы, кругозором, масштабностью мысли, своеобразным подходом к поэтическому и философскому миру Абая. Пятнадцать глав этой книги — пятнадцать блистательных эссе, органический сплав научных исследований и свободного беллетристического живописания. Я знаю: Дукенбай задумал эту книгу как жизнеописание в стиле Андре Моруа, Стефана Цвейга. Думаю, он достиг своей цели.

Все эти книги, о которых шла речь выше, написаны Дукенбаем Досжаном в последние восемь-десять лет, и — повторяюсь — знаменуют собой качественно новый этап его творческого пути. У писателя свой почерк, свой, ритм, свой слог. Он обожает слово «кесте», что в буквальном смысле означает «вышивка». Он неустанно тклет свой словесный узор. Он прилежно и творчески учится у великих мастеров прозы и со священным трепетом относится к писательскому ремеслу и к художественному слову в частности. Он не избегает эксперимента в языке. И язык его богат.

В прошлом году Дукенбай Досжан издал сборник повестей и рассказов под названием «Книга Песков» («Жазушы»). Эта своеобразная сага о людях, живущих в пустыне, в песках, является как бы продолжением его книг «Города под песком» (1967), «След тигра» (1984), «Корабли в песках» (1986). «Книга Песков» — сказ о большой тревоге нашего бытия, о распаде духа. Писатель утверждает: смерть наступает сначала на уровне духа, потом — на уровне физической плоти. Чем ущербнее наш дух сегодня, тем ущербнее во всех смыслах окажутся наши потомки завтра.

Задача творца состоит в том, чтобы сберечь нравственную память народа.

1996 г.

«ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ, НУЖНО ЖИТЬ»

Эта мудрая сентенция Антуана де Сент-Экзюпери в полной мере соотносима с судьбой и биографией прозаика, публициста, переводчика Алексея Борисовича Дебольского (он же, кстати, Шмелев, Стражевский, Шольц, Гуммельс и т. д.), которому в Новый год по старому стилю исполнилось семьдесят лет. Своеобычная, неординарная личность. Маститый художник. Живой, со зрячей душой человек. Солидная, почтенная дата. Есть, как говорится, повод для разговора.

В конце 1965 года А. Дебольский приехал из Москвы в Казахстан в целях организации немецкоязычной газеты «Фройндшафт», первым главным редактором которой он пробыл более одиннадцати лет. С этого времени жизнь его неразрывно связана с Казахстаном. И эти три десятилетия стали для него в творческом плане, несомненно, наиболее существенными и продуктивными.

Много лет тому назад в интервью корреспонденту АПН для журнала «Зовьетунион хойте» Алексей Борисович сказал о себе так: «Я родился в 1916 году в Харькове. Это я знаю совершенно точно, хотя с тех пор и прошло так много лет. Мой отец происходил из семьи немцев-ремесленников, мать была дочерью русского интеллигента. Моя бабушка Паулине Шольц первой привила мне любовь к немецкой речи, к немецким народным песням и сказкам».

Известно, что все начинается с детства. И личность определяет ранняя среда. Так вот, немецкие сказки, украинские песни, русская речь — таковы три источника, три духовно-нравственные опоры, определившие судьбу будущего писателя. Этим и объясняется своеобразие литературной биографии Алексея Дебольского. Он двуязычный писатель в

конкретном, классическом смысле. Часть своих произведений (романы «Туман», «Свершение», повесть «Такое долгое лето!», пьесу «Великое испытание», ряд рассказов, очерков, статей) он написал по-немецки и сам перевел на русский язык, другая часть (романы «Истина стоит жизни», «Простые смертные», книга рассказов «Огненная грива», серия путевых очерков и др.) написана им по-русски. Кроме того, он перевел с французского языка на русский роман М. Лафайет «Принцесса Клевская», с немецкого — роман Г. Нахбара «Дурная примета», с английского — объемистый том очерков об Индии. Перевел без подстрочника, непосредственно с языка на язык, как и подобает настоящему переводчику.

Прежде чем прийти в литературу, Алеке (так почтительно, на казахский лад, я его называю уже четверть века) просто жил — активно, полнокровно, не сторонним наблюдателем, не умозрительно, не созерцательно, не боясь набить себе шишек, раскованно, а порой и рискованно. Такова была сама жизнь, само время — с крутыми поворотами, колдобинами, бесконечными политическими кампаниями и общественно-социальными встрясками. Попробуй усиди в стороне, когда вся страна вздыблена преобразовательными вихрями и глобальными катаклизмами. Ни одно из тех событий — классовая борьба, советизация, коллективизация, индустриализация, репрессии, война, восстановление народного хозяйства, беспощадные идеологические ристалища, разные оттепели, заморозки, застои и перестройки — не миновало активного, деятельного, по-интеллигентски либерального сына своей эпохи. По сути гражданская биография А. Дебольского вобрала в себя все «этапы большого пути» истекающего кровью XX века.

Рабочий-металлист, строитель, выпускник географического факультета Московского государственного педагогического института, педагог-воспитатель, потом газетчик в Магадане, участник второй мировой войны в качестве военного журналиста, сотрудник газеты «Тэглихе Рундшау» в Берлине, свободный литератор, организатор и главный редактор республиканской газеты на немецком языке «Фройндшафт» в Акмоле, персональный пенсионер, и, наконец, творческая работа — таковы основные вехи его жизненного

пути. Он многое перевидел на своем веку, побывал в нескольких странах и бывший Советский Союз исколесил изрядно, недаром одна из его очерковых книг называется «От Белого моря до Черного».

Казахстанский период жизни А. Дебольского (а были «московский», «магаданский», «берлинский») связан с консолидацией немецких творческих сил вокруг газеты «Фройндшафт». Он проявил себя отменным организатором, привлек к работе в газете именитых (и не очень) немецких литераторов старшего поколения — Р. Жакмьена, Э. Кончака, К. Вельца, Д. Вагнера, Л. Маркса, А. Гассельбаха, Р. Претцера, оставивших заметный след в истории национальной культуры. (К большому горю, ни одного из названных лиц в живых уже не осталось). То был славный период немецкой литературы в Казахстане, согретый розовыми надеждами. У меня сохранились сотни и тысячи писем немецких литераторов того памятного времени как знак тех надежд, как документы человеческих судеб. С деятельностью А. Дебольского связано и становление популярной литературной страницы газеты «Фройндшафт», на которой увидели свет многие произведения немецких литераторов всего бывшего Советского Союза.

В те годы, работая в основном в русле немецкой культуры, Дебольский занимал в литературе российских немцев (тогда, впрочем, говорили «советских») все же особое место. У него была иная биография, особенная судьба, более широкий и затейливый диапазон жизненных впечатлений и творческих интересов, более искушенная техника письма, более богатая и разнообразная художественная палитра, поэтому ни по тематике, ни по читательскому адресу, ни по бытовому колориту в его произведениях не доминировали локально характерные черты, свойственные большинству российских немецких литераторов, особенно старшего поколения.

Любой писатель, претендующий на свой голос, на собственное лицо в литературе, должен, конечно же, обладать чувством времени. Все произведения А. Дебольского — какого художественного уровня они ни были — свидетельствуют, на мой взгляд, о том, что писатель обладает этим основополагающим качеством. Всему его творчеству свойственны широта охвата и глубина художественного осмысления

явлений и тем во времени и пространстве. Примером тому служат все его этапные произведения: первый роман «Истина стоит жизни» (1960) о национально-освободительном движении, пробуждении «черного» континента; роман «Туман» (1971), воскресивший эпизоды сложной жизни на Украине в двадцатых годах; повесть «Такое долгое лето!» (1975), запечатлевшая в своеобразном юмористическом ключе жизнь и быт многонационального целинного совхоза в Центральном Казахстане; пьеса «Великое испытание» (1981), достоверно воссоздавшая картины активной борьбы советских немцев на Украине с гитлеровским фашизмом; роман «Свершение» (1987), совмещающий разновременные пласты жизни нашего соотечественника, участника великой войны, осмысляющего прошлое и настоящее на фоне громадных потрясений и перемен в двух странах — Советском Союзе и Германии; и наконец, многоплановый, широкоохватный роман в трех частях «Простые смертные», увидевший свет пока лишь в журнальном варианте («Простор», 1993—1995 гг.). Об этом романе А. Дебольского, думаю, разговор еще впереди. На мой взгляд, это честное, правдивое повествование, своеобразная исповедь о судьбе нашего народа, его старшего поколения, ввергнутого в драматический водоворот событий тотальной трагической эпохи. Роман колоритно, обнаженно, прочувствованно воссоздает живую атмосферу той, казалось, на наших глазах (я имею в виду мое поколение) прошедшей эпохи, глубокое, всестороннее художественное осмысление трагизма которой, видно, удел не одного мастера пера. В моем понимании, роман «Простые смертные» А. Дебольского — крупный успех автора, заметное явление в нашей казахстанской литературе.

Сквозной герой этого многопластового «повествования от третьего лица» уже в глубоком возрасте, в горькой раздумчивости говорит: «Сколько добра недоделано в жизни! Все хотят коренных превращений. У немцев есть прелестное выражение: «Weltverbesserer» — улучшатели мира. Сколько шишек они наставили себе и людям! А надо — делать добро ближнему. Ведь только за этим мы и родились на свет».

Просто и мудро. Знаю: таков жизненный штандпункт и А. Дебольского. О том свидетельствуют и его жизнь, и его творчество.

In memoriam Alexej DEBOLSKI

Звонок был ранний и неуверенный, а голос на том конце провода — робкий, тихий, незнакомый. «Кирилл Дебольский», — едва расслышал я. «Из Германии?» — невольно вырвалось у меня, удивленного плохой слышимостью. «Нет... из Акмо-лы...», — с запинкой произнес уже не совсем русский голос, с едва уловимой «иностранщиной». И я сразу догадался о случившемся.

Теперь о моем дорогом Алеке — так я его звал в течение десятилетий на казахский лад — я вынужден писать в прошедшем времени.

Это трудно. Не только душа — перо сопротивляется выводить на бумаге короткое слово — был.

Мы были знакомы с 1971 года. Знакомы — не то слово. Точнее, пожалуй, будет сказать — дружили, несмотря на заметную разницу в возрасте и жизненном опыте.

Мы часто встречались в Москве, Истре, Акмоле, Алма-Ате, долго и обстоятельно беседовали, четверть века играли «в шахи» по переписке — это стимулировало и упорядочивало регулярность нашего общения. Каждый ход — письмо, и таким образом мы написали друг другу несколько сот — а, может, и тысячу писем (я их почти все сохранил), делясь всем, что нас волновало, впечатляло, происходило с нами и вокруг нас, делились планами — житейскими и творческими. Связь никогда не терялась, даже если я находился, скажем, в Ташкенте, а он в Германии, и потому впечатление было такое, будто с начала 70-х годов до роковой субботы 19 июля 1997 года мы никогда не расставались. Все его основные произведения — романы «Туман», «Свершение», «Простые смертные», юмористическая повесть «Такое долгое лето!», пьесы «Большое испытание», «Министр районного масштаба», сборник рассказов «Когда мы были молоды», многочисленные стихи, очерки, статьи, написанные им по-русски или по-немецки или переведенные им с языка на язык, — создавались, так сказать, на моих глазах, и мне известны все перипетии их творческого вынашивания и выхода в свет в издательствах Москвы и Алма-Аты.

А до нашего знакомства — напомним читателю — А. Дебольский опубликовал роман «Истина стоит жизни», очерковые книги «Как дела на деревне», «От Белого моря до

Черного», сборник рассказов «Огненная грива», а также несколько переводных книг с немецкого, английского, французского языков на русский.

Он был основоположником республиканской немецкой газеты «Фройндшафт», главным редактором которой пробыл одиннадцать лет. И неотъемлемой его заслугой является то, что он сумел консолидировать вокруг газеты основной костяк российских немецких литераторов послевоенного периода. Уверен: это ему зачтется и на том свете!

Он был незаурядным литератором, самобытным журналистом, прекрасным организатором, обаятельным, высокой культуры интеллигентом, светским, мобильным и увлеченным человеком масштабного мышления и крутозора. В истории литературы российских немцев он оставил заметный след, жил в контакте с большинством немецких литераторов, активно переписывался с ними, будучи редактором, способствовал их творчеству, пропагандировал его, сам работал в русле этой литературы, достойно представлял ее, ратовал за нее, где только это было возможно — в России и Германии.

Он был очень общительным, легко сходиллся с людьми. Его уважали и любили. Он был в числе учредителей Казахского ПЕН-центра, часто навещал Алматы, имел здесь много искренних друзей. Несмотря на почтенный возраст, увлекался всеми новшествами и оригинальными идеями.

Весной, в апреле, он последний раз навещил Алматы, красотой которого неизменно восхищался. Жил в ПЕН-клубе, побыл в Союзе писателей, редакциях «ДАЦ» и «Простора», в Немецком доме, издательствах, встречался с А. Нурпеисовым, М. Симашко, А. Кекилбаевым, В. Владимировым, каждый вечер бывал у меня. Был полон творческих задумок. Искал спонсоров для издания своего главного романа — «Простые смертные» — отдельной книгой.

Последнее письмо его было датировано 4 июля 1997 г. Он прислал мне публицистическую статью для «Феникса». В письме было несколько горьких фраз: «Все плохо. Никто не помогает, никому я оказался не нужен... боюсь, что затормозится производственный процесс и неизвестно, когда осуществится издание», «... то и дело навевается доктор Депрессарио...». «Выяснилось, что слишком долгое пребывание в одиночестве все же и такому альянгентеру, как Ваш покорный слуга, противопоказано».

В письме он сообщал также об успехах сына-врача в Германии.

«В будущем году, если доживу, съезжу понаслаждаться настоящей жизнью...»

Не суждено было...

Бог даст, я еще напишу о нем более подробно, как о писателе, гражданине, человеке. «Озвучу» его письма, в которых отразился дух его времени и многогранная его личность. Но это будет потом, а сейчас я пишу эти спотыкающиеся строки, когда Алеке еще не предан земле, еще до похорон в Акмоле, где он прожил 32 года. И эти мои беглые заметы — мой поминальный венок на его могилу, да будет земля ему пухом.

21 июля 1997г.

С ЧУВСТВОМ БРАТСТВА

Непреложную истину о том, что Мориса Симашко и читать, и слушать интересно, я постиг давным-давно. Он обладает удивительным даром ассоциативного мышления, чувством историзма.

Он сначала жил земной, активной жизнью, познал ее во всех ипостасях: мотался по диковинным просторам восточного региона страны, прошел, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Словом, прежде чем писать, он жил. И имена типа Гияс-ад-Дин Абу-л-фатх Омар ибн Ибрахим звучат в его устах отнюдь не экзотично.

Он вообще неравнодушен к языковой стихии, музыке восточных языков, они звучат в его устах и писаниях причудливой мелодией. Не случайно герой его романа «Маздак» рассуждает: «Языки, как и книги, пахнут по-разному. Одни — травой, другие — теплым молоком или морем. И цвет у каждого свой: синий, красный, золотой. Даже привкус от слов различный остается во рту.

Спокойные и беспокойные бывают они...».

Это замечено верно и глубоко. И писатель Симашко познал эту истину из житейского опыта.

И еще Экзюпери сказал: «Слова не имеют ценности, если они не родились из долгого пути под звездами».

Творческий путь М. Симашко вполне соотносим и с этой максимой.

Можно, как Гойя, пройти тяжкий путь познания и прочувствовать жизнь со всеми ее звездными часами и свинцовыми мерзостями, однако оставаться при этом приземленным бытописателем, который только и делает, что сгребает в кучу пыль бытия.

Морис Симашко не из этого племени. Слова его, проза его имеют ценность, ибо родились из долгого пути под звездами. Говоря о пути под звездами, я вовсе не имею в виду то, что Симашко был когда-то военным летчиком, а его духовную окрыленность. Во всех писаниях Симашко пристальное внимание уделяет человеку духовному, человеку высоких стремлений, идей и страстей. Вспомним повести «Емшан», «Искушение Фраги», «Хадж Хайяма», блистательный роман «Маздак», «Искушение дабира». Герои Симашко постоянно задаются вопросом: «Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим? В чем нашей жизни смысл?..»

Французский критик Ален Боске в газете «Фигаро» писал по поводу выхода во Франции романа «Семирамида»: «Морис Симашко — русский писатель, который ни на кого не похож».

Полагаю, в этих словах есть рациональное зерно.

И еще. В прозе Симашко четко прослеживается яростное презрение к тем лже-маздакам, которые, как сказано в «Намэ и Тансар», не украшены достоинством таланта и дела, без наследственного занятия, без профессии и искусства, готовы к клевете и ложному свидетельствованию и измышлению. И в этом своем пафосе писатель исторических произведений М. Симашко современен и актуален. Не гуманистическим ли пафосом, общечеловеческой значимостью затрагиваемых Симашко проблем объясняется тот факт, что книги его издаются не только почти во всех странах СНГ, но и во Франции, Германии, Японии, Индии, Пакистане, Бангладеш, Португалии, Бразилии, Тунисе, Польше, Венгрии, Болгарии?

Знаток Востока, М. Симашко много внимания в своем творчестве уделяет Казахстану. Вспомним романы «Комиссар Джангильдин», «Колокол», пьесу «Чрезвычайный комиссар». Или его переводческую деятельность, оцененную по справедливости Государственной премией им. Абая.

М. Симашко — разносторонний литератор. Он романист, сценарист, драматург, переводчик, критик, публицист, мемуарист. Могу, к примеру, напомнить о его добротной статье, посвященной анализу степных баллад Абиша Кекилбаева. Или цикл мемуарных зарисовок о Лавреневе, Твардовском, Парфенове, Мусрепове, Домбровском. Или актуальнейший,

едкий, пронзительно-сатирический роман «Падение Ханабада», в котором беспощадно разоблачается весь смердящий дух эры всеобщего ханабадства — нашего недавнего прошлого.

Благополучно одолев «возраст пророка», взобравшись на вершину своего семидесятилетия, Морис Давидович по-прежнему неутомим. Отправив по белому свету свой новый исторический роман «Семирамида», он пишет пьесу, сценарий, колесит по Средней Азии — спешит то в Ашгабат, то в Бухару, то в Самарканд, то в Нукус, а то и по дальнему зарубежью. И голова его полна планов и замыслов: то он заседает в Национальном совете по государственной политике при Президенте, то мечется по делам Казахского ПЕН-центра, будучи его вице-президентом. И вечно ему недосут, и говорит бурно, шумно, увлеченно. Этим он и интересен.

В мемуарах одной француженки я встретил фразу: «Он приходился мне полубратом». Меня умилило это — «полубрат», калька с немецкого «хальб-брудер». Означает это «сводный брат», но немцы Поволжья употребляли это слово в смысле «двоюродный брат».

Я пишу о Морисе Давидовиче с чувством братства. Это не дань вежливости. Дело в том, что мать Мориса Давидовича — в девичестве Шмидт — из поволжских немцев, уроженка Катариненштадта. И история, культура, трагическая судьба российских немцев Симашко не чужды, о чем свидетельствуют его историко-публицистические эссе. И потому мы с ним являемся как бы «хальб-брудер» — двоюродными братьями. Связывает нас еще и общая восточная ориентация в литературе. А главное — человеческие контакты и симпатии.

ВОЗДУХ ЭПОХИ

/ПАМЯТИ МОРИСА СИМАШКО/

Голос, любимые словечки, интонации его до сих пор живо звучат в ушах.

В последние годы он звонил мне каждый вечер, часов в семь, после того, как заканчивал работу и прослушивал новости по «Свободе».

— Герольд?! — вопросительно-утвердительно спрашивал он и, убедившись, что я у телефона, произносил фразу из азербайджанского анекдота: «Ну, как живешь?»

— С удовольствием, — отвечал я, согласно тому же анекдоту, после чего Морис Давидович, вздохнув, пространно говорил о тревожных событиях в нашем взбаламученном мире, делился своими суждениями, забирался в дебри истории, перемежая свою вдохновенную импровизацию анекдотами, частушками, сочными, острыми, солеными русскими словечками, по части которых был виртуоз. Выражался он вообще красочно и энергично. Рассказывая, часто прибегал к своим любимым фразам-оговоркам: «Но дело не в этом» или «вот ведь в чем дело».

А заканчивал телефонный разговор традиционно:

— Ну, ладно. Ну, пока. Ну, давай.

Мы были знакомы без малого сорок лет. Особенно близко — в последние лет десять. Бывали вместе в командировках, заседали на многочисленных собраниях, активно участвовали в несметных конференциях, «круглых столах», регулярно общались в ПЕН-клубе.

Теперь я вынужден писать о моем старшем друге в прошедшем времени: он не дожил до нового ХХІ века ровно неделю, скончавшись в Бата-Яме (Тель-Авиве).

На смерть его откликнулись все казахстанские газеты, скорбная весть облетела всю Среднюю Азию, которую он знал глубоко, описывал проникновенно, воспевал щедро и ярко, и где у него было много друзей и почитателей.

Уезжать из Алматы он не хотел. Уезжал мучительно — вынужденно, по семейным обстоятельствам. Всех уверял: «Вернусь. Устрою семью и вернусь. Куплю однокомнатную квартирку и буду писать. Работать могу только здесь. Здесь мои герои, история, тема, жизнь, судьба. Напишу еще два романа. Там, в Израиле, я не нужен. Никому. Ни я сам, ни мое творчество».

О том он написал искренне и президенту нашей страны. Не суждено было...

Прожил Морис Давидович в Израиле всего год и, судя по отдельным звонкам и признаниям, душевно неуютно.

Разные думы неотступно терзали его душу.

О том он исповедально написал в последней своей книге «Четвертый Рим». Заключительная фраза этой книги: «Может быть, и вправду бродят во мне какие-то дрожжи, не дают покоя...»

Да, такие дрожжи бродили в нем всегда, даже, казалось, в безмятежные минуты. И Дух его покоя не знал.

Слушать его было маняще интересно. Рассказчик был отменный, память — поразительная (помню, в гостинице «Семипалатинск» он ночь напролет читал мне на память Багрицкого и Шевченко, пел одесские частушки эпохи НЭПа), жизненных впечатлений — уйма, юмор — искрометный.

Он обладал удивительным даром ассоциативного мышления, чувством историзма и умел как-то ловко, а бы сказал, грациозно, а то и парадоксально сопоставлять и осмысливать разрозненные факты и явления бытия, подмечать потаенную суть, определять ее истоки, корни, выявлять главные звенья развития и видеть современность остро, неожиданно, сквозь призму давно прошедших событий.

О том ярко свидетельствуют его книги: «Повести Черных песков», «Хроника царя Кавада», «Повести Красных песков», «Маздак», «Искушение дабира», «Семирамида» «Падение Ха-набада», «Колокол», «Комиссар Джангильдин», «Путешествие

в Карфаген», «Дорога на Святую землю», многочисленные статьи, киносценарии, пьесы, очерки, фельетоны.

Его произведения переведены на сорок языков мира.

Как определить жанр последней его книги, названной им «Четвертый Рим»? Это своеобразная литературная биография художника, в которой перемешались и исповедальная проза, и острая, злободневная публицистика, и мудрый анализ политических катаклизмов, и признание в любви к жизни и соотечественникам, и тревога за будущее, и завещание. Автор прибег к словосочетанию ВОЗДУХ ЭПОХИ. Этим воздухом эпохи и пропитано, пронизано, просвечено его последнее сказание.

Он прислал рукопись, набранную на компьютере, своему другу и ровеснику — президенту казахского ПЕН-клуба Абдижамилу Нурпеисову. Я успел ее прочесть как раз в канун кончины автора. Вместе с двумя знакомыми отправил ему через Посольство Израиля поздравительную открытку.

Убежден: и казахский, и русский, и инонациональный читатель прочтет последнюю книгу-аманат Мориса Давидовича Симашко с удовольствием и пользой.

След этого необычного писателя в литературе нетленен. Он неустанно думал о закономерностях движения Духа.

2001 г.

ТҮСІНГІҢ КЕЛСЕ АҚЫНДЫ..

I

Күні кеше ғана арамызда жүрген мейлінше ақ көңіл, барынша әдепті, ұзын бойлы, қараторы жігіт Медеубай Құрмановтың ғұмыры тым қысқа болды. Небары қырық жеті жасында дүние салды.

Медеубай арманшыл болатын. Кездесе қалсаң-ақ қазақ пен неміс әдебиетінің арасында баяғы Абай заманынан бері үзілмей келе жатқан рухани байланыстар жайында тебіреніп, толғана сөйлейтін. Осы хақында ірі-ірі еңбектер, зерттеулер жазуды армандайтын. Неміс классиктерін қазақ тіліне түпнұсқадан тікелей аудару керектігін әрдайым баса айтушы еді. Көп жылдар көз майын тауысып, жан-тәнін салып еңбек еткен «Фауст» аудармасын әлсін-әлі қайта қарап, түзетіп, өңдеп, жаңа бір сапалық жоғары сатыға көтеру қажеттігін бір сәт естен шығарып көрген емес-ті. Кездескен сайын сұхбаттасқанымызда өзіне тән ибалықпен жымиып қана қойып: «Фауст армандаған «Токта, сәт. Сәл аялда, тамашасың!» дейтін кез де, ақын көксейтін «Істеген харакетім кетпес бекер» дейтін шақ та, бауырым, әлі алда»,— дегенді жиі қайталайтын.

Өз басым сол кезде оның айтқанына құйттай да шек келтірмеуші едім.

Әттең не керек, тағдыр дегеніне жеткізбеді. Енді, міне, көп жылдан бергі досым Медеубай жайында өткен шақта жазуға мәжбүр болып отырмын.

«Інжілді» аударуға кірісерде Фауст сөз, ой, күш күдіреті жайында ұзақ толғанып, ақырында «болмыс басы — іс» деп түйеді. Медеубай да, мен білсем, өз өмірінде осы қағиданы қатты тұтқан. Ол өзінің зерттеу, аударма еңбектерімен де,

білім-тәрбие істерімен де қазақтың ұлттық мәдениетінде біршама ізгі із қалдырды.

Медеубайдың тындырып кеткен үлкен ісі — «Фаусттың» қазақша аудармасы. Ол даусыз. Бірақ оның қаламынан басқа да үлкенді-кішілі дүниелер туды. Оқушы қауым оның бірін білсе, бірін білмеуі де мүмкін. Мәселен, ол Генрих Гейнениң де бір топ өлеңдерін, Вилли Бредельдің прозасын аударды. «Жалын» баспасы Медеубайдың «Ескі бақ» атты ертегі кітабын шығарды. Сол сияқты Клаус Шнайдердің «Алматы — Қазақстан көктемі» деген кітабынан бірнеше тарауды қазақшаға аударды. Кеңес-неміс жазушылары А. Реймген, Э. Ульмер, К. Эрлих, Н. Ваккердің шығармаларын қазақ тілінде сөйлетті. 1979 жылы «Қазақстан» баспасында «Алтын арқау» атты әдеби-зерттеу кітабы жарық көрді. Медеубайдың архивінде осы кезге дейін еш жерде жарияланбаған жүзден астам өлеңдері табылды. Ол әйгілі германист, халықаралық Гете қоғамы мен Герман-Кеңес достық қоғамы басқармасының белсенді мүшесі болатын. Филология ғылымдарының кандидаты, доцент дәрежесінде әр түрлі институттарда шет ел тілдері кафедрасын меңгеріп, студенттерге дәріс оқитын. Міне, осы жайттарды оқушы қауымның есіне салуды бұл арада жөн көрдім.

Әлбетте, Медеубай Құрманов жайында сөз бола қалған жерде, есімізге ең алдымен оның «Фаустты» аударудағы игілікті еңбегі оралады. Бұл заңды да. Мұндай ірі және күрделі туындыны басқа ұлттар тілінде сөйлете білу, әрине, аудармашыға оңай түспегені белгілі. Ендігі әңгіме сол «Фаусттың» қазақша аудармасы жайында болмақ.

II

Ежелден бергі адам баласының мәдени тарихында айрықша орын алған, Энгельс айтқандай «Ұлы неміс» Иоганн Вольфганг Гетенің ұлы шығармасы «Фаусттың» түгелдей қазақшаға аударылып, жеке кітап болып шығуы (1982 ж.) жай әншейін ғана күнделікті уақиғаның бірі емес-ті. Мұндай ірі және күрделі туындыны басқа ұлттар тілінде сөйлете білу, әрине, аудармашыға да оңай түспесі белгілі. Әлемдік трагедияны аударамын деп талпынғандардың өзі талай тағдыр тәлкегіне түсіп, қым-қуыт трагедияға ұшыраған. «Фауст» аудармасының тарихы мен кезеңдері жөнінде ұлан-ғайыр мәліметтер академик В. М. Жирмунскийдің «Орыс әдебиетіндегі

Гете» атты зерттеу еңбегінде молынан келтірілген. Жалпы «Фауст» төңірегінде жазылған еңбектерде сан жок. Неміс әдебиеті шығармаларының ішіндегі шет ел тілдеріне ең көп аударылғаны Гетенің осы шығармасы екен.

«Фаустты» аударуда нендей мақсат қойып, қандай принциптерге сүйендің деген сауалға Медеубай өзінің «Алтын арқау» кітабында былай деп жауап береді: «Түпнұсқадағы негізгі идеяны дәл беру; мазмұн мен түр тұтастығын сақтай отырып, эквилинеарлық және эквиритмалық принциптерді сақтау; түпнұсқадағы образдар жүйесі, автордың стильдік ерекшеліктерін беру».

Демек, аудармашы алдына үлкен үш талап қойған. Бұл әрине, осал жүк емес. Қайсы десеніз, орыстың небір ғұлама зерттеушілерінің сөзіне илансақ, «Фаустты» әр кезде аударған Э. Губер, А. Струтовщиков, Н. Холодковский, А. Фет, П. Вейнберг, В. Брюсовтердің өзі әлгі ілгерідегі мақсаттардың біреуін орындай алмапты. Ал, Медеубай аудармаға кірісерде тәуекелге бел буып, Гетенің «адам мүмкін еместі мүмкін ете аламын деген сенімде болуы керек» деген қағидасын арқа тұтқан. Онысы күр әншейін көз жұмбай, дария кешпей сияқты өлермендік емес, біздің байқауымызша, әрі ерлік, әрі абыройлы іс болып шыққан.

III

«Фауст» қазақшаға түпнұсқадан аударылған ба, әлде... Осы бір дүдәмал ой, мен білсем, біраз жұрттың көкейінде жүр. Жаксылық атаулыға қай кезде де күмәнмен қарайтын кейбір қазақ: «Фаусттың» тілі өте қиын дегенді естиміз, оны қазіргі немістер де түсіне бермейді-міс, сонда оны қазақшалауға біздің Медеубайдың шамасы келе қойды ма екен? Әй, қайдам, біз білсек, соны ол түпнұсқадан емес, Холодковскийден, әлде тіпті Пастернактың өзінен-ақ қотара салған шығар» дегенді осы кезге дейін айтып жүр.

Ал, менің өз басым ондай күдіктен аулақпын. Егер қажет болып бара жатса, әлгіндей екі ұшты сенімсіз пікірдің мүлдем негізсіз екенін ондаған нақтылы мысалдармен дәлелдеуіме болады. Бұл жерде бас-аяғы үш қана мысалмен шектелейін. Мәселен, «Арнаудың» екінші шумағындағы бірінші жол түпнұсқада:

Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage... — болып келеді. Пастернактың аудармасында:

— Вы воскресили прошлого картины...

Медеубайдың аудармасында:

— Еске салдың елесін шат күндердің...

«Froher Tage» шынында да «шат күндері». Орысшадан аударған жағдайда, әрине, «шат» деген сөз болмас еді ғой, өйткені, көріп отырсыздар, Пастернакта ол ұғым атымен жоқ. Оның үстіне «Арнауың» интонациясы, ырғағы, көтеріңкі сөз саптауы қазақшасында мейлінше дәл берілген.

Немесе:

Ein Schauer fasst mich, Traene folgt den Traenen...

Осы өлең жолының соңғы тіркесін сөзбе-сөз орысшаға аударсақ, «слеза следует слезе», немесе «слеза за слезой» болар еді. Ал, Медеубайдың аудармасында бұл тіркес:

— Моншақ-моншақ көзден жас төгілдіріп... — делінеді. Осы «моншақ-моншақ жас» дегені әрі қазақтың құлағына өте-мөте таныс, жатық естіледі, әрі түпнұсқаның «Traene folgt den Traenen»-нің дәл баламасы болып шыққан.

Немесе:

Неміс халық өлеңдерінде, әндерінде, әсіресе билерінде «Juche! Juche! Jucheisa!»— деген одағайлар жиі кездеседі. Бұл ерекшелік «Фаустта» да шаруалар биінде көрініс тапқан. Пастернак оған балама іздеп, әуре боп жатпайды. Ал, Медеубай бұл одағайларды «Ой, жаса! Ой, жаса!» деп әсіресе үндестік тұрғыдан әдемі, епті, орынды келтірген. Бұл бір жағынан қазаққа да тән, екіншіден, жоғарыда келтірілген неміс одағай сөздерінің мәні мен түрін аудармай береді. «Фаусттың» шынында да бастан-аяқ орысша текстен емес, түпнұскадан аударылғандығы әр жерден-ақ көрініп тұр.

«Мүмкін бе, айтшы, Фалес-ау, бір түнде мұндай тау жасау?»— деген репликадағы «ау»-дың өзі де түпнұсқадағы «O, Thales»-тің мәнін беріп тұр. Пастернак аудармасында бұл бір қарағанда елеусіз көрінетін әлдеқандай жұрнақтың нышаны да жоқ.

Тіпті Медеубай аудармасында қайсыбір түпнұсқаға дәл келе бермейтін жерлердің өзінде де, оның сайып келгенде, орысшадан емес, немісшеден аударғандығын көрсетіп отыратын жағдайды аңғарамыз. Сөзімізді дәлелдеу үшін, мәселен, трагедияның бұл тұсында Мефистофель Фаустқа:

— Du sprichst ja wie Hans Liederlich,— дейтін жолын алайық. Мұндағы «Hans Liederlich» әйел жанды, нәпсіқұмар деген мағынаны білдіреді. Медеубай болса «Hans»-ты

«Gans»-пен шатастырып алған ба, әлде басқа бір түсініспес жағдай болды ма, әйтеуір ол осы идиоманы:

— Секілдісіз ақымақ қаз...— деп, мүлдем мағынасын алшақтатып жіберген. Егер ол дәл осы арада орысша мәтінге сүйенсе, онда бұншалық жағдайға ұрынбас еді ғой. Қайсы десеніз, Пастернак Гетенің бұл тіркесін мағынасына келтіріп, дәл берген:

— Ты судишь как какой-то селадон...

Көріп отырсыздар, «селадон» мен «каз» үш қайнаса сорпасы қосылмайтын кереғар ұғымдар.

Міне, мұндай мысалдар аударманың өн бойында көп кездеседі. Демек, қазақша «Фаусттың» тікелей түпнұсқадан аударылғандығында еш күмән болмасқа керек.

IV

Ұлы неміс ақынының біз әңгіме етіп отырған трагедиясын мейлінше емін-еркін түсініп, оны басқа тілге, басқа болғанда қазақ тіліне аударудың бірден-бір қиындығы неде деген сауалға жалғыз ауыз сөзбен үзілді-кесілді жауап беруге болмайды. Гетенің бұл шығармасынан азды-кем хабардар оқушы қауымның бәрі де «Фаусттың» Гомердің «Илиада» мен «Одиссеясы», Дантениң «Құдыретті комедиясы», Шота Руставелидің «Жолбарыс терісін жамылған батыр», Шекспирдің «Гамлеті» сияқты әлем әдебиетінде ұлы туындылармен иықтасып тұратынын біледі. Біле тұра, оны қазақшалағандағы негізгі қиындық көбінесе поэтикалық тілінде, ақындық құдыретінде, сөз өнерінің небір ғажайып қасиеттерінде деп ойлайды. Әлбетте, бұл — шындықтың тек бір жағы. «Фаустты» аударудағы барлық қиыншылық тек қана сөз патшасы өлеңге, бейнелі образ, метафора, тенеу, үйқасқа тірелсе, онда өнер алды — қызыл тіл дейтін, сөздің майын тамыза білетін, көз ашқаннан мақалдап, такпақтап, астарлап, құлақ құрышын қандыра сөйлеуге машықтанған қазақ қандай құдыретті ақынды аударса да онша кинала қоймас еді ғой. Біз білсек, гәп басқада.

Ілгеріде «Фауст» мейлінше күрделі шығарма екенін айттық. Оның әрбір шумағы, кейбір өлең жолдары жайында дүние жүзінің көптеген тілдерінде талай-талай ғылыми еңбектер, зерттеулер, пайымдаулар, түбегейлі түсіндірмелер жазылған. Соның өзінде небір атақты білімпаз ғалымдар «Фаустты» түсініксіз, аллегория мен символикаға толы

«шым-шытырық» шығарма дейді. В. Г. Белинский, кезінде «Фаусттың» екінші бөлімін «поэзияға қатысы жоқ, жансыз, сөлсіз, нәрсіз, сілімтір символика» деп үкім айтса, ал Д. И. Писарев оны «ешкім де түсінбейді» деп қолды бір сілтегендей болған. Ал, И. Киреевский «Фаустты» тіпті «жартылай роман, жартылай трагедия, жартылай философиялық диссертация, жартылай аллегория, жартылай өмір шындығы, жартылай арман, жартылай ой мен ән, жартылай ғақлия, соның қайсысы болса да, әйтеуір театрда қоюға келмейтін шығарма» деп есептеген.

Әйгілі адамдардың әлпіндей ой-пікіріне қарсы дау айту немесе құптап-қосылудан мен өз басым аулақпын. Менің айтпағым, шынында да Гете сынды құдыретті ақынның алпыс жылдай аялаған бұл трагедиясында бүкіл адамзат баласының басынан кешкен рухани тарихы, көне грек ой-шылдары мен XVIII—XIX ғасырлардағы философтардың пікір-тұжырымдары, көне заман мен орта ғасыр дәуірінің мифологиясы, христиан дінінің рәміздері, жаратылыстану ғылымы, мәдениет және әдебиет әлеміндегі қайшылықтар мен тартыстар, ұлы ақын, азаматтың өз басынан кешірген қым-қуыт өмір құбылыстары, кезеңдері, ізденістері, армандары — бәрі осы «Фауст» атты 12111 (он екі мың жүз он бір) жолдан тұратын трагедиясында көрініс тапқан.

Кейде Медеубай Құрмановтың сондай шығарманы аударуға батылы жетіп, дәті шыдап барған көзсіз ерлігіне таңданбасқа болмайды. Қазақ өлеңінің табиғатында кездеспейтін неміс халқының ұлттық дәстүрлі өлең құрылысы — «книптельферзіні», «фаустферзіні», көне гректердің гекзаметрі, Еуропа поэзиясына тән еркін ырғақты ақ өлеңі, барокко поэзиясының сұңғыла оралымдарын, құдыретті десек құдыретті, байсалды, байыпты хорал мәнерін, ойнақы терцин мен еселеп соғып, қайталап отыратын рондо әуендерін қазақ тілі мен қазақтың байырғы поэтикалық жүйесіне жымдастырып, киюластырып, үнемі оң жамбасына алып, орайын тауып аудару оңай шаруа еместігі, әрине, өзінен-өзі түсінікті. Бірақ негізгі қиындық бұл да болмасқа керек. Негізгі қиындық трагедияның идеялық-философиялық мән-мағынасы мен ой-қуатын жеріне жеткізіп беруде. Дәлірек айтқанда, қазақ тілінің мүмкіндігін мейлінше емін-еркін пайдалана отырып, образдар жүйесін сақтай отырып, қазақ оқырманына нақты, әрі дәл, көркемдік құдыретін кемеліне

келтіре жеткізуде болса керек. Өйткені «Фауст» — казак поэзиясында қалыптасқан табиғи сөз саптау жағынан болсын, түйсік-түсінігі, образдар жүйесі, өлеңдік қасиеттері жағынан болсын мүлдем өзгеше, оны айтсақ тіпті кереғар, алшак жатқан шығарма. Трагедиядағы неше түрлі ғажайып, шым-шытырық уақиғалар біресе аспанда, біресе жерде, енді бірде жеті қат жердің астында, Фаусттың жұмыс кабинетінде, Ауэрбахтың шарап дүкенінде, көшеде, бакта, құдық басында, ормандағы үнгірде, ашық далада, абақтыда, патша сарайында, қараңғы галереяда, серілер залында, Эгей теңізінің жартасты жағасында, тау бөктерінде, дүшпан кайзердің шатырында, Спартадағы Менелай сарайы алдында, тағы басқа көптеген жерлерде өтіп жатады және сол қым-қуыт конфликтке толы қақтығыстардың арасында тек құдай, періште, адамдар ғана емес, ақынның қиялынан туған талай-талай халықтардың миф-аныздарында кеңінен орын алған әлдебір біздер үшін беймәлім лемурлар дейсің бе, ламиялар мен сфинкс, сирендер дейсің бе, тіпті біз естіп-білмеген пси́лдер мен марстар, кабирлер мен тритондар, пәк нәрестелер мен күнәсін өтеушілер, перей мен диоридтер, жасанды адам — гомункулдар, делбеші бала, герольдтар, серілер, бикештер, карға, күзғын, грифтер, гүл-шөптер, алтын масактар, зәйтүн ағаштар, гном, сатирлер, нимфалар, сансыз жын, дию, перілер, абстракты Мұқтаждық, Арамтамак дейсің бе-ау, Камкорлық, Күнә, Кемшілік, Барыпкел, Альпкелдер дейсің бе-ау, ондап-жүздеп жүреді. Жүріп қана қоймайды, сөйлейді. Сөйлегені былай түрсын, әрқайсысының идеялық-көркемдік жүгі, мән-мағынасы бар. Бұлардың барлығын қазақ оқырмандарының сана-сезіміне қайтіп жеткізуге, қалай ұғындыруға болады? Бұларды қазақша қайтіп сөйлету керек? Міне, аудармашының алдындағы бірден-бір жауапты міндет осы. Қайталап айтсақ, түпнұсқаны түсіну, өзін түсінгенді өзгеге, өзге болғанда өзіміздің қазақ оқырманына түсіндіру, сөйтіп қазақ тілінің төл шығармасы дерлік дәрежеге жеткізу. Оның үстіне Фаусттың өз сөзін де естен шығармаған жөн: «жылуы жоқ сылдыр сөз жанға әсер етпейді». Ал «Театрдағы пролог» сценасында ақын сайқымазаққа былай дейді: «Сыртын емес, сөзіңнің түзе сырын, кейінгіге мұра боп қалсын жырың». Осы принципке Гетенің өзі де ден қойған сияқты. Аудармашының да осы қағиданы берік ұстағаны абзал.

Көркем аударма өнерінің ең қажетті бір компоненті, тіпті әліппесі деуге де болады — сөз дәлдігі мен образ дәлдігі. Онан гөрі кеңірек мағынада алсақ, интонация, ырғақ, өлендік өлшем, ұйқас дегендердің бәр-бәрі осы екі ұғымға саяды. Медеубай — тіл маманы, әдебиет зерттеушісі, тәжірибелі аудармашы. Ол түпнұсқадағы әрбір сөздің мән-мағынасына зор маңыз береді. Мәселен, Медеубай аудармасында «Театрдағы пролог» атты көріністе директор сөзі былай басталады: «О, достар, өздеріңіз көңлім күңгірт...» Директордың ақын мен сайқымазақты «О, достар» деуі маған күдік туғызды. Аударманы тастай бере, түпнұсқаға қарап едім, ойлағанымдай-ақ «Ihr beiden», демек, «екеуің де» делінген. Пастернакқа қарасам: онда да сол «Вы оба...» Ендеше Медеубайдың «О, достар», дегеніне жол болсын. «Мұнысы қалай?» — деп таң-тамаша болып отырғанымда әлгі монологтың кейінгі бір жолдарына көзім түсіп кетіп еді: «mein Freund, o tu es heute...»

Қуанып кеттім: «О, достар» — «mein Freund...» Демек, аудармашы бұл арада да түпнұсқаны жеріне жете зерттеп, терең түсінген, әрбір сөзге, оны айтасыз-ау, анау-мынау аудармашының назарынан тыс қалатын әлгіндей болмашы сөз, болмашы одағайға дейін үлкен мән берген.

Түпнұсқаны көкірекке сап, жобасы осы ғой деп, еркін сілтеу, еркін көсілу — Медеубайдың аудармашылық тәжірибесінде жоқ қасиет. Ондай жеңіл-желпі немқұрайды принциптен мүлде аулақ. Мұндайда ол өзінен гөрі Гетеге көбірек сенеді, Гетенің ізінен жаза баспай, ауытқымай ілгері тартып отырады. Гете «Ach, Gott!» десе, Медеубай да ілешала «Құдай-ай!» дейді. Гете «so ist es recht» десе, Медеубай да іліп алып, дәлме-дәл «онда дұрыс» дейді. Гете: «Du zauderst, zu ihr zu gehen?... dein Zagen zoegert den Tod heran» деп бірынғай дауыссыз дыбыстарды тізіп әкетсе, Медеубай да осы іспеттес аллитерация тәсіліне бейім тұрады: «Таңырқатып, тамсанып, тебіреніп», «жалаңаш жүнін жұлған күрдай қылып», «Көңілдің күйі келмес күйрегенге» деп дыбыс қуалап кетеді.

Эквилинеарлық, эквиритмалық принципті Медеубай аудармада мүмкіндігінше дәл сақтауға тырысады. Бір ғана мысал.

Гете:

— Hast du mir weiter nichts zu sagen?
Kommst du nur immer anzuklagen?
Ist auf der Erde ewig dir nichts recht?

Медеубай:

— Болдың ба? Айтатынын жоқ па тағы?
Кашан көрсем, осылай күп-қу жағың,
Түк жоқ па ауызға алар жер үстінде?

Бұл жолдардың мағыналық жақындығын, мазмұн бірлігін, түр сәйкестігін, ырғақ, әуен, интонация үндестігін неміс тілінен тіпті бейхабар оқушының өзі де сезуі ақиқат. Әрі-беріден соң түпнұсқа мен аударма жолдарын қатар оқысаңыз да мүдірмейсіз, сүрінбейсіз, немісшесі мен қазақшасы бір-бірімен сонша үндестік тауып, үйлесіп, қабысып отырады.

Әрине, Медеубай бірыңғай дәлдік қуып, жалаң дәлдікті мұрат, мақсат қылса, онда поэзия жайында әңгіме де болмас еді ғой. Аудармашы ең алдымен Гете поэзиясының рухын беруге талпынған. Ол үшін Медеубай қазақтың жанына жағып, құлағына жылы тиетін, қазақ тіліне тән сөздер мен сөз оралымдарын, сөз тіркестерін молынан пайдаланып отырады. Мысалы: «шабыттың шенгелі», «тағдырдың тоқпағы», «сезім тулап», «нәзік әуен өнбойды шымырлатып», «жыр келеді қытықтап, жыбырлатып» т. с. с.

Қазақ тілінің бір артықшылығы — етістік пен етістік формаларының (есімше, көсемше) байлығы. «Фаусттың» аудармашысы сол байлықты оңтайын тауып, орынды жерінде қолданып отырады.

— Тәртіпке сап, тәптіштеп, жиыстырып,
Дыбыстарды дуылдап, дабырлаған
Қисындырып, қиыннан қиыстырып,
Сөз маржанын көмейден сауылдаған!
Сұлу сөзді күшті оймен жарастырып,
Құйындатып, құтыртып, дауылдатып.
Екілентіп, еліртіп, таластырып,
Нөсерлетіп, шапшытып, жауындатып
Кешкі арайды тілменен кім көсейді?

Медеубай бұл жерде етістіктерді тым қоюлатып, еселеп, үсті-үстіне төпеп жіберген болуы мүмкін, оның үстіне, мен бірдеңе білсем, «күшті ой» деген тіркес те онша сәтті шығып

тұрған жоқ, бірақ осы үзіндіні түпнұскадан оқысақ, ол да солай екпінмен, көтеріңкі рухпен келеді және оқушысына дәл осындай әсер қалдырады.

Медеубай «Фаусттағы» монолог пен диалогтардың ырғағын, әуенін дәл бір ақынша сезініп, өлеңнің ішкі қуатын айнытпай сақтауға шебер. Кәне, өздеріңіз-ақ салыстырып көріңіздер:

«Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten».
«Жарк еттің ғой алдымнан, бұлдыр елес».

Салтанатты, көтеріңкі, кең тынысты ырғақ.
Немесе:

Was machst du mir
Vor Liebchens Tuer,
Katrienchen, hier
Bei fruehem Tagesblicke?
Las, las es sein!
Er last dich ein,
Als Maedchen ein,
Als Maedchen nicht zuruecke».

«Ынтығып, құмартып,
Сенімді тұмар кып,
Ерке қыз, бұла қыз,
Бейуақыт қай жаққа барасың?
Жігіттің үйіне,
Пәк, адал күйінде
Кіресің сүйіне,
Шыққанда қыз болмай қаларсың».

Ойнақы, шолақ қайырылатын, ән интонациясы сақталынған ырғақ.

Ілгеріде «Фауст» трагедиясында кейіпкер өте көп дедік. Әрқайсысы өзінше сөйлейді. Осынау бір тұтам қысқа үзіндінің өзінде ырғақ, әуен сәт сайын қырық құбылып, буын саны бірде көбейіп, бірде азайып отырады. Аудармашы болса соның бәрін жанымен сезініп, кейіпкер монологтарының сыртқы келбетін, суретін, айшық бояуын айнытпай беруге талпынып-ақ баққан. Көркем образдың дәлдігін сақтауда Медеубай «компенсация» («есесін қайтару», «толтыру») деп аталынатын аудармашылық қағиданы да ұстайды.

Гете:

— Des Menschen Kraft, im Dichter offenbart.

Қарапайым ғана сөйлем. Дәлме-дәл аударсак: «адамзаттың күші ақындарда көрініс табады». Пастернак бұл жерді былай аударған:

— Что это? Человеческая мощь,
В поэте выступившая открыто.

Бұл да жай ғана хабарлама іспеттес сөйлем.
Медеубайдың аудармасы:

— Адамзаттың күш-қуат құдыреті
Ақындардың қанында ойнақтаған!

Менінше, айқын, шымыр, жігерлі, отты жолдар. Түпнұскадан да, орысша аудармасынан да бір мысқал кем түспейді.

Аудармашы силлабо-тоникалық өлең жүйесін, дәстүрлі кнйптельферз бен фаустферзені, мазмұн мен түр тұтастығын, әр түрлі буынды, әр қилы ырғақ пен интонацияның қайталап, алмасып келуін, сөз бен образ дәлдігін қазақтың поэтикалық тілінің мүмкіндіктерін мол және жан-жақты ұтымды пайдаланып, оқырман қауымға өзінің шама-шарқына қарай жеткізе алған. Бұл пікірімізді дәлелдеу үшін әлі де көптеген нақтылы мысалдар келтіруге мүмкіндігіміз болса дағы, тек әттең неміс тілін жұрттың бәрі біле бермейді-ау деген оймен өзімді амалсыз тежеп отырмын.

VI

Бұл арада оқушы қауымға тағы бір ескерте кететін жайт мынау: «Фауст» трагедиясындағы ұйқас үлгілерінің мейлінше көптігі. Мәселен, осыған дейін біз бәріміз білетін егіз ұйқас, шалтыс ұйқас, қаусырмалы ұйқас, ішкі ұйқас, «шала ұйқас» (егер немістердің өздерінше дәлденкіреп айтар болсак «унрайн»,— «таза емес ұйқас»), буыны әр түрлі жолдар, әрдайым ырғағы мен екпіні ауысып, құбылып, әр түрлі күйге түсіп отырады. Аудармашы, әрине, «Фаусттың» бұл ерекшелігіне өзінше қатты көңіл бөліп, мүмкіндігіне қарай бәрін қазақшалауға тырысқан. Өлеңдік формасын дәл сақтай айнытпай түсірген шумақтар Медеубайдың аудармасында жиі кездеседі. Мәселен, Гретхеннің ұршық иіріп отырып, оңаша бөлмеде өзінен-өзі мұңға батып, «қапамын, қапамын, дегбірсіз жаным жас» деп күбірлеп кететін жері, я болмаса бағбан қыздардың мандолинін шертіп әндететін жері, сөз жоқ, өте дәл, жатық шыққан; және сол тұстардың

барынша келісті аударылғандығы сонша, түпнұсқа мен қазақ текстің бір әуенде, бір ырғақта ортақ музыкаға салып орындауға болар еді.

Мен бұл жерде түпнұсқа мен аудармадан көптеген нақты-нақты мысалдар келтіріп, Медеубайдың көркем аударма өнеріндегі бізді риза қылған ізденістері мен тапқырлықтарын дәлелдеуге тырыспай-ақ қояйын, оның мені бірден-бір қиналтып отырған себебі — қазіргі оқушы қауым бәрібір мен келтірер түпнұсқаны жете түсіне қоймауы кәміл. Әйтсе дағы аталмыш трагедияның бірінші бөліміндегі «Қала қорғанының қабырғасы» атты көрінісінен — Гретхеннің монологынан бірер жолды оқушы назарына салуды лайық көріп отырмын:

— О, ана қасиетті,
Қайғылы, қасіретті,
Сен ғана ортақсың мұныма!
Қабыл болмай тілегін.
Боялып қанға жүрегін,
Қарайсың өлі ұлына!
Әкесін іздейсің,
Күдерінді үзбейсің,
Аһ ұрып, жасыңа булығы.
Түсінер кім бар?
Жүректе мұң бар?
Езілді де күйзелді жан, тән жара!
Байғұс жүрек дерті меңдеп, камығып,
Дірілдейді, не тілейді жалынып?
Білетін де түсінетін сен ғана!
Қайда барсам камығам,
Жабығамын, жабығамын, жабығам.
Тұла бойым көтертпейді жаншылған,
Жалғыз қалдым тегі мен,
Еңіреймін, еңіреймін, егілем...

Ал, кәне, айтыңыздаршы, тек әттең, әне бір жолдағы әлде орысшалау, әлде немісшелеу тұрған «өлі ұлына» деген тіркес болмаса, қалғаны басынан аяғына дейін түпнұсқаның дәл өзінің аузынан түсе қалғандай, «тілге жеңіл, жүрегі құрғырға жып-жылы тиіп» тұрған жоқ па? Гретхеннің жүрек сыры, пәк, шынайы, адал жаны дірілдеп-ақ тұр-ау! Кішкене ойлап қараңыздаршы, осы жолдарда ұлы Абайдың баршаныңға белгілі реформаторлық ізденістерінің ізі байқалатын сияқты ма, қалай? Ал ең бастысы — осы өлеңнің әрбір жолы

түпнұсқаның жолдарына түр жағынан да, мазмұн жағынан да, интонация, ырғақ жағынан да, ұйқас жағынан да естелі сыңарындай дөп тиіп, дәл келіп отыратын сияқтанды.

Неміс пен қазақ өлең ұйқастарының табиғаты екі басқа. Неміс тілі ұйқасқа, сөз үндестігіне кедей, тапшы; сондықтан да әр замандағы әрбір үлкенді-кішілі неміс ақындарының өлеңдерінде біркелкі, сыбайлас ұйқастар өте-мөте жиі кездесіп тұрады. Қай кездегі қай неміс ақынын алсаңыз да олардың поэзиясында міндетті түрде «Glueck — zugeuck», «Kind — Wind — sind», «Herz — Schmerz» іспеттес достүрлі орыстың «любовь — кровь — вновь» дегені сияқты ұйқасты көптеп кездестіресіз. Кейде қазіргі замандағы неміс ақындарының қалыптасқан ұйқастардан әбден мезі болып, бірыңғай ақ өлеңге, бірыңғай верлибрге ұрынуы соның салдарынан емес пе екен деген ой да келеді. Баскасы басқа, тіпті сол Гетенің өзінде «Leben — ergebn — schweben — bestreben», «Herz — Schmerz», «Kind — sind», «Haus — aus», «Natur — nur» тәрізді қазақ құлағына шолтандап естіліп тұратын келте ұйқастар бір емес, екі емес, он-жиырма реттен қайталанып отырады. Бұл, әрине, ақынның нашарлығынан емес, бұны неміс поэтикасының өзіндік дейсіз бе, ұлттық ерекшелігі дейсіз бе, қалай да, әйтеуір, арғы-бергі замандағы неміс поэзиясының табиғатында ұйқасқа деген жұтандығы дер едім.

Ал, қазақ тілі, керісінше, ұйқасқа оралымды, алымды, шексіз бай. Оның үстіне ақындық түрсын, өлең өнерінен дәмесі жоқ қазақтың өзі кез келген ауызекі сөзге алым-берім ұйқасты табан аузында табады. Ең бір сирек кездесетін, ұйқасқа көнбейді-ау дейтін сөздердің өзін белінен басып, сәл жерден сәйкестендіріп, қисынын келтіріп, үйлестіріп, капелімде қалай ұйқастырып жібергенін білмей қаласыз. «Балалайка» деген сөзге мына жақта Шәміл тұрады да «бала, байқа», деп ойда жоқ ұйқасты оп-онай қыстыра қояды. Оны айтсақ Тұрсынхан мен Тұманбай «Эстония» деген сөзге «өскен ұя» деп ұйқас тауып, жүрегіңді жылытып жібереді. Бүгінгі ақындарымызды қоя тұрып, сонау әрегіректегі қазақ поэзиясына үнілер болсақ, Абайдың өзі орыстың «здравомыслящий» деген сөзін өлеңге иіп, «тілі ащы»-мен ұйқастырған ғой. Ал, «Межелайтиске» құдай біледі, ұйқас табыла қоймас деп ойласақ, онда тағы қателесесің, өйткені, Сағынғали ағамыз оны да өлең пайдасына шешіп, «елі қай түс», келесі бір жолға «неге айтыс» деп аузыңды ашқызып кетеді. Несін

айтасың, ұйқасқа келгенде тіпті өлеңге азын-аулақ икемі бар, кәдімгі ауылдағы шалыңның өзі Еуропаның небір әйгілі деп жүрген акындарына дес бермей, қаласа беліне қыстырып кетеді. Ал, бұны не деп айтсаңыз да еркіңіз білсін. Мен өз басым бұны айналып кетейін қазақ поэтикасының өзіндік бір ерен-ерекше қасиеті, оны айтасыз-ау, тіпті бақыты мен байлығы дер едім.

Бір-біріне табиғаты келмейтін, әртүрлі тілдік жүйелерге жататын неміс пен қазақ тілінің өзіміз айтып отырған осынау өзгешеліктері «Фаусттың» аудармасында көлденең көзге бірден шалынады.

Кейбір талғамы қатты сыншының тезіне салсақ, ол онда Медеубай егістік ұйқастарына тым әуес пе, қалай деуі мүмкін: «аламыз-саламыз», «ашпайды-қашпайды», «ұқпайды-шықпайды» т. с. с. Иә, солайы солай. Түпнұсқаның поэтикалық ерекшеліктерінен бейхабар кісі, әрине, аудармашыға әлгіндей кінә тақпай қоймайды. Ал, егер «Фаустты» неміс тілінде оқыған әрбір адам қанша қатал бола тұрса дағы, дәл осы арада бұл жерде де аудармашының ұйқасқа шалағай қарағанынан емес, қайта керісінше, түпнұсқаның өзіндік поэтикалық табиғатын өз әлінше кем түсірмей мейлінше дәл, мейлінше нақпа-нақ беруге тырысқандығы деп қарау керек. Қайсы десен, неміс халқының ол дана қариясы да «schaltet — ueberwaltet — entfaltet», «sollten — wollten», «rochen — ausgesprochen», «eilt — weilt» деп қарапайым ұйқастарға бой ұрып отырады екен. Сондықтан да аудармашы түпнұсқаға еліктеп, қатар тұрған екі бетте «аламыз» бен «саламыз»-ды ұйқастырса, ол өлеңге олақтығынан туып жатпаған болуы керек. Қайсы десеніз, Гетенің де қатар келетін беттерде «rochen» мен «gesprochen»-ді екі дүркін ұйқастырғанын көреміз де, Медеубайға біз де кінә таға алмаймыз.

VII

Аудармашының алдындағы көп қиындықтың бірі — фразеологиялық тіркестерді басқа тілде түпнұсқаның дәл өзіндей ғып, көңілге қонымды етіп беру. Өзіндік ерекше бір ұлттық сипаты бар идиомалар мен қанатты сөздерге балама іздегенде аудармашы өзін әрқашан екі оттың ортасында тұрғандай сезінетін болу керек. Егер бір тілдегі фразеологиялық тіркестердің басқа тілде нақпа-нақ келетін баламасы болса құба-құп. Ал

ондай өзінің әсерлілігін ала туатын дәлме-дәл, нә сәйкес баламалар аудармашы қаламына ілікпеген жағдайда қайтпек керек? Бұндайда бір ғана амал бар: қай тілдің болса да өзіндік ерекшелігін және фразеологиялық тіркестің мағына-мәнін сақтап, ретті жерінде калька жасауға мәжбүр боласыз, немесе сол ұтымға ағайындас мүлде жана, тың, «айналасы теп-тегіс, жұмыр», бейнелі идиома қарастыру керек. Осы бір теориялық қағида аударма өнерінде ежелден белгілі болғанымен, іс жүзінде, әрбір жекелеген жағдайда фразеологизмдерге тап болғанда аудармашы әрдайым қиналады.

«Фаустта» ондай фразеологизмдер, идиомалар, афоризм, мақал, мәтел, қанатты сөзге айналып кеткен тіркес-шумақтар өте-мөте көп. Олардың барлығы дерлік цитата түрінде жиі қолданылып жүр.

«Фаусттағы» фразеологиялық тіркестерді аударуда Медеубайдың көп еңбектенгендігі, көп-көп ізденгені көрініп тұр. Осы тұрғыда оның елеулі табыстары жоқ емес. Менің байқауымша, қазақ тілі — айшық бояуы мол бейнелі тіл. Әбден сараланып, қалыпқа түскен, халық санасына әбден сіңген фразеологизмдерге ерекше бай. Сол ұшан-теңіз байлықты аудармашы көп жағдайда орынды қолдана алған. Айталық, түпнұсқадағы «Ihr seid ja heut wie nasses Stroh» («сендер бүгін суда қалған сабан сияқтысыңдар») деген идиоманы Пастернак «скисли хуже мокрых кур» деп орыс тіліне тіркеспен берсе, Медеубай оны қазақшалап, «торғайдай судан шыққан бүгін бәрің» дейді.

Тағы бір мысал.

Гете: «Geschehen ist leider nun geschehen».

Пастернак: «Что свершено, то свершено»

Медеубай: «Болары болды, бояуы сінді».

Немесе:

Гете: «Auch hab ich weder Gut noch Geld».

(Дәлме-дәл аудармасы: «Мүлік те жоқ, ақшам да жоқ»)

Пастернак: «Не нажил чести и добра».

Медеубай: «...сіңірі шыққан кедеймін, қызығына бұл жалғанның өгеймін».

Мұндай мысалдар «Фауст» аудармасының кез келген бетінен табылады. «Несі бар, сыйға — сый, сыраға — бал!», «Бұл қалайша? Кетті ғой салым суға!», «Айтылған сөз — атылған оқ. Қайтармақ жоқ», «Бүгін түні-ақ кетісем, ат құйрығын кесісем», «Мейлі, олар бірі өліп, бірі қалсын» т. с. с.

Медеубайдың түпнұсқаға мейлінше жақындатып аударған кейбір оралымдары қазақтың байырғы сөз тіркестеріндей әсер қалдырады. «Mir geht es wie der Katze mit der Maus» деген жолды аудармашы «мысықты өлі тышқан қызықтырмас» деп сөйлетеді. Сол сияқты түпнұсқадағы бұл күнде халық аузында кеткен белгілі қанатты сөздер қазақша баламасын дәл тапқан: «Болғанда өнер ұзақ, өмір қысқа», «қуаныш барда қайғы бар, қайғысыз болмас қуаныш», «Жақсыны да даярмыз жамандауға», «әйелдерсіз дүниеде не сән бар, сайқалдарсыз шайтан дағы шайтан ба?», «ажал деген құтты қонақ емес қой». Фаусттың соңғы монологындағы философиялық түйін ұғымға жеңіл, ұтымды шыққан:

«Кім күрессе табандап күн құрғатпай,
Бақытты еркін өмір соған тимек!

.....

Еркін ел, еркін жерді мекендеген,
Бақытты ел тірлігін көрсем деп ем.»

Бұл арада бір баса айтатын нәрсе: аудармашының аудармашылық қабілеті мен ізденімпаздығы, білімдар мәдениеті, оның әсіресе басқа тілге тән табиғи бояу мен өзгеде жоқ, өзіндік айшық-өрнегін, көркемдік ерекшеліктерін сергек сезініп, дәл түсініп, әлгіндей фразеологиялық тіркестерді сәтті аударғанда байқалады. Мұндайда түпнұсқадағы сөз оралымдарына шамасы жетпей бара жатса, белден басып күшпен иіп, басын жарып, көзін шығарып аудару — өнер емес, айта берсең ол өнерге жат қылық. Сондықтан да аударманың бір жерінде: «ақшаң болса қалтаңда, талтандасаң талтанда» деп келетін ауыз екі тілде айтылатын қазақтың кәдімгі қарабайыр тіркестерін Еуропа поэзиясына күштеп қыстырсақ, әрине, орынсыз-ақ боп шығар еді. «Фаустта» ол «ақшам болса — есім түзу» делінген. Пастернак: «Деньгу зашибешь — окрепнет рассудок» деп түпнұсқаға өте жақын аударыпты.

Бұдан туатын ой: фразеологиялық тіркестерді аударуда Медеубай көп жағдайда тапқырлық жасап, әлгі өзіміз айтатын өрттің арасынан шалғайы отқа тимей бас-аяғы аман шыққанға ұқсайды.

VIII

«Фаустты» аударуға кірісерде Медеубай Құрманов ұзақ жылдар бойы түпнұсқаны жан-жақты тәптіштеп зерттегенін, трагедияның көп жерін құран сөзіндей жаттап алып, жан

елегінен өткізгеніне мен куәгер едім. «Фауст» жайында оның әуелі неміс, сонан соң орыс тілінде сансыз зерттеулер оқығанын да білетінмін. «Түсіңіз келсе ақынды, саңар шек ақын еліне»,— деген Гетенің қағидасын да қатты тұтынып, оның әлденеше рет Веймарға да барып, Гете ғылыми қоғамында немісше баяндама жасағаны да менің қаперімде. Аудару кезінде Медеубай тіпті көп ізденді. «Немісше әрбір сөйлемді тәптіштеп құрып, әрбір сөздің нақышын келтіре сөйлеуіне қарағанда, Медеубай әрдайым Гете жайында ойланып жүргендей әсер қалдырады»,— деп жазады белгілі неміс жазушысы Рут Крафт өзінің «Катаринаға арналған раушан гүлі» атты кітабында. Бұл тегін айтылмаған.

Медеубайдың еңбегі зая кеткен жоқ. Менің ойымша, ол «Фаусттың» ой жүйесін қазақ оқырмандарына дұрыс жеткізген. Күрделі шығарманың «түп тамырын аңғарып», ой бейнелілігін, шым-шытырық идеялар сайысын, интонациялық әрқилылығын, ең әрісі ырғақ-әуеніне дейін қазақ тілінде біршама көкейге қондырып бере алған. Гете дүниетанымының концепциясын, философиялық және эстетикалық сыр-сыйпатын, мән-мағынасын, терең толғамын түпнұсқаға деңгейлестіре бере алған.

Дегенмен, «Фаустты» қазақшаға аудару проблемасы ақиқатқи шешілді деуге болмайды. Қайсы десеніз орыс тіліне «Фауст» сонау Жуковский мен Грибоедовтан бастап, ал біздің заманымызда Пастернак пен Яценкоға дейінгі екі аралықта жиырмадан астам рет аударылыпты. Соның өзінде академик В. М. Жирмунскийдің пікіріне жүгінсек, Гете поэзиясына тән түр қарапайымдылығы мен мазмұн тереңдігі, өмірді танудағы қырағылығы, адамның жан сырын ашудағы сергек сезімталдығы орыс аудармаларында әлі де синтез түрінде сомдала қойылған жоқ екен. Демек, бүгінгі қолымызға тиіп отырған «Фаусттың» қазақша аудармасын ұлы шығарманы ұлттық деңгейде танып-білудің алғашқы апыл-тапыл қадамы деп қараған жөн... Қазақ тілінің ұшан-теңіз мол мүмкіндіктері арқылы адамзаттық мәні арта түспесе, күйттай да кемімеген дана ақынның данышпан шығармасын түбіне бойлай түсініп, бүкіл поэтикалық болмысымен жан-жақты, толық қамтып, бар жаныңмен қабылдау, өзіміздің ұлттық санамызға сіңіру, сөз жоқ, келешектің үлесі болуға керек.

«Фаусттың» түпнұсқасынан бейхабар әрі орысша аудармаларының өзімен таныстығы шамалылығына қарамастан кейбір қатар жүрген әріптестеріміз Медеубайдың аудармасын місе

түтпай, комсынып, анасы қалай, мынасы қалай деген үстірт пікірлері құлағымызға шалынып қап жүр. Өз басым ондай үзілді-кесілді пікірге қосыла қоймаймын. Әлбетте Медеубайдың аудармасы төрт аяғынан тең басып тұр деп ешкім және де айтпаса керек. Ондай үшқалақ ойдан аудармашының өзі де аулақ болғанын анық білемін, кемшілігі көрініп тұрған жерлер аударма бойында аз кездеспейді. Ол жайында мен дер кезінде баспа бетінде ашық айтып, кембағал өлең жолдарын жүйе-жүйе, сала-салаға бөліп, өзімше талқылағанмын («Қазақ әдебиеті», 18 март, 1983). Әйткенмен, Медеубайдың сыншыларының «көркемдігі аздау», «қораштау», «кемшілігі әр жерде көрініп тұр-ау», «ақындығы кемдеу-ау» деген тұжырымның ар жағында, менің байқауымша, көбінесе құлақ үйренген әлгі бір әсіре қызыл, сылбыр сөзге, орынды-орынсыз «нөсерлетіп, жауындатып, құйындатып, дауылдатып» алатын гүмпілбайлық жататын сияқты. Қазақ пен неміс халықтарының эстетикалық ұғымы мен таным-түйсігінде, біз байқасақ, біраз алшақтық жатыр-ау!

Шындығына келсек, «Фаусттың» қазақша аудармасын ұлт мәдениеті үшін абыройлы іс деп қарауымыз керек. Алайда бұл аударманың бас-аяғы жүп-жұмыр, қайта оралуды қажетсіңбейтін дүние десек, кателескен болар едік. Бір А. Струговщиковтың өзі «Фаустты» бастан-аяқ жеті рет аударғаны мәлім. Аудармасы он бір рет басылып, оған Орыс Ғылым академиясының Пушкин атындағы сыйлығын алған профессор Н. А. Холодковскийдің өзі әркез еңбегіне көңілі толмай қырық жыл бойына қырnap, жөндеп, өңдеп отырған. Бұл біздер үшін де өнеге боларлық, үлгі аларлық жай.

Медеубай Құрманов, сөз жоқ, Гетені қазақшалауға үлкен талпыныс жасаған, «талаптың тұлымынан мықтап ұстап», ауыр да жауапты міндет атқарған кісі. Және де «Фаустты» қазақ оқырмандарына жеткізудегі бірден-бір дұрыс, игілікті принцип тұтынып, ұлы трагедияны тікелей түпнұсқадан аударғанына біз әрі сүйсінеміз, әрі қол соғып құптаймыз. Түпнұсқадан тікелей аудару — бүгінгі күн талабы ғой.

«Алтын арқау» кітабында М. Құрманов былай деген еді: «Ал жалпы ұлы Гетенің шығармасының қалай аударылғанын егжей-тегжейлі пайымдау келер күндердің, талай аудармашы, зерттеушілердің үлесіне тиер; шешімін табар жайлар болса керек».

Иә, солай!

1980, 1983 жж.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Морис Симашко. Сын Казахстана</i>	8
Жизнь-эпопея. Триптих	
I. Собеседник на все времена.....	9
II. Доминанта.....	17
III. Завет.....	29
Судьба-великан.....	44
Слово бия Айтеке.....	49
Аймауытов айшықтары.....	55
След слова.....	67
Фибратты ғұмыр.....	82
Эподы об Абдижамиле Нурпеисове.....	91
Шаг к призванию.....	92
Кто идет писательской тропой.....	105
Высота совершенства.....	139
Мир Мусрепова.....	143
Огнем сотворенный.....	150
Чуткое сердце художника.....	153
Тахан келе жатыр.....	158
Он чутко вслушивался в тревожный пульс планеты.....	162
Сын Отечества.....	169
Аскар /Памяти друга/.....	170
«Я вышел на палубу, а палубы — йок...».....	185
Он больше, чем писатель, и шире, чем политик.....	190
Сберечь нравственную память.....	195
«Прежде чем писать, нужно жить».....	200
С чувством братства.....	207
Воздух эпохи /Памяти Мориса Симашко/.....	210
Түсінгің келсе ақынды.....	213

Бельгер Герольд Карлович

СЛЕД СЛОВА

(литературные портреты и эссе)

на русском и казахском языках

Редакторы: *Л. Коптева, В. Ермаченков, Б. С. Кошым-Ногай*

Технические редакторы: *Л. Линькова, А. Тлеукеева*

Компьютерный набор и верстка *К. Мамытова*

ИБ № 6121

Сдано в набор 26.11.01. Подписано в печать 29.04.02.

Формат 84х108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс»

Печать офсетная. Усл. п.л. 12,18. Уч. изд. л. 11,47. Усл. кр. от. 12.98.

Тираж 1000. Заказ № 972

Республика Казахстан.

Издательство «Жазушы», 480009, г. Алматы, пр. Абая, 143.

ТОО «Типография оперативной печати»,

480016, г. Алматы, ул. Д. Кунаева, 15/1.